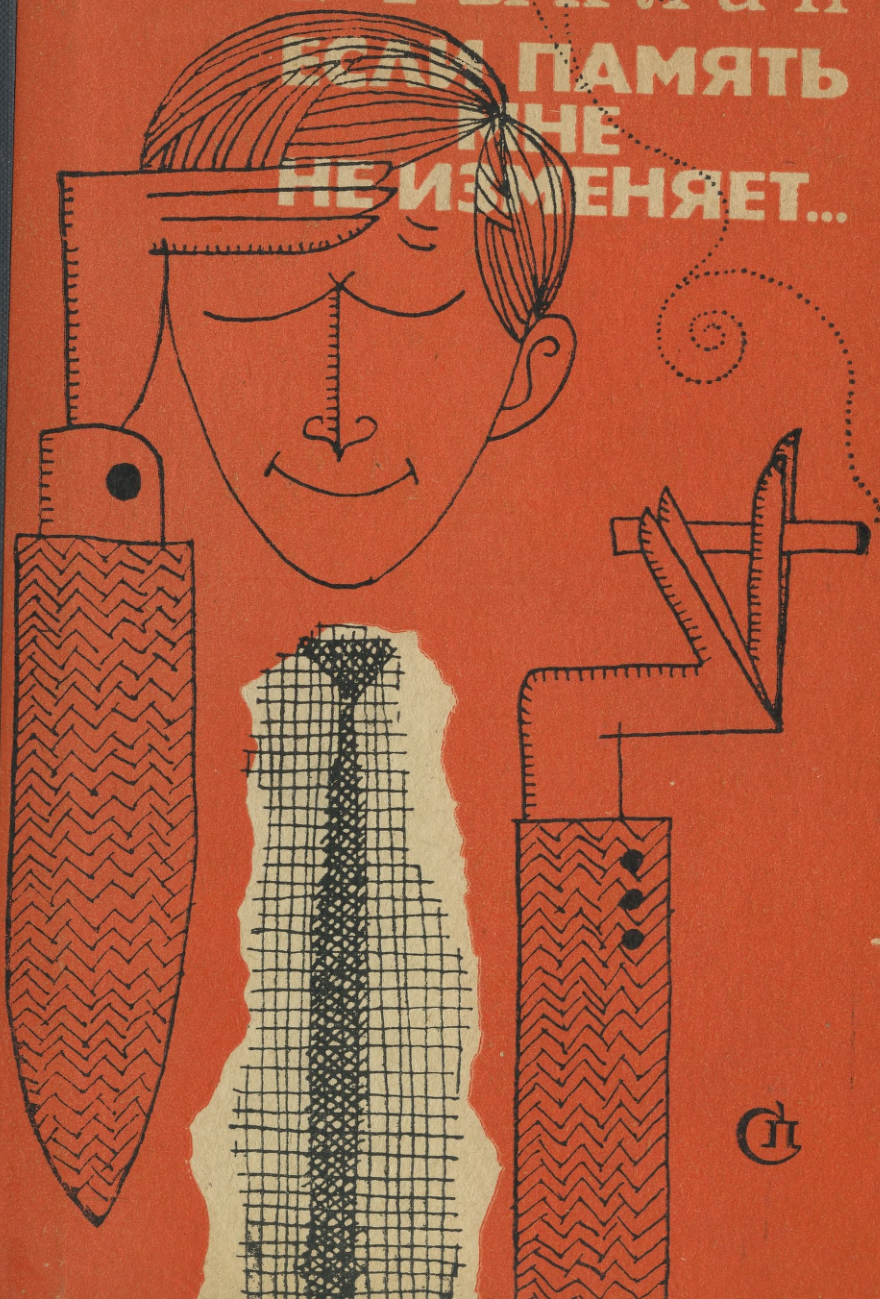


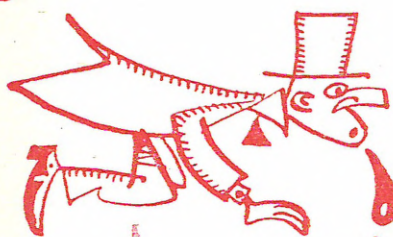
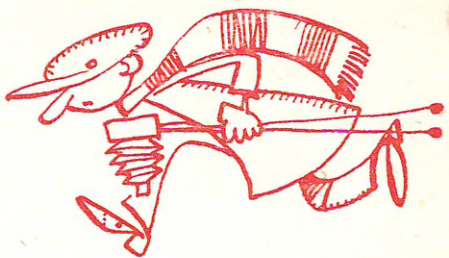
Г. Рыклов ЕСТЬ ПАМЯТЬ МНЕ НЕ ИЗМЕНЯЕТ...

Г. РЫКЛОВ
ЕСТЬ ПАМЯТЬ
МНЕ
НЕ ИЗМЕНЯЕТ...



СП





Г. Рыклин ЕСЛИ ПАМЯТЬ МНЕ НЕ ИЗМЕНЯЕТ...

*Воспоминания лирические, юмористические,
сатирические*

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ МОСКВА, 1968



С первых дней советской власти Григорий Рыклин сотрудничал в качестве фельетониста в московских газетах. Долгое время возглавлял редакцию журнала «Крокодил». Его юмористические рассказы часто выходили отдельными сборниками.

Эта книга — своеобразный отчет литератора о своей полувековой неустанной работе.

Г. Рыклин объездил всю страну, встречался и дружил со многими интересными людьми, вошедшими в историю нашего общества. Под пером этого наблюдательного веселого человека рассказ о смешном анекдотическом случае превращается в серьезный разговор о времени.

Умение отобрать самое главное, самое значительное и написать об этом кратко, без лишних слов — основное качество автора этой книги. И еще — юмор, который, так же как и память, ему не изменяет.



*Сарре Исааковне Рыклиной —
жене, другу, главному критику*

Встречи с юностью



Мой первый фельетон

Если память мне не изменяет, я родился в городе Стародубе.

В ту благословенную пору этот славный уездный город находился в Черниговской губернии. Отсюда я делаю вывод, что мое счастливое детство протекало на Украине.

Когда я подросток и возмужал, Стародуб был причислен (не по моей вине) к Гомельской губернии. Итак, мои юношеские годы тесно связаны с Белоруссией.

Но белорусом я пробыл недолго. Как только я стал более или менее пожилым, как только юные девушки начали уступать мне место в трамвае или поезде, мой родной город тихо, без шума отошел к РСФСР, где он благополучно пребывает до сих пор.

В Стародубе (тогда Гомельской губернии) на Милостивой улице жил-был отдел регистрации браков и смертей. Здесь действовал во всю силу некто Шиманский, молодой человек с заливчатскими усами.

Даже в трезвом состоянии он был способен спутать любого покойника со счастливым женихом, мог в одну секунду превратить стыдливую невесту в назойливого жениха, от чего в городе многие плакали и многие смеялись.

Его деликатно сняли — в связи с переходом на другую работу. Приняв во внимание его роскошные усы, назначили начальником городской милиции.

Вот тут-то Шиманский решил проявить себя и показать, на что он годен. Первым делом он решил подмести в городе все улицы, переулки и площади. В один день, чтоб было чисто везде и всюду! В срочном порядке мобилизовали все наличные метлы и веники. Рано утром милиционеры хватали на улице всех прохожих — мужчин и женщин, партийных и беспартийных, здоровых и немощных, трезвых и пьяных, взрослых и малолетних, — хватали всех и заставляли подметать, подметать, подметать.

Пыль поднялась в городе такая, что ее видно было во всем уезде.

Редактор уездной газеты «Коммунист» милейший Сергей Чечулин рассвирепел. Он вызвал меня к себе.

— Послушай... Вот какое дело... Ты когда-нибудь писал фельетоны?

— Никогда в жизни.

— А ты попробуй. Напиши о Шиманском.

И я написал свой первый в жизни фельетон. Заглавие — «Внебрачный милиционер». Намекнул на его головотяпство в отделе браков. И о том, что он творит в милиции, покинув брачные чертоги.

Редактор одобрил фельетон и послал его в набор. В типографии работали жизнерадостные люди — они веселились, читая мое произведение, — Шиманского в городе не уважали (мягко выражаясь), а потому наборщики с большой охотой набрали фельетон, сверстали и сделали большое количество оттисков, которые были немедленно розданы женам, невестам, соседям, друзьям и приятелям. Весь город читал, а читать мои земляки любили вслух. Шум поднялся большой.

В типографию прискакал весь в мыле виновник торжества — Шиманский. Не говоря худого слова (хотя, по нашим сведениям, он знал несколько таких слов), он собственноручно рассыпал набор.

А номер уже был весь сверстан. Что делать? Ничего не надо делать. Печатать как есть! Газета утром вышла с большим белым пятном: вместо фельетона — пустота. Таким образом, мой первый фельетон был набран, но не увидел света.

В Гомеле этот номер газеты произвел сильное впечатление. Секретарь губкома партии по пропаганде Борис Ольховой метал громы и молнии. Шиманскому объявили строгий выговор.

А Сергей Чечулин, редактор, тотчас же заказал мне новый фельетон — уже на другую тему.

С тех пор я начал писать фельетоны — «Внебрачный милиционер» помог.

Если память мне не изменяет, все это произошло в августе 1918 года.

Каланча на хозрасчете

Первая моя книжка фельетонов вышла в 1926 году в ленинградском издательстве «Прибой». Называлась она «Каланча на хозрасчете». Такой же заголовок имел и фельетон, которым открывалась книга.

Он написан мной по письму читателя. А к письму был приложен судебный протокол и приговор. О содержании фельетона можно судить по этому отрывку:

«— Гражданин Мартынов, признаете ли вы себя виновным?

— Ничего не знаю.

— Гражданин Кочетков, признаете ли себя виновным?

— Нет.

— Гражданин Голованов, призна. . .

— Нет, нет.

— Гражданин Каменских, признаете ли себя виновным?

— Виновен.

— Что вы можете рассказать суду?

— Все из-за хозрасчета, товарищ судья. Совет решил не платить пожарным жалованья. Денег просим, а Совет говорит: обождете, не горит. Денег, говорят, много на вас уходит. Пожар, говорят, бывает раз в три месяца, а вам каждый день плати. Будем, говорят, платить вам только тогда, когда горит. По пятьдесят копеек в час. Был один пожар, мы его сдуру за пятнадцать минут потушили. Получили всего двенадцать с половиной копеек. Мы потом следующий пожар часа четыре тушили. По два дубля на брата вышло. Так бы ничего, если бы в неделю раза три-четыре. Но потом видим: не горят наши граждане. Без пожаров живут. Плохо. Мы тогда сами начали поджигать. По очереди. Так что в общем и целом недурно обернулось. Можно было бы жить. . .»

Все это действительно было. И факты, и действующие лица не вымышлены. Место происшествия — станция Шилка, возле Читы. Время — 1925 год.

За чашкой чая

— Ты рассказал, товарищ, мне и жене моей, Ольге Семеновне, с какими достижениями наша страна идет к Семнадцатому съезду партии.

Ты меня, рабочего-ударника Винокурова, давно знаешь, но ты меня мало знаешь. Мы встречались с тобой в заводских цехах. Видались на собраниях. А по-настоящему познакомимся только сегодня.

И я очень рад, что тут присутствует корреспондент из газеты. Может, ему тоже будет интересно послушать.

С семнадцатого до двадцать второго года я служил в Красной Армии добровольцем. Помнится, в Демидовском районе Смоленской губернии мне пришлось участвовать в ликвидации банд князя Серебряного и Коновалова. Мы дрались в лаптях, голодные, холодные. Но мы победили.

Но не это я хотел тебе рассказать сегодня. Ты мне рассказал о достижениях всего Союза, а я расскажу тебе про свою семью.

(Семья в полном сборе сидит за столом, пьет чай и внимательно слушает Винокурова.)

В деревне Иванченко Софиевского района, в гнилой избушке, жили мы восемь человек. Семья большая, а работников было мало. Отец мой, бедняк безземельный, очень нищенствовал. Мне пришлось с малых лет пойти на заработки. В восемнадцать лет женился, а так как был безземельный, то оставил жену в деревне батрачить, а сам уехал в Петербург. Немало мне пришлось испытать, пока я пристроился и нашел себе угол и работу. Работал чернорабочим по двенадцать часов в сутки. Так и прошла моя молодость.

Три года тому назад я поступил работать на «Шарикоподшипник» чернорабочим. Жил я тогда со своей семьей из семи человек за Москвой, в Шелепихе. Жил в сарае. Ничего у меня не было. Койки не было, стола не было. А в настоящее время...

В настоящее время имею квалификацию электромонтера. Дочь моя Марфа, ей девятнадцать лет, работала раньше в прислугах, потом подметальщицей. А сейчас стоит у станка в автоматном-токарном цехе, четыре раза премирована. Я также несколько раз премирован за ударную работу. К Октябрьским торжествам получил в десятом корпусе новую квартиру. Завел радио. Выписываю «Правду». Дочь Марфа выписывает «Комсомольскую правду». Дочь Анна учится в пятой группе, а вот эта — Евдокия — в четвертой. Сын Ваня, восьми лет, учится в первой группе. А Коля — ему пять лет, еще маленький — нигде не учится, но говорит: обязательно буду инженером. Хвастать мне перед тобой не приходится, а по-товарищески скажу: родилась во мне радость и часто мне петь хочется. Петь хочется о том, как вырос и растет бывший чернорабочий Винокуров.

Выступление тов. Винокурова происходило у него на квартире, у весело шипящего самовара.

Дело в следующем: накануне XVII съезда партии группа заводских агитаторов, к которым присоединился и автор этих строк, в качестве корреспондента газеты обошла несколько десятков рабочих квартир. Были разговоры, беседы, вопросы, ответы.

От Винокуровых мы зашли к Шипиловым. Здесь Степанида Лукинична Шипилова предъявила нам такой семейный документ:

«Я, Нюра Шипилова, 11 лет, ученица 3-й группы 28-й школы, включаюсь в поход имени XVII партийного съезда.

Я обещаю к XVII съезду по всем предметам добиться отметки «хор.». Особенно подтянуться по географии и обществоведению.

Я, Нюра Шипилова, вызываю свою мать, Степаниду Лукиничну, на соцсоревнование: я буду учиться на «хорошо», пусть мама тоже учится на «хорошо».

Вызываю брата Ваню, кандидата партии, чтобы он все окурки бросал в пепельницу, а не на пол. А потом пускай сам за собой постель застилает, нечего женщин эксплуатировать.

Вызываю сестру Маруську на социалистическое соревнование по домашней работе — матери помогать.

Вызываю брата Колю, чтобы он поступил учиться и вступил в комсомол».

Весь этот материал был мною использован для очерка-брошюры «За чашкой чая».

Обязательно Цицероном...

В моем родном городе работал в редакции человек, писавший под псевдонимом Петит.

Передаю один свой разговор с ним, с Петитом. Дело было лет сорок тому назад.

Мой друг Игнат Егорович Петит пришел ко мне в тот жестокий час, когда я охотился, свирепый, как майн-ридовский индеец в прериях, за дразнящей и все ускользящей от меня темой.

— Брось ерепениться, — посоветовал Петит. — Тебе нужна тема о печати? Почему не заняться воспоминаниями? Воспоминания, ежели они правильны, кратки и редки, совсем не вредны. Хочешь, я расскажу тебе, как я редактировал в двадцать первом году газету в одном замечательном райцентре?

Я согласился. Игнат приступил к воспоминаниям.

...Редакция занимала небольшое помещение — стол в правом углу отдела записей актов гражданского состояния. Весь штат редакции состоял из меня, репортера и телефона. Репортер то и дело отлучался к соседнему столу и приносил, запыхавшись, свежую информацию о количестве рожденных и умерших за последние сутки. В других учреждениях информацию не давали.

Репортер иногда вздыхал:

— Вчера в Зипуновке умер член волисполкома. Редеют ряды. Ведь за истекшие сутки не отмечен родившимся ни один член волисполкома. Что-то будет?

Больше всех нас в редакции работал телефон.

— Алло! Товарищ Петит? Говорит ответственный секретарь коммунхоза. Сейчас посылаю тебе на двадцати семи листах постановление о порядке содержания в чистоте ретиранных мест. Обязательно поместить на первой странице. Да не мелкими буквочками, а толстым Цицероном.

— Товарищ! Что вы? Это же погубит номер! Надо завтра дать материал о продналоге...

— Это важнее. Продналог не все платят, многие

даже увиливают. А ретирады относятся ко всему населению, и все ими интересуются. Обязательно цитируют!..

— Алло! У телефона редактор? Слушайте, что за безобразие? Говорит заведующий административным отделом. Это почему вы сократили мою речь на собрании дворников? Я говорил часа два, а у вас всего строк тридцать... Вы нам срываете кампанию! Сейчас же пришлю полностью свою речь. Прошу дать ее завтра, и обязательно на первой странице. Что? Буду жаловаться...

— Алло! Говорит продкомиссар. Снимите все с первой и второй страницы. Сейчас сяду писать передовую о недоимках...

В редакцию вбегает курьер из земотдела, бросает на стол пакет — и след простыл. Читаю:

«Уважаемый редактор! В вашей уважаемой газете №... от... помещена насчет земотдела безобразная заметка под заглавием... Считаю нужным протестовать против помещения подобных глупых и необоснованных заметок. Вы срываете кампанию!..»

— В чем дело? — спрашиваю я удивленно репортера. — Какая заметка? Когда напечатана?

— Это из земотдела? У них, видите ли, приготовлены на целый год трафаретки для опровержений. Повидимому, они забыли проставить, о какой заметке идет речь и в каком номере. А поместить все-таки надо, а то скандал...

Лениво плетутся часы. Как немазаная телега, тянется и скрипит день. Жужжат мухи на окне.

Только к концу дня оживляешься, когда репортер, сбежав за папиросами, принесет сенсацию:

«Сегодня утром на углу улицы имени Августа Бебеля пожарный грузовик наехал на члена союза пиццевиков Ватрушкина. Член союза отделался легким испугом и в бесчувственном состоянии отправлен в больницу имени...»

— Э! — вдруг оживился Игнат Егорович Петит. — Теперь совсем другое. А попробовал бы ты тогда поработать. Тогда и о темах не думали: не до того было.

Дорожное приключение

Вот что старый мастер Иван Терентьевич поведал мне об одном своем дорожном приключении.

— Нонешним летом получил я путевку на юг, в крымскую кузницу здоровья. Поезд уходил во втором часу дня. Захожу я в вагон, ставлю чемоданчик на верхнюю полку. Вижу: в купе пять молодых людей.

А эти молодые люди одеты как на картинках. Белые воротнички, на брюках складки, полуботники сияют во всю силу.

Прислушиваюсь — калякают не по-нашему. Какое-то очень зубодробительное наречие, и через каждые пять слов — «Ольрайт». А что это означает, ума не приложу.

«Плохо тебе, — думаю, — Иван Терентьевич. Попал ты в вагон к иностранцам. Ни поговорить, ни толковать».

Кинулся я к проводнику:

— Скажи мне, голубь, что это за франты?

— Иностранцы, — говорит, — англичане. А если сказать по-русски — интуристы.

— А по нашему что-нибудь кумекают?

— Ни в зуб ногой. Только самый маленький, белобрысый, чуть-чуть смыслит, а говорит — одна комедия.

Возвращаюсь в купе, сажусь на свое место и равнодушно гляжу в окно. Тут ко мне подбегает этот самый белобрысый интурист, делает по-иностранному ручкой и говорит:

— Мистер, как поживает и куды-туды ездайт?

Я, конечно, деликатно поклонился и в свою очередь дипломатично говорю:

— Погода сегодня замечательная. Как вам нравится наша страна?

Короче говоря, завязался интересный разговор. Я его понимаю наполовину, а он меня и того меньше. А остальные четверо англичан смотрят на нас, ни бельмеса не понимают, но из приличия улыбаются.

Иногда белобрысый скажет им что-то по-своему, а они в ответ кивают головами и говорят: «Ольрайт!»

Проезжаем мимо нашего большого завода. Белобрысый что-то слишком внимательно смотрит в окно. А потом подкатывается ко мне с вопросом:

— Мистер, что этой завод?

Так я ему и сказал!

— Детские игрушки, — отвечаю, — вырабатывает. Лошадки с бубенчиками.

Сижу и, по обыкновению, замурылкал под нос песенку.

Белобрысый опять подкатывается ко мне:

— Мистер, спевайт русский песня.

Можно, думаю. Откашлялся я и начал:

Если завтра война, если враг нападет,
Если темная сила нагрянет. . .

Не успел я закончить, как мои интуристы хором подхватили:

Как один человек, весь советский народ
За свободную родину встанет. . .

Я рот разинул. А они, черти, смеются.

— Извините, дедушка, — говорят, — мы вас маленько разыграли. Мы работаем на большом заводе. Едем в отпуск. А так как мы изучаем в кружке английский язык, то решили всю дорогу практиковаться и говорить только по-английски. Вы на нас не сердитесь.

Ну как тут можно было сердчать?

— Ольрайт, — говорю, — ребята!

На Соколиной горе

Не верьте мне, если скажу, что весь свой досуг посвящаю восхождению на горные вершины. Словом, не ищите меня в кругу отчаянных альпинистов.

Человек тихий, я вырос среди долины ровная, на гладкой высоте. Но вот сегодня я бодро и весело взобрался на гору. На Соколиную гору.

Она ниже Эльбруса и скромней Казбека. Меж тем твердо уверен, что эта возвышенность может воодушевить поэта. Что касается меня, то вот уж тридцать три года, как я очарован Соколиной горой, уютно приютившейся на одной из московских окраин.

Вчера я получил письмо с Соколиной горы. К письму приложен мой очерк, напечатанный тридцать три года назад. Он озаглавлен «Дети Пигановых».

Детишки выросли за это время. Настойчиво и упорно продолжают расти. Я пока имею в виду только старших ребят.

Самый младшенький из них Ванюша — так называют братья подполковника в отставке Ивана Антоновича Пиганова, бывшего рабочего электрозавода. Ему недавно исполнилось пятьдесят три года.

Среднему брату, Василию Антоновичу, ведущему хирургу в клинической больнице на Соколиной горе, — шестьдесят три года.

Старшему, Павлу Антоновичу, бывалому солдату, партийному работнику, ныне персональному пенсионеру, вот-вот стукнет семьдесят первый год.

А сестре Александре Антоновне пошел... Буду тактичен и не стану уточнять возраст дамы. Но о производственном стаже не имею права умолчать. Тридцать пять лет она проработала воспитательницей детского сада в совхозе «Лесные поляны». Сейчас она на пенсии. И еще одна счастливая деталь в ее биографии: она — бабушка прекрасных внуков. Молодая и жизнерадостная бабушка. Муж ее, Михаил Яковлевич Орлов, действует на Мытищинском заводе, рабочий.

Это сейчас, а тридцать три года назад все было по-другому.

Все было по-другому в семье чернорабочего Антона Викторовича Пиганова и его жены Татьяны Сидоровны, жителей станции Собакино Западной железной дороги.

Вот что пишут мне дети Пигановых; герои очерка «Дети Пигановых».

«Тридцать три года тому назад вы в своей статье написали о пути рядовой советской семьи.

Пусть знает молодое поколение, как мы пробивали себе дорогу в жизнь, сколько трудов и крови стоили те блага, плодами коих они сейчас пользуются.

Это все стало возможным только при нашей советской власти, к пятидесятилетию которой мы сейчас идем».

Не все дети Пигановых имели возможность написать это письмо.

Бывший беспризорник Петя («Восемь лет, — писал он, — я провел, кочуя по помойным ящикам больших городов, по асфальтовым котлам») стал Петром Антоновичем, рабочим большого московского завода, кандидатом партии. В 1956 году он тяжело заболел и умер.

Борис Антонович, колхозник, вместе с сыном Николаем погибли в 1942 году на Смоленщине, защищая родину от фашистских оккупантов.

Тридцать три года тому назад я писал... Да позволено мне будет привести небольшую цитату из моего сочинения. Я писал тогда:

«На железнодорожной станции работает старик Пиганов.

Подымается стрелка семафора. Путь свободен.

Семафор открыт.

Путь свободен для миллионов Пигановых».

Закипает вода в большом чайнике. Сейчас будем пить чай. Робко позвякивают маленькие рюмки, уступа место чайной посуде.

Я на Соколиной горе. В гостях у братьев Пигановых. Они собрались на квартире Василия Антоновича, врача.

Они гордятся своей большой дружной семьей.

— Тридцать три года тому назад, — говорят они, — когда вы писали свою статью, было только восемь Пигановых, а теперь более двух десятков.

Старикам, понятное дело, не терпится. Им хочется рассказывать и рассказывать о своих детях, о внуках, о том, что семафор для них открыт, о том, куда они держат путь, чем укрепляют советскую жизнь, чем украшают и обогащают фамилию Пигановых.

Это, конечно, очень и очень интересно. Но все же начнем со стариков.

Прежде всего я должен извиниться перед братьями Пигановыми за то, что величаю их «стариками». Но имейте в виду: разговор у меня идет не о старости, не о преклонных годах, не о закате. Нет, не погас огонь в их глазах, не потускнели их речи, не иссякло их умение радоваться и смеяться. А называю их этим почетным званием только для того, чтоб отметить их старшинство в большой семье.

Итак, о стариках. Возьмем, к примеру, самого многолетнего Павла Антоновича.

— Рассказывай, Паша. Только покороче.

— Не мешай, Ваня. Сам знаю. Разрешите кое-что вспомнить из своей былой жизни. Два слова об отце. . . Отец примкнул в семнадцатом к революции. Около четырех лет был председателем сельского Совета.

— Скажи, Паша, где это было?

— Это было в селе Усвяты, недалеко от города Велижа. Так вот. . . В двадцать первом отец был ранен из-за угла: в него кулаки стреляли из нагана. В двадцать четвертом покинул село, стал рабочим и вскоре вступил в партию.

Еще мальчишкой я пошел по чужим людям — батрачил.

В четырнадцатом, когда мимо нашего села проходили войска на фронт, вместе с обозом одной части поехал на войну. Где только не побывал! А в двадцатом я появился в родном селе. Ушел из села маленьким свинопасом, вернулся военным комиссаром, членом партии. Вскоре был избран секретарем партийной организации Усвятской волости. Много было

разных событий. Но тоски и скуки не было. Всего, конечно, не расскажешь. Скажу лишь о том, что меня потянуло на учебу. Ведь какие пути-дороги для нашего брата открыты! И мы с Васей двинулись завоевывать науку. Пошли в Великие Луки. Вот Вася расскажет, как мы шли. . .

— Сейчас расскажу. . . Но прежде всего позвольте налить горячего чайку. Этот уже остыл.

Василий Антонович — врач с большим и добрым стажем. В течение тридцати пяти лет провел более пяти тысяч успешных хирургических операций. Автор серьезных статей в медицинских журналах.

— Узнал я, что Павел собирается в Великие Луки. Упросил я его взять меня с собой. Было мне в ту пору семнадцать лет. Пошли, конечно, пешком.

Как теперь помню — был я в лыковых лаптях. На второй день пришли в город, в Великие Луки. . . Чему ты, Ваня, так лукаво улыбаешься?

— Вспоминаю, Вася, о том, что в ту пору тебе и Паше Великие Луки показались очень Великими Луками, самым великим городом на земном шаре. Что-то вроде Москвы или Парижа.

— Поступил я работать в одну частную кузницу. Днем работал, а вечером занимался. Стал посещать политкружки. Чувствую — расту. С каждым днем подымаюсь все выше и выше. Вскоре и комсомольцем стал.

Помогли товарищи-комсомольцы, и меня направили в Москву на учебу. Прошло некоторое время, и я — студент. Учусь на медицинском факультете.

Рядом в комнате зазвонил телефон. Василий Антонович извинился:

— Я на одну минуту. Надо полагать, из больницы. Вскоре вернулся.

— Нет, не из больницы. А из института Склифосовского. Звонила Екатерина Ивановна, жена. Она там работает с тысяча девятьсот двадцать пятого года. Справлялась — все ли дома в порядке? Как себя чувствуют гости?

Тут же выяснилось, что на Соколиной горе гости чувствуют себя прекрасно.

— А мне еще только два-три слова, — сказал Василий Антонович, — и буду закругляться. Итак, я стал студентом. Сейчас в нашем селе уж никто этому не удивляется. А тогда, когда узнали, что я, Вася Пиганов, студент, — не поверили. Многие просто смеялись.

Посмеялись, а потом перестали. В нашем селе, как видите, вырос не только студент, но и врач.

Стал студентом и Павел. Да он сам об этом расскажет.

Вмешался Иван Антонович:

— Пусть Паша спокойно допивает свой чай. А я за него доскажу. Согласен, Паша? Возражений нет.

Павел из Великих Лук тоже попал в Москву. Здесь он больше трех лет учился на рабфаке имени Калинина. Затем, до тридцатого года, — в Межевом институте. Затем стал инженером. А сейчас пенсионер республиканского значения. Правильно, Паша?

— Правильно, Ваня. Но ты о себе скажи, товарищ подполковник.

— Могу и о себе... Вслед за братьями решил ошастливить своим присутствием столицу нашей родины. Первое время бегаю по Москве, продаю газеты и папиросы. Не только бегаю, но и учусь, учусь, учусь. Окончил семь классов. Поступаю в ФЗУ при электростанции. А вскоре получаю высокое звание — рабочий электростанции! Вступаю в комсомол. Меня на заводе избирают членом бюро комсомола!

Осенью тысяча девятьсот тридцать третьего года поступаю в полковую школу... В тысяча девятьсот сорок третьем году преподаю в той же военной школе, которую окончил шесть лет назад. А в тысяча девятьсот пятидесятом году я — старший преподаватель в военном училище в Калининграде. В тысяча девятьсот сорок первом году я на фронте. Дважды ранен, контужен. В тысяча девятьсот сорок втором году под Сталинградом вступил в партию. Демобилизован по болезни в звании подполковника в тысяча девятьсот пятьдесят пятом году... Не могу пройти мимо моей жены. Ее зовут Ирина Витольдовна. Она — врач, работает в одной из больниц на Соколиной горе. Она

очень хорошая — имею в виду не гору, а жену... И на этом позвольте поставить точку. Давайте поговорим о наших детях.

Вот для кого особенно семафор открыт! Для юных и молодых Пигановых, для миллионов их сверстников. Семафор открыт заблаговременно, пятьдесят лет тому назад.

Дети Павла Антоновича: 1) Владимир, окончил Бауманский институт, работает старшим инженером; 2) Антон, окончил тот же институт, инженер; 3) Василий, окончил десять классов и два курса Московского автомеханического института, сейчас на военной службе; 4) Татьяна, окончила Моторостроительный техникум.

Дети Василия Антоновича: 1) сын Вячеслав, как и отец, хирург, работает в клинике проф. Петрова; 2) невестка Нина Леонидовна, жена Вячеслава — врач.

Дети Ивана Антоновича: 1) Владимир, инженер-геолог, работает в Улан-Удэ; 2) Валерий, окончил консерваторию в Минске, преподаватель музыкального училища в Калининграде; 3) Наташа, ученица 8-го класса; 4) Яков, ученик 3-го класса.

Дети Александры Антоновны, работницы совхоза, и ее мужа Михаила Яковлевича, рабочего: 1) Нина, как и ее мать, работает воспитательницей в совхозе «Лесные поляны», 2) сын Олег, член партии, инженер, депутат райсовета.

Это дети Пигановых. А ведь еще есть внуки!

Пигановы живут на разных улицах, в разных районах столицы. Но все они чувствуют себя на высоте. На горе. На Соколиной.

Диаграммы

Посетитель, человек средних лет с энергичными и нервными чертами лица, отрекомендовался:

— Я художник. Работаю в газетах. Сейчас рисую...

Сейчас рисую диаграммы. Должен вас предупредить, что в живописи я люблю пейзаж. Извилистая речка меж крутых бережков. Восход солнца в сосновом бору. И тучка золотая на груди утеса-великана.

Но в последние дни мой взор чарует иная поэзия. Иные пейзажи вдохновляют меня.

Извилистые речки — это особь статья, они остаются в силе. Но сегодня меня зовут к себе другие волнистые линии. Мой карандаш с увлечением наносит на бумагу подымающиеся ввысь, наподобие горных вершин, домны, мартеновские печи, снопы пшеницы, этажи домов. Мои диаграммы рассказывают о новых марках советских автомобилей, о новых тканях, о новых днях нашей первой пятилетки.

Так вот. Поэтому мне хотелось бы предложить вашему вниманию серию новых диаграмм. Здесь ломаная линия идет не вверх, а вниз, все падая и падая и порою совершенно исчезая. Как сказал поэт, простите за цитату: «Она исчезла, утопая в сиянье голубого дня».

Сейчас я вам все покажу. Но имейте в виду — это не окончательные варианты. Пока только наброски, наметки, проба карандаша.

Я беру не в широком масштабе, а касаюсь лишь отдельных районов.

Здесь вы видите огромную папиросу «Казбек» — она дымит. С каждым годом папироса уменьшается. И вот мы уже почти у самого подножья «Казбека» — папироса стала крохотной.

Нет, это не лекция о вреде курения табака. Диаграмма имеет в виду, скажем, Воробьевский район, где итогом длинных, томительных, дымных и бесплодных ночных заседаний часто является лишь несметное

количество уничтоженных папирос и сигарок. Но все это должно пойти на убыль, и папироса на рисунке теряет и в росте и в весе.

А вот эта диаграмма имеет прямое отношение к бывшей Растеряевой улице. На первом плане парень с узким лбом и грязным чубом. Его рот открыт — то, что вылетает из этой пасти, нельзя ни рисовать, ни печатать. Но еще рисунок не закончен, а хулигана уже не видно. Ему в нашем будущем нет места.

Дальше перед вами стог. Всмотритесь внимательно — это стог из судебных повесток в городе Колдобинске. Диаграмма показывает, как весело растет город и как резко уменьшается стог.

Здесь вы видите лужу в миргородском стиле. Она с давних времен является обязательной принадлежностью городской площади в Заболотинске. Вот эта ниспадающая волнистая линия ведет нас через все более сокращающиеся пятна к цветнику, где рядом со скромными петуниями цветут гордые гладиолусы.

Приятно рисовать цветы. И очень приятно — смотрите следующую диаграмму — рисовать широко раскрытую дверь. Это дверь кабинета председателя городского Совета, которая заменила глухо закрытый канцелярский дот с надписью: «Приема нет».

Я закругляюсь, как говорят ораторы. Вот еще только одна диаграмма. Вы видите здесь человека, сильно смахивающего на фонвизинского Митрофанушку. Но он постепенно худеет, чахнет, и в конце мы видим того же человека, но в новом свойстве, человека, который уж никак не похож на недоросля.

Вот пока все. Кое-что из того, что я предлагаю, следует, может быть, отбросить, кое-что поправить, кое-что добавить. Не в деталях суть. А в принципе, кажется, я прав. Ведь в годы первой пятилетки будет расти и человек — его культура, сознание и честь. Не так ли?

Дело было на кухне

В редакцию пришел старик, высокий, с седыми подстриженными усами.

— Здравствуйте! — пробасил он. — Здравствуйте!
Я Львов.

Заметив на моем лице недоумение, старик улыбнулся.

— Конечно, дело давнее. Вспомнить трудно. А я вот третьего дня по своим делам приехал в Москву и решил лично познакомиться с вами.

И после легкой паузы отрекомендовался:

— Львов из Ялты!

И вдруг в памяти моей возник этот человек, его странное письмо, полученное мною, кажется, в 1924 году.

Я спросил старика:

— Командир полка? Затем повар?

Он обрадовался.

— Вот! Вот! — вскричал он. — Вспомнили наконец. Я тот самый.

Он вынул из кармана старый, пожелтевший номер «Известий».

— Гляньте, может, уже забыли.

Я пробежал глазами первые строчки своего фельетона, написанного давным-давно:

«Львов командовал полком. Храбро дрался. С азартом лупил белогвардейцев...»

Страна очищена от белогвардейской нечисти. Враг вместе со всеми своими «программами» смят, развеян по ветру. Отзвучали последние выстрелы. Радостно загудели паровозы, понесшие бойцов к родным городам и селам...»

«Бывший командир полка Львов очутился в Ялте. Здесь он шинель бойца сменил на халат. Буденовку на поварской колпак...»

«Ничего удивительного и необычайного. Революция проделывала с людьми и не такие дела. Повара командуют полками. Парикмахеры ведут в атаку

дивизии. Шахтеры разрабатывают в штабах стратегические планы. А донецкий слесарь стоит во главе всех Вооруженных Сил страны. И в общем совсем неплохо получается. Ни интервенты, ни их нахлебники из числа русских белогвардейских генералов не могут пожаловаться на то, что их плохо били. . .»

Эти строки напомнили мне всю историю Львова до мельчайших подробностей. Я отложил газету в сторону и вместе с тов. Львовым начал перелистывать страницы недавнего прошлого.

После демобилизации командир полка Львов вернулся к своей прежней профессии. Он стал поваром. Работу по специальности он получил в Ялтинском туберкулезном институте.

Оттуда, из Ялты, я и получил письмо от Львова. Письмо, подписанное кровью.

Мы говорим здесь не в аллегорическом смысле. Речь идет о подлинной крови. Он специально проколол себе палец и этой кровью подписал письмо.

«Я хочу, — писал он, — чтоб вы мне полностью поверили, хотя вы меня не знаете и никогда в глаза не видели. Поэтому я подписываюсь собственной кровью, и будьте твердо уверены, что красный командир Львов никогда не врал и врать не будет».

Я поверил. И, не расследуя письмо Львова, написал фельетон. Факты полностью подтвердились.

О чем же писал мне тов. Львов?

На кухне института, куда он пришел работать, его встретили неприветливо. Но больше всех донимал тов. Львова шеф-повар, который считал себя аристократом и с презрением глядел на всех людей, не имеющих отношения к высшему свету. Сам же он семь раз на дню бахвалился тем, что сподобился готовить пищу для самого царя Александра Третьего. . .

А распри между «кормильцем» Александра Третьего и Львовым начались с той самой минуты, когда «кормилец» предложил ему посильно участвовать в «узушке» и «утечке» продуктов.

Львов не захотел и пригрозил разоблачить всю шайку воров, приютившихся на кухне Туберкулезного института.

Но воры не испугались, потому что «свидетелей не было».

Все же на всякий случай решили избавиться от опасного «товарища».

Они начали донимать Львова экзаменами и экспертизами.

На одной из этих экспертиз Львов бесстрашно одолел бефстроганов, мужественно справился со свиной отбивной, вышел победителем по гороховому супу и даже куриному бульону.

А с капустный шницель споткнулся.

Не удался ему шницель, да и только. Ежели поглядеть невооруженным глазом, то шницель как шницель. Но высшие «спецы» сего искусства утверждают:

— Не шницель, а насмешка.

Цепко схватились неприятели Львова за этот капустный шницель и поспешили уволить Львова.

После того как фельетон («Дело было на кухне») был напечатан, Львова восстановили, «аристократ» и его компания изгнаны и преданы суду.

И вот сейчас — через много лет — сидит предомной герой моего старого фельетона. Волнующая встреча!

Убили селькора

Приезжаю я в город Сызрань. Приехал утром, а вечером узнаю в редакции местной газеты, что в селе Шереметьевке совершено убийство селькора Петра Свирина, комсомольца.

А надо вам сказать, что в ту пору (1924 год) был расцвет селькоровского движения. Зоркое око селькора не давало покоя кулакам и наскоро перекрасившимся белогвардейцам. Эти элементы мстили селькорам, их избивали, убивали. Посмотрите комплекты газет за тот период, и вы найдете там немало отчетов о судах над убийцами селькоров.

В ту же ночь мы выехали в Шереметьевку — инспектор уголовного розыска Павлов, его собака Ферт, сотрудник сызранской газеты Караганов и я.

На месте мы узнали, что Свирин убит выстрелом из ружья. Он сидел вечером у окна. Пуля попала в раму, в стекло, а затем в голову селькора.

...Павлов дал Ферту обнюхать опаленное на раме место. Тут собака как будто не нашла для себя ничего интересного. Но вдруг ее внимание привлек ставень, на который, очевидно, опирался преступник.

Затем Ферт спрыгнул, подошел к крыльцу, остановился около хвороста в переулке у избы. Отсюда он направился к реке Сызрань, не колеблясь, пошел сначала вдоль берега, свернул затем в огород одного из домов другой уже улицы и через заднюю калитку вошел во двор. Спокойно прошел двор и через переднюю калитку вышел на улицу.

Выйдя на улицу, Ферт повернул вправо, подошел к соседнему дому и вдруг, опершись передними ногами о калитку, впервые громко залаял.

Мы вместе с Фертом вошли во двор, затем в дом. Войдя в дом, собака недолго думая ринулась под печь и тут же вынесла оттуда в зубах кулацкий обрез.

Хозяин этого оружия Тутукин был арестован и сразу начал выдавать своих сообщников.

Когда мы собирались уехать из села, к нам подошел парень лет восемнадцати:

— Моя фамилия Грушко. Павел Грушко. Хочу стать селькором. Выпишите мне корреспондентский билет за тем же номером, что у Свирина.

Это был фронт. На этом фронте были свои герси.

Беседа с юбиляром

У меня есть друг. Добрый малый, хотя и фельетонист. Ему на днях исполняется семьдесят лет. Недаром его друзья, знакомые и ближайшие родственники утверждают, что он типичный юбиляр.

Вчера я встретился с этим новоиспеченным юбиляром. Пожали друг другу руки и сразу «сообразили» бутылочку кефира на двоих. Выпили по чайному стакану, не закусывая.

И вот, когда пир был в полупире, завязалась живая беседа.

— Гриша! — вскричал я, обняв юбиляра. — Ты меня уважаешь? Нет, Гриша, ты меня не уважаешь. Ежели ты мне друг, давай хлопнем еще по стаканчику белого кефира. А?

— Брось дурачиться! — сказал юбиляр. — Давай говорить серьезно.

— Давай! — согласился я. — Как себя чувствуешь, мой юный друг?

— Все в порядке! — бодро ответил юный семидесятилетний друг. — С каждым днем молодею. Сегодня одна дама, приятно улыбнувшись, сказала: «Неужели вам семьдесят? Больше чем шестьдесят девять вам никто не даст».

Юбиляр, как всегда, был в хорошем настроении. Вот что он еще рассказал:

— Рано утром пришел ко мне один журналист. Он задумал написать мою биографию. Я в своей жизни заполнил тысячу двести ненужных анкет и написал две тысячи триста скучнейших автобиографий. А на сей раз мне захотелось малость повеселиться. Для этого пришлось взять за образец мемуары некоторых моих современников.

Начну с деда, — сказал я своему будущему биографу. — Это было в царствование Александра Третьего. Мой покойный дед (я этого никогда не скрывал) родился и вырос при дворе.

— В Царском Селе?

— Зачем — в селе? В городе. В Стародубе.

— Какой же там двор?

— Постоялый. Родитель моего деда содержал постоялый двор.

Заметив, что мой интервьюер несколько разочарован, я поспешил утешить его:

— Зато у моей бабушки была весьма яркая жизнь. Звали ее Лукерья. Сейчас это редкое имя в высшем свете. Вот что я знаю о бабушке Лукерье, чья биография тесно связана с биографией Марии Антуанетты, французской королевы.

Французская королева, жена Людовика Шестнадцатого, Мария Антуанетта была казнена шестнадцатого октября тысяча семьсот девяносто третьего года.

А на следующий день, то есть семнадцатого октября тысяча семьсот девяносто третьего года, ее племянница Луиза бежала с нашумевшим в свое время графом Шамбором в Шотландию.

Проездом через Ламанш граф простудился и тихо скончался от гриппозного осложнения.

Безутешная Луиза, приехав в Шотландию, вскоре вышла замуж за сына одного из приближенных шотландского короля Якова Шестого. От этого брака родилась дочь Эльвира, которая впоследствии вышла замуж за итальянского посла, маркиза Карнетто.

Старший сын маркиза Карнетто, Лучио, подделав векселя, бежал в Севилью, где сошелся с баронессой Дорн, обокрал ее и уехал в Лисабон. Здесь он остепенился, зажил тихой жизнью. Говорят, что это не обошлось без влияния его жены, дочери одного скромного португальского нотариуса.

Их дочь Марго, известная в то время красавица, вышла за венецианского негодяя. Брак был неудачным: негодяй обанкротился, расстроился и умер.

Марго, получившая в детстве религиозное воспитание, сошлась вскоре с одним папским нунцием. В связи с этим у нее однажды родился сын, которому при крещении в церкви св. Варфоломея дано было имя Карл.

Внук этого Карла при Бироне переехал в Россию

и поселился в Петербурге, на Литейной. У него служил кучер Иван Федосеич Корнеев, человек трезвый и степенный.

У Ивана Федосеича Корнеева была сестра Анисья. Ее внук Василий Корнеев, маляр, жил в городе Лохвица, на Садовой улице, дом номер семнадцать.

А как раз напротив, в доме номер восемнадцать, провела свои девичьи годы моя бабушка Лукерья...

Я хотел кое-что поведать и о моей августейшей тете, но будущий биограф подозрительно взглянул на меня, быстро поднялся и, не глядя по сторонам, выбежал из комнаты.

Этим курьезом не закончился, конечно, мой рабочий день.

Не думай, пожалуйста, что я на ближних подступах к юбилею сижу сложа руки, ничего не делаю.

Во-первых, разбираю почту. Суровый, но справедливый читатель ругает один из последних моих фельетонов: «Вопрос, товарищ фельетонист, взят вами слишком мелко, так нельзя писать». Группа взволнованных читателей благодарит за фельетон об одном романе, в котором романист опошил все на свете.

Некто Н. из Чебоксар обрадовал меня:

«Хочу сделаться киноартистом. Умею прыгать. Пробовал прыгать со второго этажа. Две недели лежал в больнице. Теперь опять прыгаю. У меня милый образ, как у Игоря Ильинского. Я — высокий и стройный, как пальма... Воображение мне рисует силуэты и разнородные формы. Я представляю себя на экране то деспотом, то колониальным рабом»...

Пришлось тут же написать ему письмо, в котором советовал: больше не прыгать.

Из Курской области прислали приказ управляющего некоей районной конторой:

«Старший бухгалтер Куриллов С. И. в работе стал проявлять халатность и грубость. Очевидно, Куриллов сделался таким потому, что управляющего он считает приятелем за то, что иногда с ним приходилось вместе обедать и, были случаи, выпивали по сто грамм водки, ввиду этого на первый раз выношу выговор Куриллову, как приятелю».

Кстати, о Курской области. Записываю в блокнот: «Через неделю съездить в колхоз под Курском на открытие Дома культуры и картинной галереи».

Что еще? Ах, да. Надо позвонить одному упорному клеветнику. Лет пятнадцать тому назад этот тип написал двадцать пять клеветнических заявлений. Двадцать четыре заявления на всех своих соседей и знакомых. А двадцать пятое — на самого себя.

Он написал, что не заявил о своем дяде, который разоблачен как «враг народа» и арестован.

Я занимался этим делом, и при проверке оказалось, что его дядю никогда не арестовывали и что вообще, кроме одной покойной тети, у него не было никакого дяди.

Сейчас он сочинил донос на сына и дочь своего соседа, обвиняя их в краже чего-то. Но все дело в том, что этот сосед — человек вполне честный и бездетный.

Я узнал, что клеветник состарился, шаркает, шамкает, но еще настолько крепок и бодр, что способен одним махом очернить десяток невинных людей.

Я позвонил ему. Он сразу узнал мой голос.

— Шукин сын, — прошамкал он, — ты еще жив?

— Да, — отвечал я. — Я еще жив. И буду еще много-много жить. И не дам спокойного житья таким, как вы!

Юбиляр умолк. А я сказал:

— Неужели, мой юный друг, тебе семьдесят?

— Не верю! — категорически заявил юбиляр.

Пять дней, которые...

Э то были тревожные дни и тревожные ночи.

Томительно длинные дни. Каждый из них равнялся столетию. Всего таких дней было пять. Так что, по самому приблизительному подсчету, они тянулись этак столетий пять.

Пять столетий тревоги и такая же порция других ужасных переживаний! Нагрузка солидная.

Все это суждено было перенести мне, пишущему эти строки. Седина еще не украсила мою голову (1926 год), лысиной природа не ссудила меня, территория тела моего не изрезана канавками морщин. Легко ли было мне в течение пяти дней — столетий тащить на себе такую непосильную ношу?

Весь год прошел сравнительно спокойно. Я не думал о последствиях. Время иногда шло пешком, катилось экспрессом порой. Часы привычно, по заведенному шаблону, однообразно и скромно тикали. Порой они останавливались: легкая починка, и вновь шустрая стрелка бежит по кругу, щелкая по цифрам минут.

Шли дни. Падали со стены листочки календаря. Но когда я сорвал листок от 27 декабря, я вдруг что-то вспомнил. Холод устроил пробег по моему телу. Страхи, точно орава вооруженных охотников, наступали на душу.

Неужели это совершится? Что-то будет!

Дрожащими руками я схватил свежий номер газеты:

«Первый ток из Волховстроя... Пилсудский говорит о мире... Ликвидация неграмотности... Цветение демократии в Литве... Бесхозяйственность в Пухобетонном тресте...»

Все в порядке. Значит, не сегодня. Наверное, завтра. «Что день грядущий мне готовит?» И как это Ленский умудрялся в такие минуты стихами говорить? Я бы не мог.

Но надо быть ко всему готовым. Я в тот же день уплатил членские взносы в ячейку, в профсоюз, в Авиахим, в «Друг детей». Взыскал долги. Ответил близким друзьям на письма. Прочитал еще раз все опровержения, полученные за последние месяцы на мои фельетоны. Взял аванс.

Так прошел день. Ночью не спал. Только под утро начал читать передовицу Милюкова в «Последних новостях», задремал.

Второй день, по обыкновению, начался утром. Схватился за газету:

Долой гармошку!.. Ура гармошке!.. Демьян Бедный... Жаров... Живут и поругиваются! Какое счастье! Один кольнет ямбом, другой заедет хореем. Как хорошо! Живите, дорогие товарищи, живите и ругайтесь!.. Попробуйте еще друг друга анапестом. Только не прозой... Ну, а если завтра! Завтра. «Завтра казнь, но без боязни»... Как же без боязни? Это только Кочубею для рифмы требовалось «без боязни». Говорил бы он прозой — другая бы картина получилась...

Итак, завтра. Никому ни слова! Все об этом забыли. Пусть! Помучаюсь в индивидуальном порядке.

Рано утром я кинулся к окну. Откуда-то сверху падают пушинки снега. Трещит мотоциклетка. Идет отряд пионеров, — беззаботно барабанит. Идут красноармейцы. Твердый шаг... Раз, два! Раз, два! «Если были б все, как вы, ротозей, что б осталось от Москвы, от России»... Поют! Значит, не сегодня. Завтра! Опять завтра! И тут волокита!

Ночь я провел в покаянном раздумье. Я мысленно просил прощения у всех, кого обидел за последний год. Да простит меня Госторг, и да смилуется его Нижегородское отделение! Да снизойдет на меня благодать Наркомпочтеля, да забудет он их — все мои сто двадцать строк против него! Тресты и синдикаты, банки, и совучреждения, и ты, главное управление химической промышленности, а также все хозяйственники и администраторы, — не поминайте лихом! Кто старое помянет и так далее.

Так продолжалось до утра. Чтоб не повторяться,

я пропускаю четвертый день. Если у читателя есть фантазия, он сам поймет, как я провел этот день.

Пятый день — 31 декабря — самый мучительный день. Я бродил по улицам и тщетно ждал пришествия грозного часа возмездия. Вот-вот сейчас с этой вывески Моссельпрома соскочат все буквы, появятся новые слова, и какие слова! С буквами «ять», с «твердым знаком». Других букв и не будет, одни яти и твердые знаки. «Попили нашей кровушки, и довольно, — скажут они другим буквам, — дайте нам теперь посидеть на вывеске».

Городские часы, как ни в чем не бывало, толкают свои стрелки вперед.

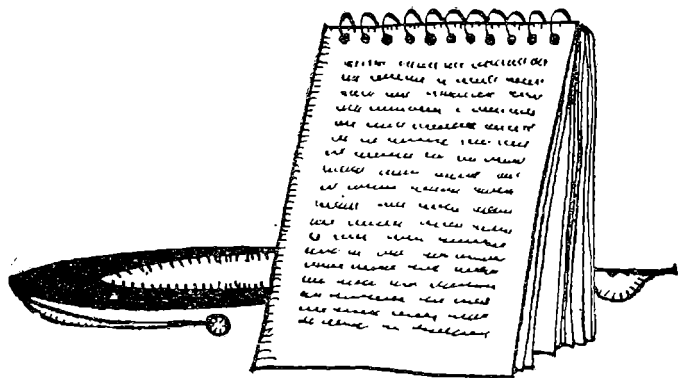
Прихожу домой. Еще два часа. Два тяжких часа хождения на крутую гору, взойдешь — перед глазами новая ширь, новые просторы, солнце нового года. А пока — карабкайся, лезь.

...Стрелка подходит к двенадцати. Спокойствие опоясало меня. На душе точно после грозы — тишина. Проносится мысль: «Обманули, собачьи дети!» Срываю листок с календаря, последний листок, — и говорю вдаль:

— В самом начале ушедшего тысяча девятьсот двадцать шестого года вы говорили: «Это — последний год советской власти». Мы не обратили внимания на ваши слова. Я один вспомнил о них, и только за пять дней до окончания года. Но год прошел, мимо вас прошел, не взглянув на вас, прошел. Входит новый календарный год. Вы вновь встретите его лаем, писком, мяуканьем, чревоуещанием. А пока... Бывшие министры, полковники, эсдеки, адъютанты, кадеты, претенденты на престол, эсеры, генералы, бумагомараки, монархисты, милюковы, держатели домов терпимости и прочие керенские пророки о гибели советской власти — всех вас поздравляю: «С Новым годом!»

В будущем году поздравляю опять.

Мой любимый блокнот



Речь пойдет о друге и товарище...

Э то короткие записи в блокноте журналиста, в самом любимом моем блокноте. Небольшие отрывки.

А речь пойдет о большом человеке, о большом коммунисте, о большом редакторе.

Речь пойдет о чудесном человеке, горячем большевике Иване Ивановиче Скворцове-Степанове, под руководством которого мне посчастливилось работать в газете «Известия».

Иван Иванович

Вот он передо мной — маленький листок из записной книжки. Список вопросов, по которым надо посоветоваться с редактором, с Иваном Ивановичем Скворцовым-Степановым.

Через несколько дней — ведь дни его отпуска на исходе — он придет в редакцию поправившийся, загорелый, как в прошлом году после отпуска, придет и сядет за свой стол...

Я знал, что по каждой строчке этих записей Иван Иванович скажет свое твердое слово, разрешит сомнения. И буквы на бумажке оживут, заговорят...

Вот он передо мной — пожелтевший скомканный листок из записной книжки. Он больше не нужен.

Нельзя поговорить с Иваном Ивановичем.

Вместо живого лица — портрет в траурной рамке на скорбной газетной полосе. Суровое лицо. Складки у глаз. Густые тяжелые усы. Тронутая сединой подстриженная борода. И та же, всем нам хорошо известная, темно-серая куртка.

Таков его внешний облик. Тихим, суровым и даже черствым казался мой учитель с первого взгляда. Эту суровость подчеркивала и вся его фигура. Высокий, стройный, негнувшийся, немного угловатый.

Но для того чтобы ближе узнать Ивана Ивановича, надо было всмотреться в его глаза. Живой

юношески пылкий взгляд сохранился у него с той поры, когда он, еще молодой и задорный, страстно разоблачал погрязшего в монархическом болоте «легального марксиста» Петра Струве.

Позади у Скворцова-Степанова — десятки лет нужды и лишений, десятки лет жестокой борьбы. Тюрма, ссылка в Сибирь, туберкулез легких, гласный надзор полиции... Короче говоря, все то, чем был «богат» жизненный путь нашей старой большевистской гвардии.

Старик — так мы, работники редакции, ласково называли его между собой — был всегда полон жизнерадостного мироощущения.

За это его особенно любил Владимир Ильич Ленин.

1918 год. Иван Иванович жил тогда за Москвою-рекой в маленькой квартирке. Книжки, газеты, журналы. Шаткая мебель. Все это напоминало комнату студента. Сюда, за Москву-реку, в эту тихую, пустынную квартирку приезжал Владимир Ильич навестить хворавшего в то время Ивана Ивановича.

Летом восемнадцатого года Ильич поселился в имении Мальцебродово по Ярославскому шоссе. Там же отдыхал Иван Иванович. По воскресеньям нередко приезжал Демьян Бедный. И тогда все они отправлялись бродить по окрестным лесам.

Обычно руководил экскурсией Иван Иванович. Он знал каждую тропинку и мог бы рассказать о цветах и травах любой лужайки. Высокий, прямой, шел он впереди, объяснял, шутил, увлекая компанию туда, где густыми зелеными коврами раскинулись заливные луга Клязьмы.

В. Д. Бонч-Бруевич рассказывает о том, как Ильич в такие минуты любовался Иваном Ивановичем.

— Вот что значит сила величайшего убеждения, — говаривал Владимир Ильич. — Сам кашляет, температурит, задыхается, худой, желтый, а всегда весел, жизнерадостен... Это замечательное качество... Это очень хорошо. Смотрите, как он на всех прекрасно влияет...

Наш редактор

— Надо быть патриотами своего дела. Каждый из нас должен стать патриотом нашей газеты... Надо полагать, что у нас работа наладится.

Это была первая фраза Ивана Ивановича, когда он пришел в редакцию «Известий».

Прежде чем взять перо, я долго размышлял, как писать о Скворцове-Степанове. Показать его только как литератора, редактора? Такой подход, мне кажется, был бы неправилен. Ведь кипучая деятельность Ивана Ивановича была так многогранна и взаимосвязана, что вряд ли возможно и целесообразно освещать только одну какую-то узкую сторону жизни революционного борца ленинской гвардии.

Вот, например, его мысли об умелом руководстве, правильном администрировании в наших советских условиях:

«Бывают руководители, администраторы — герои. Но «масса» у этих героев смотрит в разные стороны. Надо суметь «массу» всех работников, занятых в данном производстве, организовать, сплотить, спаять единой идеей, зажечь во всех и в каждом в отдельности огонек патриотизма к делу, к работе.

Надо суметь дать почувствовать каждому работнику, что он не слепой исполнитель чьей-то инструкции, не чиновник, а сотрудник советского учреждения.

Надо суметь воспитать у каждого работника чувство ответственности за ту, даже незначительную, работу, которую он выполняет...»

И все это умел делать Иван Иванович.

В каждом из нас, молодых работников, он бережно, осторожно и любовно воспитывал чувство долга, чувство патриотизма, о котором он говорил еще на первом собрании сотрудников редакции.

Каждый заведующий отделом знал, что в завтрашнем номере газеты должен появиться по-настоящему интересный материал и при этом хорошо и тщательно обработанный. Ежели этого не будет, он подведет

газету. Этим же настроением всегда были проникнуты и репортеры. И материалы номера, как правило, были содержательными и злободневными.

Бывали, конечно, и такие унылые, тягостные часы в нашей редакционной жизни: развернешь утром газеты, глянешь, сравнишь: а у нас-то — о, ужас! — пробел, проморгали что-то.

Иван Иванович в таких случаях проведет рукой по усам и, ни к кому не обращаясь, скажет:

— Да... Ничего не поделаешь...

А когда он был очень недоволен, укоризненно качал головой и говорил протяжно:

— Действительно... Нечего сказать...

Больше ни слова. И этого было достаточно. «Расшибусь, но в следующем номере будет «чего сказать» — такой вывод делал каждый из нас после замечаний Ивана Ивановича.

Но зато как он весь преобразался, как загорались его глаза, когда удавалось хорошо проделать какую-нибудь работу. Оживленный, помолодевший, он шагал по кабинету, покуривая, басил:

— Слушайте, это же замечательно. По-моему, это совсем ладно? Я, кажется, прав, как по-вашему? По-моему, у нас теперь крепкий аппарат в редакции. Кажется, я не ошибаюсь? Слушайте, а вот было бы хорошо еще...

И он тут же увлеченно начинал излагать новый план работы. Говорит, говорит — и вдруг остановится:

— По-моему, это будет правильно. Попробуйте. А как это организовать, думаю, вам виднее...

Он умел поднимать людей, выдвигать работников. Он радовался успеху каждого сотрудника редакции.

Встретит вас в коридоре, остановит и, полный радости, скажет:

— Слушайте... Вот замечательно. Читали сегодня статью на второй полосе? Превосходно!

Вдруг зайдет в секретариат, где обычно по вечерам толпится много нашей братии, и пробасит:

— Здравствуйте, товарищи! Знаете, я сегодня

весь день под впечатлением статьи нашего молодого автора. Хорошо! Совсем ладно!

Незадолго до его смерти я встретил Ивана Ивановича в Кисловодске. Он первым делом строго пожурил меня за слабый загар, а потом заговорил о газете.

И тут же радостно и восторженно стал расхваливать статьи — одного, очерки — другого, корреспонденции — третьего.

— Замечательно... Слушайте... Кто это автор статьи о восхождении на Казбек? Литератор? Вы его знаете? Прекрасная статья. Надо будет привлечь его к газете. Вы мне обязательно напомните о нем, когда я вернусь из отпуска...

Когда он браковал статью или фельетон кого-либо из работников редакции, он обычно вызывал автора к себе и встречал его виноватой улыбкой:

— Не вытанцевалось у вас... Не вытанцевалось... Вст, знаете ли, третьего дня у вас был замечательный фельетон. Слушайте, напишите-ка о...

И тут же предлагал тему.

Когда ему надо было вычеркнуть абзац-другой из статьи, он вызывал автора, надевал медленно очки и пускался в подробные разъяснения. Иногда по тому или иному вопросу он прочитывал тут же маленькую лекцию, чтоб убедить автора, что исправления действительно необходимы. Тут не просто гулял по рукописи строгий редакторский карандаш, но и выпрямлялась неправильная линия, исправлялись ошибки, проводилось известное политическое воспитание молодого работника.

Он умел бережно относиться к людям. Однажды он случайно узнал, что какой-то помпадур обошелся грубо с нашим репортером. Как волновался Старик! Он метал гром и молнии. Он тут же сел за стол и написал кому-то пространное письмо по этому поводу. И попросил обо всех подобных случаях непременно сообщать ему.

Во время больших газетных кампаний, когда часть редакционного аппарата засиживалась в редакции до утренней зари, Иван Иванович волновался:

-- Измотались... Действительно... На Н. лица совсем нет.

Встретив потом в коридоре этого самого Н., Иван Иванович вдруг, как бы вспомнив что-то, обрадованный, говорил ему:

— Послушайте, через два дня воскресенье. Отдохните...

Как-то входит к Ивану Ивановичу в кабинет посетитель. Садится в одно из кресел.

Вдруг раздается взволнованный возглас Ивана Ивановича:

— Что вы делаете, товарищ?

Посетитель недоумевает. Как будто ничего предостительного он не сделал.

— Не садитесь в это кресло... Там дует...

Детали, мелочи. Но они так характерны для И. И. Скворцова-Степанова. Без них его нельзя представить.

Иван Иванович умел близко, по-родному, по-товарищески подходить к людям. В паузах между разговорами о серьезных делах он вдруг неожиданно вставлял шутку, веселое словечко, вспоминал какой-нибудь забавный эпизод, просил рассказать анекдот и сам весело и громко смеялся. Он мог создавать атмосферу интимности, близости среди сотрудников редакции.

Бывало, смотришь на него в такие минуты и диву даешься. Как он молод!

А ведь этот добрый, шуточный человек еще не так давно участвовал в боях.

Вспоминаю описанное в свое время Аросевым заседание Московского военно-революционного комитета. Обсуждался вопрос о выходе на улицу с оружием в руках. Спорили. И вот встает Иван Иванович:

— Да что тут долго обсуждать, сейчас возможно только одно решение: всякий, кто боится смерти, да покинет сей дом!

Телефонный звонок

В ту пору редакция «Известий» была очень тихой редакцией — не слышно было, чтоб кто-нибудь кричал, распекал, угрожал. А дисциплина была железная. Каждый сотрудник работал с горячей душой. Потому что все мы любили редактора. Потому что все мы любили свою газету.

Не выполнить указания Ивана Ивановича? Подвести Ивана Ивановича? Подвести газету?

Да разве это мыслимо было в коллективе, где дисциплина имела своим основанием уважение и любовь к такому большевику, как Иван Иванович, к такому человеку, как Иван Иванович, к такому редактору, как Иван Иванович!

Иван Иванович жил и работал не в своем кабинете, а во всей редакции. Он жил среди нас. Он знал всех курьеров, секретарей отделов, репортеров, фельетонистов.

Он воспитывал нас. Он волновался за каждого из нас.

Как-то поздно вечером он узнал, что репортер Александр Алевич заболел и не вышел на работу.

Рано утром он позвонил в технический секретариат:

— Здравствуйте, Маруся. У меня к вам просьба. Видите ли, Алевич заболел. Пошлите к нему немедленно курьера с запиской — узнайте, какая температура, не нужен ли врач, медикаменты, как у него с днями? И сейчас же обо всем этом сообщите мне.

Не врачи и не медикаменты вылечили Алевича. А вот этот телефонный звонок Ивана Ивановича.

«Барин с тросточкой»

Он был высокий. Ходил большими шагами. Всегда в тужурке. Маленькая рыжеватая борода. Длинные усы.

Когда Иван Иванович гневался на кого-нибудь, он называл виновного не «товарищ», а «батенька».

При этом нервно крутил правый ус и сердито повторял одну и ту же фразу:

— Что ж это такое, батенька?

Вот и сейчас он размашисто шагает по кабинету, тербит свой ус и кого-то спрашивает:

— Что ж это такое, батенька?

Иван Иванович сильно не в духе. Но на сей раз «батенька» адресовано не кому-нибудь из нас, работников редакции, а к Троцкому.

Иван Иванович час назад приехал в редакцию с очень ответственного заседания. Там шла речь о подрывной работе троцкистов. Об их стремлении расколоть партию.

Обо всем этом нам взволнованно рассказывает Иван Иванович. Затем он зачитывает нам передовую, которую только что написал.

Узенькие листки бумаги. И большие длинные буквы, делающие строчки похожими на частокол.

Необычная передовая. Это скорее всего острый фельетон. Горячий памфлет, искрящийся иронией и сарказмом.

Нарисован портрет Троцкого, праздного человека, прохаживающегося с тросточкой в руке вокруг да около. А нет ли где щели? А нет ли чего-нибудь такого, что можно покритиковать, над чем поиздеваться?

И заголовок передовой необычный. Не «Всемерно повышать» или «Неустанно расширять».

Заголовок острый, резкий, бичующий, надолго запоминающийся:

«Барин с тросточкой».

Заботливый хозяин

Заведующий промышленным отделом редакции съездил в Донбасс и написал статью о шахтерах.

Прекрасная статья. Большая творческая удача товарища.

Иван Иванович был на седьмом небе. Он несколь-

ко дней ходил по отделам редакции и всех спрашивал:

— Читали статью? Нет, вы обязательно прочитайте еще раз. Чудесно сделано! Чудесно!

Не было у нас тогда премий. Не было Доски почета.

Лучшей премией, лучшим почетом была радость редактора, радость, распространяемая по всей редакции.

Бывало, напишешь плохой фельетон. Вызывает тебя Иван Иванович.

— Садитесь, пожалуйста. Вот в это кресло садитесь. Так вот о чем я хотел с вами потолковать. Во вторник у вас был удачный фельетон.

Нетрудно догадаться, что удачным вторником он хочет заглушевать неудачную пятницу.

— Да, да. Во вторник был хороший фельетон. А вот этот (он берет со стола рукопись) у вас не вытанцевался. Не вытанцевался. Но, знаете что...

Он открывает ящик своего письменного стола, вынимает какие-то бумаги.

— Вот, возьмите. Интересный материал для фельетона. Это у вас обязательно получится. Обязательно получится. Да, да... Во вторник у вас был хороший фельетон. А вот этот не удался. Бывает...

За чашкой чая

Поздно вечером сижу на квартире у Ивана Ивановича. Пьем чай. Разговариваем.

Нет, не в гости я пожаловал. Визит сугубо деловой. А чай с печеньем — это так себе, между прочим.

Дело в следующем: в те дни проходил XIV съезд партии. В качестве корреспондента «Известий» я присутствовал на съезде. А в тот вечер Иван Иванович заболел и не мог пойти в Кремль. Вот он меня и попросил зайти к нему сразу после заседания и проинформировать о том, что там произошло.

Я ему все подробно доложил, ответил на все инте-

ресующие его вопросы: кто выступал, как выступал, что будет на съезде завтра утром и так далее.

Он меня не отпустил сразу домой.

— Посидите, попьем чайку. А чтобы ваша жена не волновалась и не подумала что-нибудь плохое про вас, дайте я ей позвоню и скажу, что я властью редактора задержал вас у себя... Что? Не надо звонить? Ну, как хотите. Пеняйте потом на самого себя...

Иван Иванович хитро подмигивает и весело смеется.

— Вам чаю покрепче?

Пью чай и все время одним глазом поглядываю на батарею центрального отопления, на калорифер.

Пью и поглядываю. А там очень забавная штука.

В крохотное отверстие батареи вдет не то палочка, не то тонкая трубочка. К этой палочке (или трубочке) прикреплена спичечная коробка. И представьте себе, эта коробка крутится наподобие ветряной мельницы.

Коробочка крутится и не дает мне покоя. Пью чай и все время одним глазом поглядываю — что за штука?

Иван Иванович меж тем поглядывает на меня и старательно прячет улыбку в своих густых усах.

Вдруг он порывисто вскочил:

— Ага! Задело вас? Это я для детишек устроил. Они в восторге. Сейчас я вам объясню, что это за механика.

Он становится на колени у батареи, прямо на полу. И начинает мне объяснять «эту механику». И я ничего не понимаю. И он чувствует, что я не понимаю.

Он встает с пола и говорит вполне серьезно:

— Вот что. Выберу как-нибудь свободные полчаса. Приду к вам домой и сам сделаю это для ваших мальчиков.

Цитата из Некрасова

Иван Иванович зовет.

Вхожу в его кабинет. Иван Иванович теревит ус. Значит, чем-то недоволен.

Сразу выяснилось, что недоволен он мной.

— Что же это такое, батенька? А?

И он тычет карандашом в один абзац моей рукописи.

— Это, Иван Иванович, цитата из Некрасова.

— Нет, это не из Некрасова, а из Рыклина. Некрасов так не писал. У вас сказано: «Не нагнать тебе бешеной тройки: кони сыты и крепки и бойки». Видно, по памяти цитировали? Так я и думал. А у Некрасова сказано совсем иначе: «Не нагнать тебе бешеной тройки: кони крепки и сыты и бойки». Нельзя по памяти цитировать классиков. Давайте запомним: классики так хорошо писали, что они вовсе не нуждаются в нашем исправлении. А между прочим, стихотворение «Тройка» какое замечательное! Нельзя без волнения читать:

Что ты жадно глядишь на дорогу
В стороне от веселых подруг?
Знать, забило сердечко тревогу —
Все лицо твое вспыхнуло вдруг. . .

Он уже не мог остановиться. И прочел наизусть все стихотворение.

Потом сказал:

— Я давно знаю эти стихи. Но если бы мне пришлось цитировать, я бы не положился на свою память. А проверил бы по книжке.

Однажды вечером

Однажды поздно вечером позвонил мне домой Иван Иванович:

— Вы еще не спите? Вот какое дело. Сегодня идет ваш фельетон. Только что я опять прочитал гранки. Одно место советую исправить. Вы слишком мягко

написали. Надо резче. Я не люблю ругаться, но тут я бы сделал исключение. Вы пишете: «Так мог поступить человек, который ничего не понимает». Помоему, не годится. На этот раз можно смело сказать короче и яснее: «Так мог поступить только дурак». А? Вы не возражаете? Ничего не имеете против «дурака»? Это не нарушит ваш стиль? Нет, говорите? Ну, ладно, помните, что вы — автор, а не я... Итак, с вашего разрешения, так и напишем — «дурак». Так и напишем. Спокойной ночи. Приятных снов, без «дураков».

Пьяный белогвардеец

Я написал фельетон из жизни белой эмиграции в Париже. Между прочим, у меня там было сказано, что некий бывший граф или князь зашел пьяный в театр. Это было сказано между прочим — одна строка.

Иван Иванович вызывает меня к себе:

— Он был действительно пьян или это у вас говорится для красного словца? Лгать нельзя даже о врагах. Будем их бить правдой. И я прошу вас тщательно проверить этот факт...

Тридцать нянь

Как-то рано утром Иван Иванович пришел в редакцию и, проходя по одному из длинных коридоров, увидал у дверей какого-то кабинета большую очередь женщин разных возрастов. Их было человек тридцать.

Первым делом Иван Иванович заволновался:

— Почему они стоят? Разве можно так обращаться в редакции с посетителями? Нет, батенька, так нельзя.

Немедленно были мобилизованы все курьеры и секретари отделов. Со всего этажа притащили стулья. Посетительниц усадили.

А Иван Иванович в это время поднялся на следующую

щий этаж, вошел к себе в кабинет — ему надо было посмотреть какие-то бумаги. Но вдруг он подумал:

«Что случилось? Почему столько женщин пришло в редакцию? И к кому они пришли?»

Наш подвижной, всегда живой, всегда любознательный редактор быстро сошел вниз и — прямо к очереди:

— Здравствуйте, товарищи, здравствуйте. Не вставайте, сидите, сидите. Скажите, пожалуйста, кто вы такие?

— Мы — няни! — ответил хор из тридцати женских голосов.

— Все? Няни?

— Да.

— А что с вами случилось?

— Наниматься пришли.

— В редакцию?

— А куда же еще? Вот — по объявлению.

Они показывают номер вечерней газеты, в котором напечатано объявление:

«Срочно требуется няня. Явиться 17 числа утром от 11 до 1 часу дня в редакцию «Известий», комната номер...».

Выяснилось следующее: судебному репортеру «Известий» Николаеву потребовалась няня для своего ребенка. Ничего лучшего он не придумал, как устроить смотр нянь в редакции, для чего предусмотрительно выбрал час, когда еще нет начальства. Но ему не повезло — надо же было так случиться, что в это неурочное время проходил по коридору сам редактор.

В тот же день предприимчивый репортер вылетел из редакции.

А меж тем Иван Иванович относился к Николаеву весьма благожелательно. Но Иван Иванович никогда никому не прощал аморальных поступков. Тут он был грозен и беспощаден. И никакие заслуги, никакие литературные достоинства нарушителя этики не могли смягчить сурового приговора.

О молодых зубах и о беззубом юмористе

Литературное наследство Ивана Ивановича Скворцова-Степанова — огромно. По многим газетам, журналам, сборникам разбросаны его статьи и фельетоны.

Характерная черта его как литератора — большевистская страстность, партийная принципиальность, высокий художественный уровень и вместе с тем простота изложения.

Недавно в одном из рассказов американского писателя Синклера Льюиса я прочел следующее о некоем докторе Селиге, авторе весьма замысловатой и неудобочитаемой книги:

«Если бы доктор Селиг не руководствовался убеждением: чем труднее читается произведение, тем оно лучше, — книга на самом деле могла бы быть интересной».

Стиль такого «доктора» — это не стиль советского литератора, советского журналиста. Вся богатая литературная биография Скворцова-Степанова заострена против ложной красоты, против напыщенности, против манерничанья и против ударов тяжелой лже-теоретической оглоблей по голове читателя.

В октябре 1922 года в «Правде» напечатана статья И. Степанова «Молодые зубы, гранит и наука». Речь идет о пересмотре образовательных программ. О том, чтоб наполнить эти программы живой жизнью. О том, чтоб молодые люди не бездумно грызли гранит науки, а учились бы сознательно, с душой.

В одной из папок Института марксизма-ленинизма лежит статья Скворцова о писателе Пантелеймоне Романове. На узеньких листочках с бланком «Известий» написана рукой Ивана Ивановича большая рецензия на творчество Пантелеймона Романова.

Обе статьи очень интересны. И по содержанию, и по форме.

Содержание совершенно разное. Что же роднит обе статьи? Почему мы здесь объединили их?

Обе статьи иллюстрируют слова А. М. Горького:

«Таким прямодушным, честнейшим юношей он (Скворцов-Степанов) остался для меня на всю его прекрасную и трудную жизнь борца, непоколебимого большевика».

Обе статьи, разные по теме, показывают, что их автор с юношеской страстностью всегда призывал агитаторов, пропагандистов, литераторов: ближе к жизни! Ближе к народу!

В статье «Молодые зубы, гранит и наука» он весьма убедительно говорит: важно не только что изучается, но и как изучается. Взять, к примеру, естествознание.

«Я прошел через школу, где «естествознанию» отводится некоторое место. Но это было естествознание в кавычках».

Учащийся этой школы мог сказать, сколько резцов и коренных зубов отпущено от природы такому-то млекопитающему, сколько членников в лапке у такого-то насекомого, сколько чашелистиков, лепестков, тычинок в цветке...

«Такое естествознание превращало в тупицу и идиота не менее успешно, чем закон божий и история с ее бесконечными родословными и хронологическими таблицами».

Большое недовольство вызывает и преподавание марксистской экономии. В другом виде повторяется та же история, что с лепестками и тычинками. Нет живой жизни. Есть только предмет для зубрежки.

Марксистская экономия — это революционное учение о том, как революционно изменить мир. Но для того, чтоб изменить, прежде всего надо его знать.

«Не будет никакого знания мира, если наши кружки и школы сумеют использовать марксизм только для того, чтобы готовить из молодых людей старокитайских мандаринов».

Полагаем, что эти претензии всецело относятся и к журналистам, к тем маловзыскательным авторам пропагандистских статей, которые с ученым видом знатоков могут повторять азбучные истины о лепест-

ках и тычинках, не зная, чем пахнет и вообще пахнет ли тот или иной цветок.

Чувство юмора никогда не покидает Ивана Ивансвича. Вот он свои серьезные размышления и рассуждения прерывает комической сценкой. Это прием зрелого публициста, который понимает, что нельзя кормить читателя одним лишь пресным блюдом.

Некий молодой человек на экзамене по марксистской теоретической экономике блестяще ответил на все сложные вопросы. Блестяще выучил все по учебнику. Но вдруг экзаменатор его спрашивает:

— Какой климат в южном полушарии?

— Теплый, — отвечает молодой человек.

— Как будет изменяться температура, если мы будем передвигаться с севера на юг?

— Будет все теплее.

— А какой климат на южном полюсе?

— Жаркий. . .

Марксистский кружок в Донбассе. Марксистский кружок на Урале. Порою и там и там изучают марксизм «вообще», в «общем и целом», с полным отрывом от местных условий.

«Научите, — говорит Скворцов-Степанов, — молодых марксистов изучить, что у них творится под носом».

Изучить историю Донбасса, историю Урала. Экономисту Донбасса и Урала. Развитие новой металлургии.

Та же скучная канитель с чашелистиками, лепестками и тычинками нередко повторяется и в литературе.

Это бывает тогда, когда литератор далек от живой действительности, скользит по поверхности, когда у него нет чувства долга перед народом, перед родиной.

Там «естествознание» в кавычках. Здесь «человекознание» в кавычках.

Там молодых людей превращают в старокитайских мандаринов. Здесь молодые дарования с необычайной легкостью вскакивают на пьедестал, возомнив себя мандаринами, гениями, бсгами.

Пример отставания от жизни и скольжения по поверхности — Пантелеймон Романов.

Почему именно на нем сосредоточил Скворцов-Степанов огонь своей критики?

В ту пору вышел в свет его большой роман «Русь». В ту пору были популярны его юмористические рассказы.

А популярность была дутая, дешевая, несерьезная. Скворцов-Степанов подробно разбирает роман и доказывает не только его крупные идеологические изъяны, но и ничтожную художественную ценность этого не в меру разбухшего произведения, в котором соседствуют многословие и небрежность стиля и композиции.

Что же касается его юмористических рассказов, то они сочиняются главным образом на потребу обывателя.

«Это умелый, занимательный, интересный рассказик с неизменно пробивающейся юмористической жилкой, с легкой усмешкой над условиями советской жизни, над «новым бытом»...»

Каким оружием действует Пантелеймон Романов? Юмором или сатирой? На этот вопрос отвечает автор рецензии таким образом:

«Он не сатирик: для этого ему недостает внутреннего опора».

Недостает, значит, внутренней силы. Недостает беры, опорного мировоззрения. Вспомним по этому поводу слова Салтыкова-Щедрина о том, что «неясность мировоззрения есть недостаток настолько важный, что всю творческую деятельность художника сводит к нулю»...

Неужели писателя можно критиковать за то, что он не сатирик, а только юморист? Конечно нет.

Дело в том, что и Пантелеймон Романов — юморист без запала, без огня, без идеи, без ясного мировоззрения.

«Он не сатирик, а легкий юморист, который скользит по поверхности, которого ничего не задает очень больно и который в свою очередь ничего

не задевает очень больно. Много не нравится Романову, но то, что ему не нравится, дает ему сюжеты для занимательных безделушек».

Наша молодежь, за редким исключением, не знает этого писателя. Его слабо помнят и более пожилые люди. Казалось бы, что сейчас совсем неактуален разговор о Пантелеймоне Романове.

Но дело в том, что мысли, высказанные Скворцовым-Степановым в этой статье, актуальны, злободневны и вполне применимы к некоторым современным литераторам, журналистам, которых ничто не задевает очень больно и которые в свою очередь ничего не задевают очень больно. В лучшем случае их деятельность — занимательные безделушки. За пестиками и тычинками они ничего не видят.

Таким «инженерам человеческих душ» не мешает сегодня вспомнить, что еще в тридцатые годы о них с насмешкой говорил Скворцов-Степанов. Он писал о том, что пишут они очень и очень легко:

«Легко в том смысле, что изображаемое не вызывает в нем глубоких волнений, и в том смысле, что его перо с такой же легкостью и быстротой скользит по бумаге, с какой его взор скользит по действительности».

В каждой строке своих сочинений Иван Иванович Скворцов-Степанов завещал нам:

— Жить и работать с глубоким волнением! Жить и работать с ясным мирозерцанием!

У вас темы нет, что ли?

— Это, батенька, никуда не годится. . .

Такими недовольными словами встретил фельетониста рано утром в редакции рассерженный редактор.

— Да, батенька, никуда не годится. . .

Фельетонист обязан был писать через день. Вчера он почему-то пропустил.

— Почему?

Иван Иванович хмурит брови.

Сейчас еще попадают такие редакторы, которые искренне полагают, что ежели Икс сегодня напечатан, то следующее его сочинение может появиться в газете дней через десять. Надо «повременить». Этот дикий предрассудок выдуман плохими газетчиками.

Иван Иванович, разумеется, не делал для журналистов таких ограничений. Сегодня Икс напечатан, но если он завтра принесет интересную вещь, она будет немедленно сдана в набор и завтра появится в газете.

В ту пору в редакции «Известий» было два штатных фельетониста. Они обязаны были не только ходить на летучки, но и писать. И писать через день.

— Почему же, батенька, вы пропустили? По вашей милости газета сегодня вышла без фельетона. Никуда не годится... У вас темы нет, что ли? Обратились бы ко мне. Я бы что-нибудь нашел для вас...

У него всегда было много тем — для фельетонистов, очеркистов, авторов статей. В правом ящике его письменного стола — письма, заявления, протоколы, судебные решения. А кроме того, в его больших блокнотах всегда интересные записи.

Он начал перелистывать блокнот.

— Вот... Пойдете в пятницу часов в двенадцать дня к Николаю Васильевичу Крыленко. Я с ним договорился. У него есть весьма любопытная тема для фельетона. Об учете зайцев и об охоте... А пока...

Он открывает ящик письменного стола.

— Могу порекомендовать вам тему о старом диспетчере. Блокнот с вами? И карандаш есть? И охота есть работать? Чудесно. Записывайте.

По-моему, этот материал можно разбить на три небольшие части.

История старого диспетчера

1905 год. На Пресне воздвигаются баррикады.

«Всем, всем, всем...» Так начинается телеграмма о железнодорожной забастовке. Но как ее передать по

всем железнодорожным станциям и полустанкам российских путей сообщения? Телеграф заперт наглухо.

И. П. Жестерев, диспетчер Московско-Курской, взламывает двери телеграфа, становится у аппарата, и по всем телеграфным проволокам — крепкие, звенящие слова: «Всем, всем, всем...»

Оттуда диспетчер Жестерев спешит на Мясницкую, на центральный телеграф, призвать работников связи к великой стачке.

С верхней ступеньки высокой лестницы ударом полицейского подкованного сапога Жестерев сбрасывается вниз, на крыльцо, с крыльца — на улицу, на мостовую. Казачья нагайка со свистом рассекает диспетчеру шею, грудь...

Старый диспетчер Московско-Курской дороги в кабинете наркома путей сообщения Ф. Э. Дзержинского.

Нарком жмет руку старику.

Тут же, в кабинете наркома, ему был прочитан приказ:

«Принимая во внимание 30-летнюю железнодорожную службу на транспорте диспетчера И. П. Жестерева и его заслуги перед трудящимися в 1905 году, выразившиеся в передаче депеши стачечного комитета о всеобщей забастовке, а также в задержке карательной экспедиции генерала Мина, благодаря чему тов. Жестерев рисковал потерять не только службу, но и жизнь, разрешаю Жестереву за долголетнюю службу, как герою труда, назначить персональный оклад.

Наркомпуть Ф. Дзержинский».

Это было в феврале 1928 года.

Резолюция:

«Тов. Жестерев, работая в вагонной части, зарекомендовал себя весьма усидчивым и исполнительным».

«...По своей квалификации и выполненным работам в течение всего времени прикомандированный к отделу тяги тов. Жестерев должен рассматриваться как техник, и именно в этой квалификации нуждается отдел».

Так характеризует тов. Жестерева его ближайшее начальство.

Но это же ближайшее начальство вслед за этим, вот недавно наложило и такую резолюцию:

«Уволить за сокращением штатов».

— Тема? По-моему, хорошая тема. Берете, товарищ фельетонист? Но я бы вам все-таки посоветовал повидать Жестерева, поговорить с ним. Личные впечатления много значат.

Юбилей с пивом

Через несколько дней редактор встретил фельетониста в коридоре редакции.

— Ищете тему? — спросил он, пряча в усы лукавую улыбку. — Зайдите ко мне.

Курьезный эпизод с курьезным избачом. Это не нарком и даже не начальник треста. Но сегодня избач в деревне — заметная фигура. Культуртрегер.

И если в избачи затесался головоотяп, то надо его разоблачить.

Дело было недавно — 12 декабря (1926 год. — Г. Р.). В селе Мордовском под Чистополем был большой праздник. Юбилей избача Чекушкина. Эта историческая дата ознаменована великой пьянкой. О чем появилось письмо селькора в чистопольской газете.

Избач прислал опровержение. Вы, товарищ фельетонист, привыкли к самым затейливым сочинениям такого рода. Но надеюсь, что такой ерунды вы еще не читали.

Вот послушайте.

«В этот вечер никакого празднования не было, и никто в избе-читальне не перековырнулся. Было только торжественное заседание избы-читальни в честь юбилея моего (день рсждения). Пошел мне 31 год.

Я этот день почел провести со своими любезными товарищами в беседе и всю душу излил от рождения и до будущего мира. И в этот же день провел двухнедельник культурно-просветительной линии. И больше ничего не было. И все тут истина. И передайте прокурору!

Борец за престол отечества революции избач
Чекушкин».

Все это очень убедительно. Искренне и убедительно. Но, как известно, «не в шумной беседе друзья познаются, они познаются бедой»... Друзья Чекушкина решили сдобрить его опровержение своей резолюцией, которая также была направлена в Чистополь; в «Прикамскую деревню»:

«Резолюция торжественного заседания в честь юбилея нашего дорогого избача Чекушкина, Григория, 31 г. Советская власть — наша единая власть. Приветствуем и все силы будем класть применять в жизнь. А что касательно пивы, его действительно пили. Потому в этот торжественный день нам не хотелось пить ведро холодной воды, принесенной из колодца, каковой мы каждый день выпиваем выше нормы и брюхо дюже пучит.

К тому мы все подписываемся. А пива действительно выпили. И кто не с нами, тот против нас».

Следует пять подписей.

Нортрон

Как-то в разговоре со мной Иван Иванович поднял вопрос о положительном фельетоне.

— Вы обязаны откликаться на все случаи богатой советской действительности. Изю дня в день нам, журналистам, приходится отбывать печальную, но необходимую повинность по выискиванию в щелях наших родных зданий притаившихся и окопавшихся паразитов бюрократизма, разгильдяйства, самоуправства, растрат. Но в то же время мы не имеем права проходить мимо трудового героизма советских людей, мимо достижений, мимо светлых сторон нашей жизни. Это относится не только к авторам статей,

корреспонденций, очерков. И фельетонист должен писать о светлом, о радостном. Разрешите, товарищ фельетонист, предложить вам тему для такого фельетона.

Есть даже готовый заголовок — Нортроп.

Это не сокращенное название многозвучного и не менее полезного советского учреждения, как, например, Главхозупр или Цупвюз.

Это не бойкий заголовок в целях уловления доверчивых читательских душ.

Но этот заголовок — Нортроп — верный заголовок, честный, как надпись на советском червонце: «Имеет хождение наравне со звонкой монетой».

И действительно, Всероссийский текстильный синдикат, Краснопресненский трест и другие платят теперь за Нортроп самой звонкой монетой.

Недавно рабочие Шуи, металлисты, во Дворце труда при большом стечении гостей от фабрик и заводов торжественно отпраздновали его появление на шумный металлический свет, отпраздновали рождение своего, советского Нортропа.

Новорожденный тут же, на сцене, гордый, сияющий, с красной лентой на груди — в честь своих октябрин.

Кто же он такой, Нортроп?

Автоматический станок. Станок, заменяющий работу 15 обыкновенных станков.

На автоматическом станке и товар получается более высокого качества, и браку меньше, и людей для его обслуживания надо немного. В обыкновенном станке сам ткач в маленькую дырочку челнока вдвигает нитку, — в Нортропе же она вдевается сама, автоматически. В обыкновенном станке каждую порванную нитку основы приходится разыскивать, — в Нортропе не ищи беды, она сама себя покажет: как только порвалась в основе нитка, станок встает.

Раньше, при бывших владельцах шуйского завода, Нортроп выписывали из-за границы. Теперь эти владельцы за границей, а рабочие сами создали свой Нортроп.

Я написал фельетон о Нортропе.

Конечно, сейчас это слово не звучит, как тогда, в 1926 году.

Сейчас Нортроп — позавчерашний день советской техники.

Но тогда фельетон на эту тему был актуален.

И я очень благодарен Ивану Ивановичу, который неизменно нацеливал меня (как и других сотрудников газеты) на положительные темы.

Зайцы любят учет

Выше я рассказывал о том, как Иван Иванович посылал фельетониста (в данном случае речь идет обо мне) к Н. К. Крыленко.

Николай Васильевич, весело смеясь, дал мне материал о зайцах.

Я написал. И вскоре, на XV съезде партии, тов. Крыленко в своей речи коснулся этого вопроса.

Привожу отрывок из стенограммы:

«Что касается Наркомзема, то вопрос шел вот о чем. Наркомзем издал циркуляр о том, чтобы принять меры к учету и сообщить по определенным формам все, что известно о зайцах, которые съедают насаждение и вредят огородам (смех).

Причем было предложено указать, какой именно породы данные зайцы (смех).

Вот некоторые «вопросы» из этого циркуляра: требуется сообщить «точные и проверенные сведения»:

«1) на каких угодьях (в лесах, в степи, на залежах, на лугах, на культурных землях и т. д.) встречается тот или иной вид зайца, 2) дать исчерпывающий цифровой материал для качественной и количественной характеристики вредной деятельности зайца (если таковая имеет место) в отношении всех встречающихся у нас видов, 3) какую роль играют зайцы в бюджете местного хозяйства, 4) дать цифровой материал о количестве добываемых охотниками зайцев».

По этому поводу тов. Рыклин в «Известиях» рисовал такую картину:

«Предположим, стоит заяц и ждет статистика, но как только появится статистик, подлый заяц непременно прыгает в кусты. Статистик — за ним» и т. д. И кончает:

«Как угнаться за зайцем и некоторыми циркулярами?»

Этим, товарищи, анекдотического характера сообщением о бюрократизме я и заканчиваю (аплодисменты)».

Должен говорить, что концовка моего фельетона, которую цитирует тов. Крыленко («Предположим, стоит заяц» и т. д.) принадлежит перу Ивана Ивановича. Это он вписал эти строки в мой фельетон.

Грачи прилетели. . .

Он знал, выражаясь словами поэта, «и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду».

Однажды ранней весной, вечером, запыхавшись, он влетает в отдел информации:

— Товарищи, вы не знаете, грачи уже прилетели? Вижу по вашим лицам, — продолжал Иван Иванович, — что вы не в курсе дела. А вопрос серьезный. И мы можем его прозевать. Стыдно будет. Узнайте, пожалуйста, и дайте сегодня же в номер.

И, уходя из комнаты, добавил:

— А заметку о грачах, прежде чем сдать в набор, покажите мне. А то еще напутаете. И тут нужна точность. . . Эх вы, газетчики! Ничего не знаете о таком важном событии — прилетели уже грачи или еще не прилетели? А большой художник Саврасов нарисовал на эту тему картину «Грачи прилетели. . .».

Вместе печатали

Он критиковал нас, газетчиков. Мог даже крепко побранить.

Но если вы правы, Иван Иванович стоял за вас горой.

Я написал фельетон, в котором под огонь сатиры попал секретарь Краснопресненского райкома партии.

А к нему очень хорошо относился секретарь МК.

И вот они решили судить меня. Кто-то даже обещал сделать из меня «котлету».

Вопрос должен был обсуждаться на объединенном заседании МК и МКК.

Хожу вечером по коридору редакции и думаю: «Что день грядущий мне готовит?» Кажется, ничего веселого не готовит.

Вдруг навстречу мне Иван Иванович:

— Что нового, товарищ фельетонист?

Говорю ему в шутку, что вот завтра из товарища фельетониста собираются делать «котлету».

Он ничего не сказал, повернулся и ушел.

Заседание было назначено на одиннадцать часов утра. Я пришел в МК минут за тридцать. Вхожу в приемную и вижу — шагает по ней из угла в угол Иван Иванович.

Поздоровался с ним и спрашиваю:

— А вы чего сюда пришли, Иван Иванович? Можно узнать?

Он уставился на меня:

— Как это «чего»? Вас тут будут корежить, а я буду сидеть дома да чай распивать? Так не выйдет. Вместе печатали — вместе и отвечать будем. . .

Он произнес на заседании громовую речь. И в результате мы «выиграли процесс». Фельетонист был оправдан. «Котлеты» из него не получилось.

Много редакторов у меня было после этого. Но не всякий из них умел четко и ясно произнести эту простую и благородную фразу: «Вместе печатали — вместе и отвечать будем. . .»

Неудачу бить удачей

Это было на XV съезде партии.

Мне довелось почти ежедневно давать в газету литературные зарисовки со съезда. Впечатления, встречи, реплики, смех в зале, беседы в кулуарах,

зарубежные отклики — все это включалось в зарисовки.

Одна из этих зарисовок не удалась. Дело не в форме, а в содержании — оно было неправильно.

А в тот день, когда зарисовка была напечатана, выступал на съезде товарищ Серго Орджоникидзе. Он, между прочим, коснулся этой заметки и раскритиковал ее.

Я сидел тут же в зале и, по свидетельству очевидцев, густо краснел.

Перерыв. Не помню, кто-то из газетчиков сказал мне:

— Тебя ищет Иван Иванович.

Ясное дело — будет крепкий нагоняй. Что же еще может быть при такой ситуации?

Нахожу Ивана Ивановича.

— Ага, — говорит редактор совершенно спокойно. — Вы мне нужны. Немедленно поезжайте в редакцию. И садитесь писать новую зарисовку со съезда. В завтрашний номер. Постарайтесь, чтоб было хорошо. Понятно?

Все понял. И уже собирался уходить. Но Иван Иванович задержал:

— Надо неудачу побить удачей. Завтра вы должны обязательно появиться в газете. А то еще — чем черт не шутит — могут найтись люди, которые подумают, что в нашей редакции перестраховщики.

«От всей души рекомендую...»

Одной из самых больших работ И. И. Скворцова-Степанова была его книга «Электрификация РСФСР в связи с переходной фазой мирового хозяйства».

Она была издана в 1922 году и получила положительную оценку В. И. Ленина.

В своем предисловии к этой книге В. И. Ленин писал:

«От всей души рекомендую настоящую работу тов. Степанова вниманию всех коммунистов. Автору

удалось дать замечательно удачное изложение труднейших и важнейших вопросов».

Скворцов-Степанов — автор многих замечательных работ по экономическим, историческим, естественнонаучным, антирелигиозным вопросам. Он перевел с немецкого на русский язык три тома «Капитала» Карла Маркса.

У него много ценных трудов по истории международного рабочего движения, по истории Парижской коммуны.

«Когда меня опять арестовали...»

Рассказы Ивана Ивановича могли бы начинаться так:

«Когда я служил учителем в Москве, в Арбатском городском училище...»

«Когда я сидел в тюрьме...»

«Когда меня выслали в Тулу под надзор полиции...»

«Когда мы летом собирались в лесах и перелесках и я читал тульским рабочим лекции по марксизму...»

«Когда мне запретили жить в Москве и я поселился в Калуге...»

«Когда я был снова арестован по делу харьковской социал-демократической группы...»

«Когда я окончательно (1903 год) стал на сторону большевиков...»

«Когда в качестве делегата от Москвы (1906 год) я был на Стокгольмском съезде партии...»

«Когда меня опять арестовали и выслали под надзор полиции в Астраханскую губернию...»

«Когда я...» «Когда меня...» Можно этот перечень продлить и продлить.

Конечно, какой-нибудь придирчивый критик сможет возразить, что у Скворцова-Степанова были и свои минусы, что, отмечая его достоинства, не следует замазывать его ошибки.

Были ли у него ошибки до и после Октября?

На этот вопрос прекрасно ответил Глеб Максимилианович Кржижановский:

«Мы знаем, что у него были ошибки. Но он имел прочные корни в основах нашего ленинского миропонимания. Он рос, креп в партии».

По свидетельству старого большевика М. А. Савельева, Владимир Ильич Ленин проявил много терпения и не пожалел труда, чтобы вывести Скворцова из-под влияния антимарксистских течений. Его деятельная переписка с Иваном Ивановичем, его обращения к нему через товарищей сделали свое благотворное дело.

Владимир Ильич высоко ценил не только огромные знания и эрудицию, но и неиссякаемую энергию Скворцова-Степанова.

После Октября он был редактором советских газет, товарищем председателя Всероссийского Союза рабочей кооперации, членом правления Центросоюза, членом редакционной коллегии, а затем заместителем председателя Госиздата, членом редколлегии «Правды», директором Института Ленина, редактором «Известий».

Иван Иванович был неутомимым работником. Днем, например, он работал в Госиздате (или Центросоюзе), а вечера отдавал литературной работе. Именно в то время им были написаны книга об электрификации и обширная история Парижской коммуны.

Он редактировал и писал. Много редактировал и много писал.

С увлечением выступал на страницах газет. Он страстно любил журналистскую работу.

— Быть советским журналистом, — говорил он, — это благородная и почетная должность.

Умер Иван Иванович 8 октября 1928 года, на 58-м году своей жизни, в Сочи, от брюшного тифа.

Встреча с Горьким

История одного фельетона

В 1928 году в «Известиях» был напечатан мой фельетон «В чекистских лапах».

История этого фельетона связана с поездкой Алексея Максимовича Горького в Болшево, в трудовую коммуну бывших правонарушителей.

Через несколько дней после приезда А. М. Горького из Сорренто редактор «Известий» Иван Иванович Скворцов-Степанов сказал мне:

— Видите ли, какое дело. Как председатель комитета по встрече Горького, я не имею права говорить вам об этом. Но как редактор «Известий», не могу умолчать. Завтра утром Алексей Максимович едет в Болшево, в трудкоммуну ОГПУ. Хотелось бы, чтоб вы поехали с ним. Как это сделать — не знаю. Устраивайтесь сами. И вообще я тут ни при чем. Вам все ясно?

На другой день утром я был на квартире у Алексея Максимовича. В передней меня встретил его секретарь — и встретил, надо отдать ему справедливость, весьма грубо. А узнав о цели моего прихода, начал шуметь и кричать.

Я настойчиво просил его доложить Алексею Максимовичу. Он и слушать не хотел. Я стоял на своем:

— Доложите. Пусть решит сам Алексей Максимович, возьмет он меня с собой в Болшево или нет.

Вдруг широко распахнулась двустворчатая дверь из соседней комнаты. На пороге ее стоял Горький. Я впервые в жизни увидел его — не фото, не картину, а живого Максима Горького!

И этот живой Максим Горький оглядел меня с ног до головы и сурово (так мне показалось) спросил:

— Что вы здесь шумите, молодой человек?

Признаться, я малость робел. Кто я такой? Начинающий литератор. А предо мной гигант. Человек,

который написал «На дне», «Мать», автор «Песни о Соколе» и «Буревестника». И вот из его уст я слышу вопрос, черной молнии подобный:

— Что вы здесь шумите, молодой человек?

Но постепенно я пришел в себя. «Безумство храбрых — вот мудрость жизни». И я более или менее храбро объяснил Алексею Максимовичу, что это не я шумел, а его секретарь, и что я, сотрудник газеты, пришел к нему, к Алексею Максимовичу, затем, чтоб сопроводить его в Болшево, если он позволит.

— Очень хорошо, — сказал Алексей Максимович. — А вы уже пили чай, молодой человек? Идите завтракать...

Ранним утром мы выехали за город на машине ГПУ. Нас было четверо: Алексей Максимович Горький, его жена Екатерина Павловна Пешкова, чекист Матвей и автор этих строк.

Алексей Максимович курил и слушал то, что нам рассказывал хозяин машины чекист Матвей, молодой еще человек. Горький то и дело перебивал своего собеседника:

— Слушайте, да ведь об этом писать надо! Писать и писать. Ведь даже москвичи не знают о том, что у них под боком делается.

— Скажите, товарищ Матвей, когда это началось? — спросила Екатерина Павловна.

Матвей, стряхнув пепел с папиросы, продолжал свой рассказ. Вернее, рассказав середину истории, он теперь вернулся к ее началу:

— Это было в двадцать четвертом году. У Феликса Эдмундовича Дзержинского возникла мысль о том, что юных правонарушителей не следует держать в местах заключения. Надо дать им возможность забыть свое невеселое прошлое, надо направить молодые силы и энергию по новому, здоровому руслу. Вот тогда и появилась идея устроить для таких споткнувшихся ребят трудовую коммуну.

...Получив задание подобрать людей для первой трудкоммуну, я и еще несколько товарищей отпра-

вились на Курский вокзал. Мы знали: где-то там, в железных трубах под землей, квартируют воры. Полезли в трубы, шарили-шарили и действительно нашли эту публику. Начали толковать. Сначала встретили они нас, что называется, в штыки. Ругались: «Знаем мы эти штучки-дрючки! Дурных нема», «На черта нам сдались ваши коммуны!» А мы спокойно продолжали объяснять: силой никого не берем. Хочешь — иди, не хочешь — не надо. Бояться нечего, в коммуне нет никакой охраны. Не понравится там — иди на все четыре стороны. А понравится — можешь поступить в мастерские, начнешь деньги честно зарабатывать и снова человеком станешь. Подумай, что лучше.

Пятеро согласились. Вслед за этим мы таким же манером наберем в тюрьмах человек десять. Вот эти «кадры» и составили ядро первой трудовой коммуны ОГПУ, в которую мы теперь и едем.

— А сейчас сколько там человек? — спросил Горький.

— Двести.

— А какие существуют порядки?

— Полная свобода. Самоуправление. Никакого давления со стороны. Все вопросы решаются общим собранием. Мы не вмешиваемся. Сами коммунары создают для себя правила, и сами следят за их выполнением. Они, например, не имеют права не только в самой коммуне, но и за ее стенами пить спиртное. Нарушения? Бывают, но очень редко. Ведь провинившегося вытаскивают на общее собрание, чистят его там на все корки по-свойски и вдобавок налагают солидный штраф. На такие «удовольствия» охотников маловато.

— А сколько они зарабатывают?

— В месяц? Сто-полтораста, а то и больше. Это зависит от квалификации. У нас там три фабрики: трикотажная, спортивной обуви и коньковая. Есть деревообделочный завод. На этих предприятиях коммунары получают высокую квалификацию.

— И не убегают они из колонии? — интересуется Екатерина Павловна.

— Первое время были случаи. Теперь — ни одного. Поняли ребята, что бегать-то невыгодно. Кстати, беглецов мы не разыскиваем. Убежал — и пусть себе. Так было, например, с бывшим вором Васькой. Пробыл он в коммуне несколько дней и сбежал. Случайно встретил я его на Сухаревке. Он, завидя меня, сжался весь, хотел было удрать. А я, как ни в чем не бывало, подошел к нему: «Здравствуй, Василий!». Смугился: «Я вот, Матвей Самойлович, убег». Говорит, а сам красный, как бурак. «Убег так убег, — говорю. — А мне какое дело?» Через три недели Васька вернулся, и теперь он один из самых лучших, умелых рабочих. Прекрасный, скажу вам, парень. Умница.

— Чудеса! Чудеса! — не может сдержаться Алексей Максимович, и лицо его озаряется радостной улыбкой. — Прямо сказка...

— И эти чудеса делает доверие, — продолжает Матвей. — Народ этот чуткий и чувствительный. Доверься им — ни за что не обманут... Есть у коммунаров кооперативная лавка, где продавцами и кассирами работают бывшие воры и грабители. А подите же, за все время существования кооператива не было ни одной кражи, ни одной растраты. Да вот вам факт, совсем свеженький. Взял я из тюрьмы пятерых ребят, чтобы доставить в коммуну. Одел их в красноармейские шинели, привез на вокзал. Сам куда-то отлучился на минутку, а они сидят там в ожидании поезда. И рядом на скамейке какая-то женщина с чемоданом и корзинкой сидит. Вот поднялась она и говорит моим ребятам: «Постерегите, пожалуйста, мои вещи. Я скоро приду». И ушла. Когда я вернулся, смотрю, сидят мои орлы, караулят чужие вещи. Один из бывших воров, час назад вышедший из дома заключения, вздохнул и говорит мне: «Уж очень чудно! Вот вещи поручили стеречь. В другое время я бы давно их спер. А теперь не могу, ведь мне их доверили!».

— А как к ним относятся соседи крестьяне? — спрашивает Горький.

— Первое время опасались: «Подсадили к нам

всеров, житья от них не будет». А потом, когда увидели, что ребята к честной жизни всерьез повернулись, оттаяли, подобрели. Теперь крестьяне в нашу кузницу своих лошадей на ковку приводят, в наш кооператив за покупками приходят. Да что! Уже несколько девушек из этих крестьянских семей замуж за наших коммунаров повыходили. Нет, отношения, надо прямо сказать, добрососедские.

— Писать об этом надо! — снова восклицает Алексей Максимович. — Писать! Вы себе представить не можете, как такой правдивый рассказ заинтересует зарубежного пролетария. Ведь они так следят за жизнью в Советском Союзе!

...Подъезжаем к Болшеву. Заворачиваем направо. Вот у дороги раскинулся огромный парк. Трудкоммуна ОГПУ находится тут.

— А кому раньше принадлежал этот парк? — спрашивает Горький.

— Шоколадному фабриканту Крафту... Как повашему, Алексей Максимович, не лучше ли теперь используется этот парк у других хозяев?

В ответ Алексей Максимович только улыбается своей доброй улыбкой.

Небольшая прогулка по парку. Алексея Максимовича интересует всякая мелочь, все, что имеет отношение к жизни и быту бывших Челкашей и Мальв.

Вокруг да около Алексея Максимовича вертится помощник коменданта. Мужчина из категории «свой в доску». Рубашка с несметным количеством мелких пуговичек. Кавказский ремешок. Широчайшие галифе. Желтые краги. А сверху все это украшено огромным и давно не чесанным чубом.

Он вертится, юлит и выполняет роль такого гида, который в карман за словом не полезет, и без умолку говорит, как заведенная пластинка.

Он во мне пробудил фельетониста. Чувствую, что и Алексею Максимовичу он порядком надоел. Ведь дело здесь большое, нужное, серьезное, а тут вдруг этот чуб и желтые краги.

Вдали показалась какая-то аллея.

— Это что за аллея? — полюбопытствовал Алексей Максимович.

— Липовая-с, — откликнулись желтые краги.

Я не сдержался. Всю дорогу молчал. А тут меня вдруг прорвало. И я нечаянно скаламбурил:

— А больше у вас ничего липового нет?

Тут легко обвинить меня в нескромности. Пожалуйста, обвиняйте, коли охота. Но я должен рассказать все по порядку и все как было.

Алексей Максимович вдруг остановился и неожиданно для меня залился веселым, детским смехом.

— О-о-о! Как вы сказали насчет «липового»? Очень смешно.

Мы пробыли целый день в Болшеве. И, не преувеличивая, скажу, что раз десять Алексей Максимович, как только, бывало, взглянет на меня, начинает смеяться:

— О-о-о! А больше ничего липового нет?..

— Это бывший форточник.

— Рядом с ним — бывшая воровка и проститутка.

— А вот бывший грабитель.

Но к чему вспоминать их прошлое? Оно уплыло. Сейчас здесь нет воров, грабителей и проституток. Нет Челкашей. Нет Мальв.

Сейчас здесь все рабочие люди.

Так они называются здесь: рабочий такой-то мастерской, работница такого-то цеха.

Алексей Максимович весь день ходит по мастерским, по цехам обувной и трикотажной фабрики.

Разговаривает с рабочими и работницами. Спрашивает об их жизни, о быте, о зароботке.

— Обо всем этом надо писать, писать и писать! — говорит он.

Гудок. Обеденный перерыв. Идем в клуб. Там уже начали собираться члены коммуны.

У входа молодой паренек с букетом цветов останавливается перед Алексеем Максимовичем, сует ему в руку букет, что-то хочет сказать, но слезы мешают

ему... Перед парнем стоит высокий и большой человек, один из величайших писателей современности, и... тоже не может ничего сказать.

Долго стоят друг перед другом. Толпа застыла. Что пережил в эту минуту автор Челкаша и Мальвы? Что было на душе у юного парня, бывшего Челкаша? О чем думали в это время застывшие здесь у входа десятки молодых рабочих и работниц?.. Здесь не было слов.

Это продолжалось минуту. Из клуба с эстрады грянул оркестр — бодро, радостно: «Кто был ничем, тот станет всем!»

Алексей Максимович произносит несколько слов. Он говорит о красоте труда, о его всеочищающей силе, он поздравляет присутствующих, ставших на путь трудовой жизни.

Затем начинается импровизированный концерт. В трудкоммуне два оркестра: духовой и струнный. Под звуки оркестров рабочие и работницы пускаются в пляс. Всех охватило какое-то праздничное настроение. Алексей Максимович подошел близко к эстраде, впился глазами в танцующих и, кажется, вот-вот сам пойдет в пляс под веселые звуки «барыни».

Пора уезжать. Алексея Максимовича приглашают зайти на минуту в контору. «Книга посетителей» трудкоммуны обогащается новой записью:

«Как бывший социально-опасный искренне свидетельствую: здесь создано совершенно изумительное, глубоко важное дело. М. Горький».

...Поздно вечером приезжаю в редакцию. Прямо к Ивану Ивановичу. Так, мол, и так. Завтра будет готов фельетон о поездке.

Иван Иванович хмурится, теревит ус.

— Что ж это такое, батенька? Как это так «завтра»? Садитесь сейчас же и пишите — в номер. Обязательно — в номер, батенька.

После короткой паузы лукаво улыбнулся:

— Ни в одной газете, кроме нашей, не будет об этом. А вы говорите «завтра, завтра»...

Вскоре Алексей Максимович опять уехал за границу.

И вот тут мне хочется сказать о том, какой это был чуткий и внимательный человек. Как бережно, по-отечески относился он к молодым литераторам.

Приведу один из многих примеров.

Почти каждую неделю я получал от него из Сорренто вырезку из какой-нибудь белогвардейской или буржуазной газеты.

А на полях этой вырезки характерным горьковским почерком всего одна неизменная строка, без подписи:

«А не пригодится ли?»

Многое пригодилось. По этим материалам я написал для «Известий» ряд фельетонов: «Вилла в Мекленбурге» (об антисоветских фальшивках); «Случай с Бабелем» (о писаниях белогвардейца Александра Яблоновского, выдвинувшего против Бабеля суровое обвинение в «симпатиях к Горькому»); «Плач Мережковского» (об одном из очередных выступлений Д. Мережковского, окончательно погрязшего в болоте мракобесия и черносостенства); «Вкусили Горького» (о зарубежных клеветниках, обвинявших Алексея Максимовича во всех смертных грехах).

Был еще ряд фельетонов. Не все могу сейчас вспомнить. Но одного никогда не забуду — заботливой, сердечной строки великого писателя: «А не пригодится ли?»...

О стороже и грузчике

В 1934 году Иван Павлович Шевчук учился в Москве, в Военной академии имени Фрунзе.

Забежим немного вперед и скажем: генерал-лейтенант Иван Павлович Шевчук пал смертью храбрых на Западном фронте в дни Отечественной войны.

В ту пору, когда я встретился с ним в Военной академии имени Фрунзе, Иван Павлович был жив-здоров, бодро настроен и очень много интересного рассказывал о партизанской борьбе на Дальнем Востоке.

Он поведал мне между прочим о школьном стороже Тарасе, ставшем начальником политотдела партизанского отряда.

— Откуда он взялся в этих местах, почти никто не знал. Поселился он в маленьком городе Шиманке и служил школьным сторожем. Велико было удивление бойцов моего отряда и окрестных крестьян, когда шиманский сторож Тарас с длинными волосами, в дырявых мужицких ичигах (сапогах), тихий, незаметный, оказался прекрасным оратором.

Вот он ходит, этот сторож, в низенькой крестьянской хибарке — школе — взад и вперед, заложив руки за спину, и диктует моим хлопцам из отряда воззвания против белых гадов.

Вступив в отряд, Тарас первым делом организовал съезд крестьян нескольких ближайших районов. Съезд под влиянием Тараса вынес много важных постановлений: не давать белому Хабаровску хлеба, не идти в солдаты и другие.

В кратких выражениях не опишешь всей той огромной политической работы, которую вел у нас будущий выдающийся деятель нашей партии Павел Петрович Постышев, тогда известный в партизанских отрядах Дальнего Востока как шиманский школьный сторож Тарас. . .

Встреча с Иваном Павловичем побудила автора этих строк собрать материал о том, что случилось в те огненные годы, в годы гражданской войны, в тайге, в густом лесу под Хабаровском.

Разрешите коротко рассказать об этом.

В тайге, в густом лесу под Хабаровском, молодой, сильный человек с утра до вечера рубил лес. За этим человеком охотятся, его ищут. Голова его оценена в большую сумму. Белогвардейский атаман Калмыков опубликовал приказ: за поимку Ивана Шевчука или за его убийство — 5 тысяч рублей вознаграждения.

Но Иван Шевчук спокоен. Он упорно и настойчиво рубит лес. И каждое поваленное дерево все более и более ободряет его. Будут деньги для борьбы! Здесь, в этих местах, будет советская власть! Поновому заговорит тайга. Зацветут города и деревни красными знаменами.

И, сжатый железной рукой, весело и бодро ходит острый топор.

Вот Иван уже нарубил и нарезал 136 кубов. Брат Ивана поехал в Хабаровск и продал этот лес городской управе по 40 рублей за куб.

Таким образом, Иван Шевчук заработал 5440 рублей. Первые деньги на организацию партизанского отряда.

Этот отряд вскоре вырос в большую грозную армию под командованием бывшего хабаровского грузчика Ивана Павловича Шевчука.

Ивана Шевчука ищут. За его поимку или убийство назначена большая награда.

К этому у белых есть причины.

В Октябрьские дни 1917 года молодой солдат и большевик Иван Шевчук, находясь в отпуске в Хабаровске, организует Красную гвардию из членов союза грузчиков.

Под командой Ивана Шевчука отряды Красной гвардии бьют белогвардейцев на Уссурийском фронте.

Белые в Хабаровске. Атаман Калмыков и его банды свирепствуют. Иван Шевчук сидит в тюрьме, ежедневно ожидая казни. Ему удается бежать из тюрьмы.

Он бежит в тайгу. Он бежит в тайгу не для того, чтобы зажить тихой, покорной жизнью.

У него одна задача, одна цель — бороться за советскую власть. В тайгу он бежал для того, чтобы поднять крестьян на борьбу против интервентов и белобандитов.

Надо было скрыться и в то же время приступить к организации партизанского отряда. Люди есть, люди будут: крестьян, сочувствующих большевикам, в окрестных деревнях немало. Но все это в большинстве своем беднота, и притом безоружная беднота.

Нужны деньги.

И вот тогда Иван Шевчук и стал лесорубом. . .

Так началась организация известного на Дальнем Востоке партизанского отряда хабаровского грузчика Ивана Шевчука.

Вскоре отряд Шевчука превратился в большую армию, где были не только винтовки, но и пулеметы, и пушки, отвоеванные у врага.

Добрый крикун

Мне казалось, что от его неистового крика вот-вот порвутся телефонные провода и лопнут мои ушные перепонки.

— Алло! Алло! Вы меня слушаете? Так вот — повторяю. Оставьте все эти буржуазные штучки. Что значит — «разрешите вам позвонить»? У кого вы научились так разговаривать? Если надо звонить — звоните без «разрешите». Понятно? Ну, в чем дело? Говорите! А то «разрешите»...

Этот ранний утренний нагоняй я получил от товарища Сольца. Теперь я знаю, что у него было имя-отчество — Арон Аркадьевич. В те годы никто к нему так многословно не обращался. Для всей партии, для всей страны — это был просто Сольц, товарищ Сольц, член ЦКК Сольц, совесть партии — Сольц. Коротко и ясно.

Он был крикун. Добрый крикун. Он любил людей, и глаза его светились лаской. Даже тогда, когда он вас отчитывал. Даже тогда, когда он возвышал голос.

Но он был суров и беспощаден к карьеристам, бюрократам, хапугам, дуракам. Короче говоря — ко всем тем, кто фигурировал в фельетонах. А фельетоны он любил и всячески поощрял нашего брата фельетониста.

Как сейчас помню его: невысокий рост, косо-воротка защитного цвета, солдатский пояс, большой, до отказа наполненный бумагами старый портфель.

Вот он сидит в столовой Моссовета. 1919 год. Скоро подадут обед. Шикарный обед девятнадцатого года. К нему шикарная осьмушка хлеба. А пока он роется в портфеле, который тут же отдыхает на полу. Он просматривает какие-то документы.

К нему подходит заведующий столовой тов. Бережинский. В руках у него — небольшой сверток.

— Товарищ Сольц, — говорит он, — я могу вам дать еще одну осьмушку хлеба.

— Всем сегодня полагается дополнительный паек?

— Нет. . . Это я для вас.

— Не надо. . . Сейчас же заберите.

Потом Бережинский мне рассказывал:

— Ну и попало мне на другой день утром. Он вызвал меня в партколлегию. Если всем полагается по одной осьмушке, почему я ему предложил еще одну? Откуда я взял этот лишний хлеб? Откуда? Почему? Каким образом? С меня пот катил. Еле унес ноги. Да что там ноги! Еле унес партбилет.

А сейчас вернусь к тому, с чего начал свой короткий рассказ о Сольце. Почему он на меня взелся? Видите ли, мне надо было посоветоваться с ним по одному вопросу. И я по привычке произнес сакральную фразу: «Разрешите вам позвонить».

А дело было вот какое.

Я в ту пору (1929 год) написал несколько фельетонов против тех головотяпов, которые забавлялись лишением избирательных прав честных граждан.

В одной волости лишили избирательных прав всех граждан старше шестидесяти лет. Сидели там старухи и старики на печи и предавались сладким мечтам об омоложении.

В другом месте подобной участи подверглись все холостые. Загс в те дни работал круглые сутки. «Не хочу права голоса лишиться, хочу жениться».

А в одном месте в списки лишенцев занесены все беременные женщины. Вероятно, по той простой причине, что неизвестно, мол, кого беременная носит в своем чреве. Может, зловредную личность?

Я сидел у Сольца в кабинете и рассказывал ему обо всех этих случаях головотыпства. Он внимательно слушал и угрюмо молчал.

Но вот он засмеялся. Долго смеялся. И попросил меня повторить рассказ о Майгоркове.

Майгорков причислен к сонму лишенцев. За что?

Правда, он имеет изрядное количество пахотной и сенокосной земли.

Верно и то, что у него собственный дом в городе.

Кроме того, Майгорков имеет несколько торговых предприятий.

И все же с чистой совестью, открыто и честно, не страшась никаких обвинений в нездоровом уклоне, я громогласно заявляю:

— Майгорков должен быть восстановлен!

Чтобы ясно представить все это дело, разберемся в официальных документах.

Перед нами — выписка из документа о лишенных избирательных прав голоса по городу Майкопу на 1929 год.

В этой выписке сказано:

«1) Фамилия — Майгорков.

2) Причина лишения избирательных прав — торговец.

3) С какого времени — с 1927 года».

Откуда же избирком взял этого Майгоркова? Каким образом он добрался до него?

Очень просто. Финотдел представил список всех лиц, выбирающих патенты. Там же красовалась и фамилия Майгоркова.

А Майгорков кричит благим матом, что он хотя и занимается торговлей, но не должен быть занесен в этот список. Почему?

Потому что Майгорков — не человек. И даже не зверь и не пташка. А учреждение.

Майгорков означает: Майкопский городской комитет крестьянского общества взаимопомощи.

Товарищ Сольц смеется. Он говорит мне:

— Обязательно об этом напиши. Нужно писать. Только ты не мудри. А напиши так, как ты мне рассказывал.

Я написал. Фельетон назывался «Несчастный Майгорков».

В последний раз я встретился с Сольцем незадолго до его смерти.

Некий «герой» одного из моих фельетонов пытался оклеветать меня. Я пришел в ЦКК к тов. Соль-

цу. Немного волнуясь. Немного нервничаю. А поэтому не мог сидеть спокойно на одном месте. И Сольц поднял страшный крик:

— Ты чего бегаешь по кабинету? Что тут, бульвар? Я сижу, а он бегаёт! Безобразие!

Я остановился. Вдруг он взглянул на меня, и в глазах его появилась теплота:

— Ну, ладно. Ладно. Если тебе так легче, бегай, бегай. . .

Землячка

Секретарша сказала министру:

— В приемной какая-то женщина хочет пройти к вам. . . Она настаивает.

— А я настаиваю, что занят. Не могу ее принять. Не могу!

— Она села и ждет. Упрямая такая.

— А вы спросите ее — кто она такая?

— Спрашивала. Говорит — землячка.

— Из Орловщины, значит. Я уже на днях принимал своих земляков. Хватит! Сегодня у меня нет времени. И завтра не будет. Не. . .

Вдруг открывается дверь кабинета и входит Землячка. Розалия Самойловна Землячка. Старый член партии. Заместитель председателя Совета Министров. Гроза чинуш и бюрократов.

Если память мне не изменяет — министр побледнел. Секретарша ничего не поняла, но на всякий случай ахнула и осталась стоять пригвожденная к полу.

— Са-дитесь, пожа-пожалуйста, — пролепетал министр, придвигая кресло неожиданной посетительнице. — Вот здесь, не у окна, — там дует, Розалия Самойловна.

— Спасибо. Думаю, что не надует. Ничто и никто меня здесь не надует. Я пришла к вам по поводу жалоб ваших посетителей. . .

Что дальше было — не знаю. Потому что секретарша, опомнившись, выскочила из кабинета. А это она мне в тот же день рассказала об этой встрече министра с Землячкой.

Я позвонил Розалии Самойловне. Сказал, что хочу написать об ее визите к министру.

— Как вы узнали? От вашего брата журналиста ничего не скроешь. А писать не советую. Не хочу быть героиней литературных произведений.

Известно, что старые большевики отличались большой скромностью. Я не могу поэтому не вспомнить об одной записке товарища Землячки.

В ту пору у Дмитрия Дмитриевича Шостаковича были какие-то затруднения с квартирой. Он ходил не раз и не два в Моссовет, ходил к самому председателю. Результат один: «Загляните через недельку».

Кто-то из друзей композитора пожаловался Землячке. Розалия Самойловна написала записку председателю Моссовета:

«Дорогой товарищ, таких, как мы с вами, в Советском Союзе — миллионы. А Шостакович у нас один».

Было это недавно — в сороковых годах.

Было это недавно, но я все же усомнился. Не изменила ли мне моя память? Была ли такая записка? А вдруг — ничего подобного?

И я решил зачеркнуть этот эпизод, изъять его из книги.

Прошло некоторое время, и мне, сам того не подозревая, помог Бенджамин Бриттен, английский пианист. Я пошел в Большой зал консерватории на его концерт. Там я увидел Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Я ему рассказал о своих сомнениях.

— Все верно, — сказал он. — Землячка мне очень помогла. Действительно, была такая записка. . .

Рассказывает Качалов

Если память мне не изменяет, это было летом 1946 года. Я проводил свой отпуск под Москвой, в Барвихе. Там в ту пору отдыхал и Василий Иванович Качалов.

Живой, общительный и обаятельный Качалов... А какой изумительный рассказчик! И он страстно любил рассказывать — наслаждался этим занятием.

Вот он рано утром спешит с полотенцем через плечо принимать радоновую ванну. Вдруг увидел Икса или Игрека, одного из отдыхающих, с которым он вчера вечером гулял.

Сразу позабыты и позаброшены все радоновые ванны на свете.

— Послушайте. Я вам вчера позабыл рассказать об одном забавном случае, который однажды приключился со мной на репетиции. . .

Давно палатная сестра ищет исчезнувшего «больного», которому пора на ванну. А Василий Иванович меж тем увлек своего слушателя в тихую аллею и рассказывает, рассказывает, рассказывает — одну историю за другой.

А то, бывало, после обеда соберет вокруг себя группу отдыхающих:

— Давайте, товарищи, где-нибудь уединимся. Хочу почитать вам Багрицкого или Глеба Успенского.

— Вам бы отдохнуть, Василий Иванович.

— А для меня чтение вслух — лучший отдых. Не могу без этого. . .

Как-то раз мы втроем — Василий Иванович Качалов, Соломон Михайлович Михоэлс (он тоже отдыхал тогда в Барвихе) и я — пошли вечером гулять. Миновав пруды, лесной дорогой поднялись на пригорок. Перед нами вдали раскинулись деревни, озаренные электрическим светом.

Василий Иванович, который всю дорогу молчал, вдруг оживился:

— Вот вам и электричество в деревне... Очень часто, когда я сейчас вижу много электрических ламп, я невольно вспоминаю один концерт в Колонном зале Дома союзов. Вспоминается при этом и встреча с Горьким весной 1918 года. Хотите послушать?

Так вот — в Колонном зале кооператоры устраивали большой вечер. Алексей Максимович почему-то принимал деятельное участие в организации этого вечера.

Он просил меня выступить в концерте и привлечь исполнителей, особенно Москвина и Грибунина.

— Уж очень они смешно «Хирургию» играют!.. Кажется, Ленин приедет на концерт.

И — после короткой паузы:

— А потом банкет будет...

Помню, концерт шел с огромным успехом. В артистической комнате Горький, беседуя с Лениным, веселый, оживленный, обращаясь к участникам концерта, говорил:

— Ну, вот, скажите, ведь приятно выступать перед этой новой публикой?

После концерта Горький сказал мне:

— Кооператорам все-таки не повезло. Банкета не будет. У них там со светом что-то не вышло.

Оказалось, что в помещении Петровских линий, где затевался банкет, на котором должны были присутствовать Ленин, Горький и участники концерта, погасло электричество. В Москве тогда были большие затруднения с электричеством, и свет удалось сохранить только для Колонного зала. Даже, говорят, в Кремле в этот вечер не было света.

Алексей Максимович, уходя с концерта, шутил:

— Слабо пока у нас с электрификацией. Но не будем терять надежд. Меня зовет Ильич поехать к нему, говорит, что у него есть какая-то необыкновенная, толстенная свеча. Так что мы посидим с ним при этой свече. Помечтаем об электрификации...

Четвертый акт

Кончилась репетиция первого акта какой-то пьесы — названия не помню.

Я в ту пору работал по совместительству в Театре сатиры — заведовал литературной частью. В перерыве беседуем с Николаем Васильевичем Петровым, старым, уважаемым московским режиссером.

Николай Васильевич вспоминает некоторые свои старые постановки. В частности, пьесу Яновского «Ярость», которая в 1930 году шла в Театре МГСПС.

— Представьте себе, на один из спектаклей неожиданно для всех нас пришли Сергей Миронович Киров и Серго Орджоникидзе.

Спектакль шел хорошо, имел успех. Но во время третьего акта я заметил, что Сергей Миронович чем-то озабочен. Перед самым концом он наклонился ко мне и спросил:

— А сегодня встанут или нет? ..

Дело в том, что в четвертом акте, когда по ходу спектакля на сцену приносили большевика, убитого белогвардейцами и кулаками, и начинался траурный митинг, сценическое действие с такой силой перекликалось с жизнью, что зрители, охваченные могучим чувством гражданской скорби, в большинстве случаев стихийно вставали с мест, как бы желая непосредственно участвовать в этом гражданском траурном митинге.

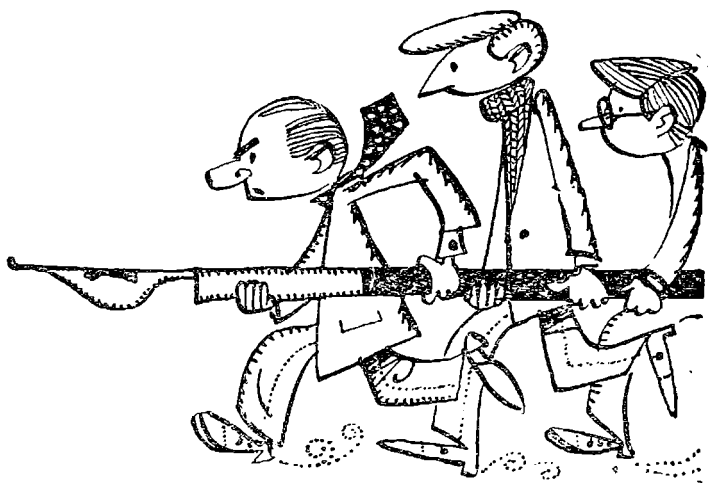
Вот об этом «вставании» и спрашивал Сергей Миронович. Начался четвертый акт. Актеры играли взволнованно. Я видел, как все внимательнее и внимательнее следил за спектаклем Серго, как зрительный зал был захвачен происходившими на сцене событиями и как наблюдал Сергей Миронович за зрителями и за реакцией Серго.

Приближался решающий момент. Вот на сцену вынесли убитого Глобу, вот сорвали красное полотнище флага и покрыли им тело, вот из-под колосников начал опускаться траурный занавес с именами

передовых людей деревни, убитых кулаками. Раздались первые аккорды траурного марша, написанного Ю. Шапориным, — и в скорбном молчании, как один, поднялся весь зрительный зал, чествуя память погибших бойцов революции. . .

Встал и Серго, по лицу которого медленно катилась слеза. Сергей Миронович повернулся ко мне и еле заметным движением глаз показал на Серго, на зрителей.

Товарищи по оружию



КОЛЬЦОВ ПЛЮС КОЛЬЦОВ

Я помню двух Кольцовых. То есть одного Михаила Кольцова в двух лицах.

Вот один из них рано утром пришел в редакцию. Вернее сказать, не пришел, а вбежал. Он не умел медленно ходить. Он был не из тех людей, которые вместе с чином и званием приобретают важную походку. Дескать, ходит и сам себя уважает.

Он бегал по «Правде» — по ее коридорам, холлам, кабинетам. Забегал в секретариат, откуда мчался в иностранный отдел, отсюда летел в отдел внутренней информации, затем нырял в отдел писем. . . Узнавал новости, собирал темы, копил намеки на темы — все пригодится в фельетонном хозяйстве: обрывки, отрывки, письмо, документ, шутка, улыбка, меткое слово. . .

Задержался в отделе сельского хозяйства: любил поговорить с Давидюком, человеком веселым, с большим чувством юмора. Кольцов рассказал Давидюку что-то очень веселое. Оба громко смеются. Сосед Давидюка Азизян стучит в стену: «Не мешайте, товарищи, работать!»

Громкий смех прекращается. Но тут же с ходу жизнерадостный Кольцов сочиняет пародию на одного сельскохозяйственного журналиста. Тот считал себя очеркистом, писателем, Глебом Успенским. А на самом деле писал сухие, скучные банальные корреспонденции. Но каждое свое сочинение украшал «поэтическим» вступлением.

В передаче Кольцова это звучало так:

«Солнце садилось за гумном. Петух взмахнул крыльями и начал кукарекать. А в это время колхозный бригадир Сидоров, человек крепкий и волевой, твердо сказал жене: «Собирай, Агафья, завтрак, надо ехать в поле». Агафья застенчиво улыбнулась. . .»

После этого вижу Кольцова в одном из холлов редакции. Вокруг него — Верховский, Аграновский, Потоцкий, Резников, Миша Попов. Кто-то из нас рассказывает очень смешной анекдот. Кольцов,

конечно, не остается в долгу, он умел рассказывать. Он умел смешно рассказывать. Любил шутку.

В моем старом блокноте есть заметка об одном из вечеров в «Огоньке». Михаил Ефимович объявил:

— А сейчас нам почитает свою новую юмореску Валентин Катаев.

После Катаева — короткая пауза. Вдруг Кольцов увидел сидящего в первом ряду Бориса Михайловича Волина, который в ту пору был начальником Главреперткома.

— А сейчас наш уважаемый Борис Михайлович что-нибудь нам запретит.

Смех в зале. Громче всех смеется сам Волин.

Это один Кольцов. А вот — другой. . .

Он бежит по коридору редакции с рукописью или гранками. Он устремляется, не глядя по сторонам, к машинисткам, в библиотеку, в бюро проверки.

Совсем другое лицо. Совсем другие глаза. Серьезные, задумчивые. Ни малейшей улыбки. Кольцов в эту минуту почти не замечает вас. Он работает над фельетоном. Он думает. Он по ходу перекраивает фразы своего сочинения. Не трогайте его, пока он не кончит фельетон. Сейчас ему не до ваших смешных историй. Он углублен в свою рукопись, в свои гранки, в свою работу.

Он страстно любил свою работу. Он страстно любил фельетонный жанр.

И он много работал. Этот веселый человек был очень трудолюбив.

Он много писал и много читал. Он то и дело советовал товарищам прочитать ту или иную книжную новинку:

— Это надо обязательно прочитать. Наш брат фельетонист должен уйму читать, много знать. . . Например, читали последнюю вещь Леонова — о Ковякине? Очень любопытно.

Вот при каких обстоятельствах я познакомился с Михаилом Кольцовым. Об этом в одном из моих блокнотов за 1924 год имеется более или менее подробная запись.

В начале 1924 года я приехал с периферии в Москву для работы в ЦК партии, в отделе печати.

Кроме всего прочего, в моем чемодане лежал недавно написанный юмористический рассказ «Курица».

Это подлинная история. Жил-был в одном богоспасаемом уездном городе предводитель дворянства, человек богатый и глупый.

Наступили грозные дни Октября 1917 года. Заволновался предводитель: придут большевики и все заберут.

И предводитель на скорую руку распродал свое имущество: землю, лес, каменный дом, деревянный особняк. Нашлись такие, которые покупали, тем более по дешевке.

Деньги — николаевки и керенки — положил в кувшин. Ночью закопал кувшин в саду, в овраге.

В одно прекрасное утро (а скорей всего это было глубокой ночью) предводитель, крепко испугавшись, бежал из города, не успев забрать с собой кувшин. Так он и остался в саду, в овраге.

Но глупый предводитель утешал себя:

«Через две недели вернусь... Все вернемся... Все вернем...»

Вернулся он через два года. Темной ночью пробрался в сад, к оврагу. Откопал кувшин.

Через несколько дней бывший предводитель продал какому-то коллекционеру свои николаевки и керенки. Пошел на базар. На все деньги купил курицу. Это его слабость — он любил домашних птиц.

Принес курицу к себе в комнатушку. Соседи потом рассказывали, что слышали (перегородки тонкие), как он обратился к курице с речью:

— Вот ты, курица. Дорогая. Не простая. На тебя ушло все мое состояние: имение, оставленное мне моим покойным отцом, царство ему небесное; березовый лес с примесью ольхи и осины, полученный мной в приданое; дома — каменный и деревянный, — построенные мной долголетним трудом на разных государственных должностях. Вот какая ты важная птица! Хохлик? Это не хохлик. Это березовый лес

с примесью ольхи и осины — триста двенадцать десятин. Хвост? Это не хвост, а заливной луг — сто восемьдесят пять десятин. . .

Таково в кратких чертах содержание рассказа. Робко понес я это произведение в «Огонек». Там мне сказали: прийти за ответом через неделю.

Прошла неделя. Прихожу в «Огонек». Мне говорят:

— Обождите немного. С вами хочет говорить редактор. Сейчас у него совещание.

Минут через десять выходит из кабинета Кольцов.

— Вы меня извините, — говорит он, — у меня там заседание. Поговорим здесь. Ваш рассказ я сдал в набор. Заходите завтра в это время, потолкуем более подробно.

Потом — уж через несколько лет — он говорил мне:

— А ведь нас с тобой познакомила курица председателя дворянства. . .

Вечером мы приехали электричкой в Мамонтовку, на дачу к Демьяну Бедному. Нас было пятеро: Михаил Кольцов, Ильф и Петров, Василий Регинин и я.

Мы приехали не в гости, а по делу. Надо было обсудить вопрос о новом сатирическом журнале.

Поговорили, поспорили, пошутили, посмеялись, попили чаю.

А потом опять заговорили о журнале. Как его назвать?

Это не так легко — найти подходящее имя для сатирического журнала. Это не лошадь и не собака.

Всезнающий Регинин поведал нам любопытную историю о том, как «Крокодил» стал «Крокодилом».

Три вечера до глубокой ночи засиживались люди в одной из прокуренных комнат «Рабочей газеты» и ничего путного не могли выдумать. Никак не могли найти название для журнала.

На четвертый день, усталые и измученные, юмористы и сатирики покидали поздно вечером редак-

цию. Запирая за ними дверь, разбуженный старик сторож укоризненно сказал:

— Эх вы, крокодилы!

— О! — воскликнули юмористы и сатирики. — «Крокодил» — лучшего названия не придумаешь...

После сообщения Регинина наступило долгое молчание.

Мы думали. Все вместе и каждый в отдельности.

Подумав, опять начали спорить. Кто-то кого-то назвал чудаком.

Кольцов при этом напомнил изречение Горького: «Чудаки украшают жизнь». И вдруг, оживленный, он вскочил с места:

— Товарищи, а почему бы не назвать журнал «Чудак»?

После небольшой дискуссии все согласились. Демьян провозгласил:

— По этому случаю угощаю всех вас, чудаков, пивом!

Вскоре под редакцией Михаила Кольцова начал в Москве выходить сатирический журнал «Чудак».

Художник-карикатурист Борис Ефимов — младший брат фельетониста Михаила Кольцова.

Широкие читательские круги мало знают об этом. Но однажды сам Михаил Кольцов заявил в своем фельетоне, посвященном ноте Чемберлена, о том, что Борис Ефимов — его родной брат.

Сделано это было при следующих обстоятельствах.

В декабре 1926 года в «Известиях» была напечатана карикатура Бориса Ефимова на одну из анти-советских вылазок Чемберлена.

Чемберлен прислал официальную ноту Советскому правительству, в которой говорилось о «грубо оскорбительной карикатуре, изображающей британского министра иностранных дел». В ноте подчеркивалось, что карикатура помещена в газете «Известия», которая является «официальным органом». А это является из того факта, что газета, по сведениям

английских властей, «не облагается налогом» советскими финансовыми органами.

В ответ на ноту в «Правде» появился фельетон Кольцова, в котором между прочим было сказано:

«Поведение «Известий» я просто отказываюсь понимать. Газету берегут и холят. Держат как у Христа за пазухой. От налогов освободили, вы подумайте. А она лезет в драку, вполне порядочных министров задевает.

Сколько раз говорил я карикатуристу «Известий»:

— Что это ты, братец, к посторонним мужчинам пристаешь?».

Итак, появился на свет новый сатирический журнал «Чудак».

... Звонит телефон. Подымаю трубку.

Слышу бодрый голос Василия Александровича Рeginина. Он самый главный, самый активный и самый веселый помощник и оруженосец редактора «Чудака» Михаила Кольцова.

— Добрый день, Григорий Ефимыч! Как себя чувствуете? Михаил Ефимыч просил передать вам горячий привет!

Твердо знаю, что такого ответственного поручения от редактора Рeginин не получал. Тем более что пятнадцать минут тому назад я разговаривал с Кольцовым. Но добрейший и хитрейший Рeginин не может не «подогреть» меня кольцовским горячим приветом. Ведь у него ко мне срочное дело.

— У меня к вам срочное дело. Понимаете ли, весь номер уже готов. Но на третьей полосе осталось незаполненное «окно». Нужен фельетон строчек на сто. Короче говоря, нужны сто строк веселья и остроумия. Михаил Ефимыч и говорит: «Позвоните Рыклину. Он сделает». Сделаете, Григорий Ефимыч? Ведь больше некому. Договорились?

Опять уверен, что ничего подобного Кольцов ему не говорил. Звоню Кольцову. Он смеется.

— Ну и ловок Вася! Не надо тебе писать в этот

номер. Зайди ко мне завтра в редакцию. Я тебе дам материал для следующего номера.

И он, смеясь, имитирует Регинина:

— Нужны сто строк веселья и остроумия. . .

Михаил Кольцов был не «почетным» редактором «Чудака». Он был его трудолюбивым редактором, энергичным руководителем, инициативным организатором.

Он очень увлекался работой в журнале. Увлекался и увлекал других.

Он создал большой актив. В журнале печатались такие авторы, как Маяковский, Демьян Бедный, Катаев, Ильф, Петров, Безыменский, Зорич, Зозуля и много других писателей, уже известных и еще неизвестных.

В «Чудаке» Маяковский напечатал стихотворение «Мрачное о юмористах», стихотворение, ставшее программным для всего отряда советских юмористов и сатириков.

Помнится, оно произвело на всех нас очень сильное впечатление. В этом стихотворении Маяковский призывал покончить с мелкими сатирическими темками, с чахлыми отрицательными персонажами и взяться за большие темы.

За это ратовали и Кольцов и весь «Чудак». Достаточно почитать фельетоны Кольцова в «Чудаке», чтобы понять главное направление журнала.

Одной из главных мишеней «Чудака» было мещанство в разных его видах.

Не оставляя без внимания взяточников, растратчиков, бюрократов, помпадуров и тому подобных, «Чудак» все же самое пристальное внимание сосредоточил на мещанстве. Эта тема была поднята, как говорится, на большую принципиальную высоту.

Кольцов писал:

«Довольно разговоров о провинциальной пошлости и мещанстве. Это добро есть повсюду. Оно цветет одинаково пышно и в жирном черноземе миргородских луж, и на асфальтовых столичных мостовых».

Против пошлости и мешанства в районе миргородских луж и асфальтовых столичных мостовых с гневом, с иронией, с сарказмом выступал «Чудак».

Лицо «Чудака» — это лицо Кольцова. «Чудак» терпеть не мог ханжей, потому что ханжей не любил Кольцов. А Кольцов, понятно, ненавидел их потому, что они мешают советскому народу строить, создавать, творить.

У Кольцова в «Чудаке» был фельетон, который так и назывался: «О ханжах».

«Главным признаком ханжи принято считать противоречие между показным и истинным образом мыслей и действий. Спереди блажен муж, а сзади — все шаташся. Молока не хлебнет в пятницу, а молочнице и в великую субботу не спустит.

Революция убила спрос на ханжей старого типа. Сразу стихло и предложение.

Зато появились ханжи нового выпуска. Их свойства на вид противоположны старым, по сути тождественны им.

Новые ханжи боятся (на людях) стоять спиной к гипсовому бюсту Маркса.

Они даже записку в оперетку о предоставлении двух местечек поближе подписывают «С коммунистическим приветом» — для уяснения администратору театра своей партийно-контрамарочной принадлежности...»

Я пишу не обзор журнала «Чудак», не разбор произведений Кольцова.

Это воспоминания. Листки из блокнота. Я вспоминаю отдельные эпизоды. Ведь в ту пору все это происходило на моих глазах. Я присутствовал на тематических заседаниях журнала, на летучках. И вот кое-что удалось записать. Кое-что сохранила память.

В кабинете секретаря редакции «Правды» Ивана Богового большое и вполне уважаемое общество: Иван Боговой, Аркадий Давидюк, Алексей Колосов, Яков Ушеренко, Лев Ровинский, Август Потоцкий, Гриша Васильковский, Николай Кружков, Ян Мущ-

перт и (как говорят опытные ораторы) ваш покорнейший слуга.

Вдруг открывается дверь, и необычно степенным шагом входит Михаил Кольцов. Он что-то слишком серьезен. Значит, или пишет, или уже написал фельетон.

— Товарищи, — спрашивает он, — о чем тут беда? Что у меня в руках? Журнал. В журнале перепечатан мой старый фельетон «145 строк лирики». Что? Хотите, чтоб я его почитал? Зачем? Но если настаиваете, то буду читать.

И он читает свой знаменитый фельетон «145 строк лирики». Лирика и улыбка. Улыбку вызывает необычная форма: веселый некролог. Радость в связи с усопшим совзнаком.

Уже первые строки вызвали у всех нас веселые улыбки. Улыбается даже всегда сосредоточенный и мрачноватый Мушперт.

Все улыбаются, а между тем фельетон начинается так:

«Сгоните с лиц улыбки, я пришел с некрологом.

Мрачные совработники, хмурые хозяйственники с беременными портфелями, веселые пролетарии и удрученные буржуи, коммунисты, беспартийные, спекулянты, рвачи, пенкосниматели, все добродетельные и злодейские персонажи великого российского детства, встаньте.

Преклоните головы.

Почтите память усопших.

Совзнак скончался. Гривенник родился...»

Дальше в «некрологе» тем же тоном рассказывается не совсем веселая биография совзнака. Он все время падал и падал. «Вчера заплачено за газету совзнаками один лимон (то бишь миллион), а сегодня два».

И вот он умер, бедный совзнак. Кто занял его место?

«Червонец, здоровое дитя новой эпохи, нового поколения, сразил тебя, истощенного холодом, голодом, блокадой...»

— Ой, как грустно! Я сейчас заплачу! — вскричал Давидюк, явно восторгаясь фельетоном.

А Кольцов продолжал:

— «О тебе, совзнак, не будут плакать. Но никто не сердится на тебя. Честное слово!

А новорожденный?

Я совсем забыл. Даже удивился при его первом появлении.

Даже забыл, как его пишут.

С одним «н» или с двумя «н»?»

Мы уже не только улыбались. Но и смеялись. Хотя многие из нас уже давно читали этот фельетон.

Удивительное дело: сумел написать веселый фельетон на такую, казалось бы, сугубо положительную, «скучную» тему. Придумал «некролог» и расцвел его улыбками.

В связи с этим мы тут же заговорили о положительном фельетоне. Ведь еще водились скептики: как это так — положительный фельетон?

Кольцов (и его поддержали многие из присутствующих) горячо отстаивал этот жанр:

— Да, мы должны писать и на положительные темы. Мы, фельетонисты, не имеем права заниматься только критикой недостатков. Но такое произведение не должно быть сухим, скучным, дидактическим. Надо писать живо, занимательно, увлекательно. Надо придумывать интересную форму. Как вы думаете, удался мне этот «некролог»?

До сих пор я читаю и перечитываю эти «145 строк лирики» с большим, не постыжусь сказать, наслаждением. Какое мастерство!

Две фамилии одного писателя

Был такой большой писатель. У него — две фамилии. Читатели полюбили писателя и до сих пор с нежностью говорят:

— Ильф и Петров!

Они много работали. Они любили работать.

Они страстно любили свой жанр — юмор и сатиру. Но при этом не чурались никакой черновой работы в журнале.

Ильф и Петров уже были почитаемыми и читаемыми писателями. Но если нужно было отредактировать читательское письмо — они это охотно делали. Написать десятистрочную заметку? Пожалуйста! Шутливый диалог из двух строк? С удовольствием! Смешную подпись под карикатурой? Будет сделано.

Они никогда не играли в маститых.

С Евгением Петровичем мне посчастливилось в течение нескольких лет работать в редколлегии «Крокодила». Он не был в журнале штатным работником. Он был занят по горло писанием фельетонов, рассказов, сценария. Но тем не менее он почти ежедневно прибегал в редакцию:

— Надо что-нибудь сделать?

Редактировал, выдумывал, сочинял, писал, воодушевлял других.

И все его любили.

Всегда волновался. Радовался или возмущался, но никогда не был равнодушен к тому, что происходило вокруг него.

Вот почему он охотно придумывал темы для карикатур на самые злободневные вопросы.

Сейчас очень трудно припомнить, какие именно крокодильские темы принадлежали ему. Но на одной теме (она сделана Петровым вместе с Ильфом) хочу коротко остановиться.

Речь идет о бытовых непорядках в ту пору.

Особенно на городском транспорте. Это подпись под рисунком.

«Был прекрасный выходной день, когда человек (это звучит гордо) решил развлечься. Неслыханное счастье — трамвай был почти пуст.

Плача от радости, человек влез в вагон, но уже вскоре заметил, что он не так счастлив, как ему это казалось. Трамвай шел совсем не в ту сторону. По чьему-то странному капризу маршрут был изменен, о чем кондуктор пассажирам не сообщил. О, кондуктор — это звучит гордо!

Спотыкаясь о строительный мусор и проваливаясь в канализационные траншеи, брел человек назад к шумному городу, где бегают автобусы. Автобус! Что может быть приятнее этого роскошного способа передвижения!

— Будьте благонадежны, — сказал шофер, — автобус не пойдет. Идите, будьте благонадежны, пешком.

И в самом деле, пешеход — это звучит гордо.

Но все же человек соблазнился на такси. Захотелось ему жить лучезарно.

— Не повезу, — сухо заметил шофер. — Не по дороге.

— Откуда же вы знаете, что не по дороге! — взмолился человек. — Ведь я еще даже не сказал, куда мне надо.

— Все равно не по дороге.

Человек (это звучит гордо) не знал того, что шоферу нужно показывать растопыренную пятерню.

Это означает пять рублей чаевых».

Злоключения человека этим не закончились. Он еще терпит ряд бедствий, о чем рассказывают четырнадцать рисунков художника и четырнадцать подписей Ильфа и Петрова.

Они умели остро писать, взволнованно писать, смешно писать, поднимая большие вопросы даже тогда, когда касались «мелочей быта».

Особенно когда речь шла о сервисе.

Это было «больное место» Евгения Петрова. Сервис! Он выступал по этому вопросу. Он писал. На

темных (от слова «тема») заседаниях «Крокодила» он с упоением ратовал за темы о сервисе.

Он говорил неоднократно:

— Будьте смелыми, будьте принципиальными. Зайдите в хороший ресторан и закажите официанту стакан чаю.

А на недоуменный вопрос: «И больше ничего?» — отвечайте: «И сегодняшнюю газету!»

И на чай официанту ничего не давайте. Да, да! Вы имеете право на хороший ресторан, на стакан горячего чаю и на сегодняшнюю газету.

Был 1932 год. Юбилейный. «Крокодилу» исполнилось десять лет.

Если я скажу, что страна бурно отмечала эту дату, то непременно совру. А врать нехорошо.

Итак, страна отнеслась с завидным спокойствием к юбилею. Но в редакции журнала засуетились — решили считать дату знаменательной и отметить ее.

Был выпущен специальный юбилейный номер журнала. В номере, кроме всего прочего, — фельетон Ф. Толстоевского.

Напомним молодому читателю, что И. Ильф и Е. Петров в ту пору часто печатались под этим весьма красочным псевдонимом.

Произведение Ф. Толстоевского в юбилейном номере «Крокодила» называлось «Литературная отмычка».

Ильф и Петров опоздали с фельетоном. Добрейший и милейший Михаил Захарыч Мануильский, тогдашний редактор, не умел сердиться. Поэтому его выговоры нерадивым авторам не отличались большой эрудицией и разнообразием.

— Товарищи! — сказал он Ильфу и Петрову. — Нехорошо... Ей-ей, нехорошо... Поймите — нехорошо...

— Завтра будет хорошо, — сказал Ильф.

— Рано утром принесем, — добавил Петров.

— Всю ночь будем работать, как проклятые, — сказал Ильф.

— Не будем ни спать, ни есть, — добавил Петров.

Но редактор был неумолим. В его голосе появилась малая толика металла.

— Сейчас же... Пишите! Садитесь вот за этот стол и работайте. Вы отсюда не уйдете, не оставив фельетона. Понятно?

— Ничего не попишешь — придется писать!

Точно не помню, кому принадлежит это восклицание — Ильфу или Петрову.

Они сели в углу за маленький столик и начали работать, не обращая ни малейшего внимания на всех прочих: сидящих, курящих, говорящих, шумящих в этой комнате.

Садясь к столу, Ильф торжественно произнес:

— Первая фраза фельетона должна быть такая: «Позвольте омрачить праздник».

Затем мы узнали, что фельетон будет называться «Литературная отмычка».

А минут через десять услышали, как Евгений Петров читал Ильфу черновой набросок тех строк, в которых намечалась тема произведения:

— «О читателе нужно заботиться не меньше, чем о пассажире. Его нужно предостеречь».

Именно с этой целью здесь дается литературная фотография («Анфас и в профиль!» — добавил Ильф) поставщика «юмористической трухи и сатирического мусора».

Ильф продолжил эту мысль:

— «Работа у него несложная. У него есть верный станок-автомат, который бесперебойно выбрасывает фельетоны, стихи и мелочишки, все одной формы и одного качества».

Так они сидели и работали, спорили, смеялись. Иронизировал Ильф. Горячился Петров.

Так создавался для юбилейного номера острый фельетон против халтурщиков на сатирическом фронте, против халтуры в печати.

В фельетоне есть и пародия на шаблонный международный фельетон и на такой же фельетон на внутреннюю тему.

Особенно, по моему мнению, удалась пародия на эпиграф («Из газет») к стихотворному фельетону. Сочиняли они его вдвоем.

Вот этот эпиграф:

«Сплошь и рядом наблюдается, что в единичных случаях отдельные заведующие кооплавками, невзирая на указания районных планирующих организаций и неоднократные выступления общественности и лавочных комиссий, частенько делают попытки плохого обращения с отдельными потребителями, что выражается в недовывешивании прейскурантов розничных цен на видном месте и нанесении ряда ударов метрическими гирями по голове единичных членов-пайщиков, внесших полностью до срока новый дифпай. Пора ударить по таким настроениям, имеющим место среди отдельных коопголовотяпов.

(Из газет)».

После этого громадного и маловразумительного эпиграфа следовал фельетон — четыре стихотворных строчки, коими ударяли «по таким настроениям»:

Нет места в кооперативном мире
Голсвотяпским сим делам.
Не для того создали гири,
Чтоб ими бить по головам. . .

Редактор торжествовал. Фельетон получился. Очень неплохой фельетон!

— А вы говорили: «Завтра будет хорошо». Нет, сегодня хорошо. . .

Корнея Ивановича судили и оправдали

Прения развернулись — как пишут в газетных отчетах. В этот самый момент открывается дверь и в комнату, где мы заседали, заглядывает улыбающийся Корней Иванович Чуковский.

1955 год. Пятидесятилетие пятого года. Этому и посвящено заседание секции юмора и сатиры Союза писателей. Председательствует Александр Безыменский.

— О чем разговор? — спрашивает Корней Иванович.

Узнав, в чем дело, он охотно соглашается принять участие в беседе.

— Я вам расскажу о «Сигнале». Большинство из вас, особенно молодые, понятия не имеют об этом сатирическом журнале тысяча девятьсот пятого года. Хотите послушать?

Я редактировал этот крамольный журнал. Меня сажали в тюрьму, меня штрафовали, жандармские полковники клеймили меня позором, угрожали, угваривали, сулили золотые горы и реки, полные тридцати сребреников. Но я, молодой, крепкий, жизнерадостный, смелый, продолжал свое.

Но особенно мне влетело за «Сигнал» номер четыре. В нем были нарисованы карикатуры на самого царя. Меня должны были судить. Очень строго покарать. Год крепости — самое меньшее. Что делать?

Я решил обратиться за помощью к знаменитому адвокату Грузенбергу.

— Отлично, отлично! — говорит Грузенберг, выслушав мою просьбу. — Попытаюсь... Авось, удастся.

Корней Иванович после краткой паузы продолжает. А я записываю в блокнот.

— Оскар Осипович необыкновенно внушителен. Лицо матово-бледное, осанка могучая, львиная. Иссиня-черные волосы лежат вокруг его головы, точно

грива. Глаза возбужденные, яркие. Пальцы в непрерывном движении.

И он, и его милая жена, библейски величавая Роза Гавриловна, относятся ко мне с большим участием и всячески ободряют меня.

...Наконец мы вместе с ним отправляемся в суд. Как важного преступника (оскорбление величества!) меня вводят на скамью подсудимых два солдата с обнаженными шашками. Так и стоят они до конца заседания. В зале суда ни одного человека, лишь жена моя Мария Борисовна. Она только что приехала в Питер, чтобы присутствовать на страшном судилище, сидит одиноко в далеких рядах.

Зато за судейским столом скопилось человек сорок, а пожалуй, и больше: отовсюду сбежались сенаторы и прочие судебные вельможи, которым любопытно поглядеть, как схватился Грузенберг с прокурором Камышанским. Здесь для них спортивный интерес: хотя у Грузенберга нет ни малейшего шанса выиграть такое безнадежное дело, все же он не сдастся без боя, и разве не занятно следить, как, обреченный на бесславную гибель, он будет отбиваться от смертельных ударов?

Речь Камышанского криклива и яростна. Она начинается с того, что революционное брожение кончилось и бунтовщики потерпели позорнейший крах. Здоровые элементы страны отпрянули от них. Все увидели, что пресловутая свобода печати есть свобода наглости, бесстыдства и разнузданной лжи. Среди оголтелых литературных подонков нашлись даже такие писаки, которые подняли преступную руку на священную особу государя. И т. д.; и т. д., и т. д.

Камышанский перелистывает мой бедный «Сигнал» и демонстрирует один за другим его «преступные» выпады против «священной особы» царя.

Корней Иванович улыбается, вспоминая свои «грехи» против царя.

— Я всеми нервами чувствую, — продолжает он, — что мое дело пропащее. Грузенберг кажется мне совершенно подавленным. Но это только

кажется. Вот он встает, словно нехотя, и негромким, мечтательным голосом говорит, обращаясь к суду:

— Представьте себе, что я... ну хотя бы вот на этой стене... рисую... предположим, осла. А какой-нибудь прохожий ни с того ни с сего заявляет: «Это прокурор Камышанский». (Неистовый звонок председателя.) Кто оскорбляет прокурора? Я ли, рисуя осла, или тот прохожий, который позволяет себе утверждать, будто в моем простодушном рисунке он видит почему-то (снова звонок председателя) черты... уважаемого судебного деятеля. Дело ясное: конечно, прохожий. То же происходит и здесь. Что делает мой подзащитный? Он рисует осла, дегенерата, идиота, а прокурор Камышанский имеет смелость утверждать всенародно, будто это священная особа его императорского величества, ныне благополучно царствующего государя императора Николая Второго. Пусть он повторит эти слова, и мы будем вынуждены привлечь его, прокурора, к ответственности, применить к нему, к прокурору, грозную сто третью статью, карающую за оскорбление величества!

Вот когда пригодилась Грузенбергу его импозантная, сановитая внешность! Выпятив крахмальную грудь и глядя сверху вниз на прокурора, он допрашивает его, как подсудимого:

— Итак, вы утверждаете, что здесь, на этой карикатуре, изображен государь император? И что в этих издевательских стишках говорится о нем? И вот в этой заметке тоже?

Вопросы сыплются один за другим. И происходит чудо: прокурор Камышанский растерянно мигает подслеповатыми глазками и не отвечает ни слова.

Победа Оскару Осиповичу вполне обеспечена. Сенаторы пересмеиваются: «Молодец, Грузенберг».

Ведь если признать меня виновным, то этим самым признать, что дегенерат, нарисованный в журнале, и есть царь.

Меня оправдали. Вынуждены были оправдать.

Десять и сорок

Есть такая банальная фраза «время течет». Эту фразу мы произносили тридцать лет тому назад, к десятилетию. Повторяем ее и сегодня, когда театру исполнилось сорок лет.

Сорок лет большого и очень талантливого творчества. Сорок лет улыбок и смеха.

Давайте кое-что вспомним.

К десятилетнему юбилею Театра сатиры вышел под моей редакцией сборник «Кажется смешно».

Теперь эта книга библиографическая редкость.

В ней были статьи, фельетоны и стихи Михаила Кольцова, П. Маркова, Д. Заславского, И. Ильфа и Е. Петрова, Г. Рыклина, К. Финна, Л. Никулина, Н. Горчакова, Арго, Л. Кассиля, М. Пустынина.

Рисунки Кукрыниксов, Ю. Ганфа, Л. Бродаты, К. Ротова, А. Каневского.

Воспоминания актеров — П. Поля, Вл. Хенкина, Дм. Кара-Дмитриева, Е. Милютиной, Ф. Курихина, И. Зенина, Я. Рудина.

У меня сохранились кое-какие отрывочные записи этих воспоминаний.

Но прежде чем окунуться в воспоминания, хочется вместе с читателями, вместе со зрителями, вместе с друзьями Театра сатиры порадоваться новым талантливым именам, которые сегодня, когда театру уже свыше сорока лет, засверкали на подмостках театра — Папанов, Менглет, Солюс, Васильева и ряд других. Надо сегодня отметить и некоторых «стариков», которые от десятилетия пришли к сорока, — Токарская, Данилова, Димант, Иванов, Козубский, Тусузов, Беяева, Пельтцер.

А теперь позвольте раскрыть свои старые записные книжки.

Будь человеком, Федя

— В дни моей молодости, — рассказал мне Федор Курихин, — я работал в одном из столичных театров миниатюр.

Был бенефис премьеры труппы. Я получил маленькую, почти бессловесную роль в очень смешном водевиле, где на сцене были два плана: около купальни и в самой купальне.

Около купальни происходят и завязка и развязка водевиля, а я должен был сидеть все время в купальне и в конце, перед самым занавесом, нырнуть в воду и исчезнуть.

Перед самым спектаклем бенефициант умоляюще сказал мне:

— Слушай, Федя! Будь человеком. Не срывай всякими штуками водевиля! Не играй, а сиди. Сделай вид, что тебя нет на сцене. Даешь слово?

— Даю, Вася.

Подняли занавес. Слева на сцене, разделенной пополам, завязка водевиля. А я сижу на правой половине, отделенной высокой стенкой купальни, сижу как идиот, в купальном костюме, и смотрю по сторонам.

В публике начались смешки.

— Не будь хамом, Федя, — слышу я сдавленный шепот бенефицианта, — не привлекай внимания. Не сиди как кирпич.

Я почувствовал себя виноватым и лег на скамейку.

Смешки стали сильнее.

— Встаньте, — прошипел из-за задника режиссер, — не срывайте действия.

Я сразу приподнялся и сел.

Смешки превратились в хохот.

Положение у меня становилось безвыходным. Публике определенно было интереснее смотреть на то, что будет со мной, чем на героев водевиля.

«Хорошо, — подумал я, — буду опять сидеть как истукан. Пусть успокоятся».

Вдруг в этот момент на сцене из-за кулис появляется наша театральная кошка. Спасибо. Она дело-

вито прошла по авансцене, потом повернулась, подошла ко мне, прыгнула на скамейку и стала меланхолически смотреть в ту же сторону, куда и я.

Зал начал грохотать. . .

— Убери кошку, скотина! — прорычал бенефициант.

Схватить кошку и уйти с нею со сцены — значит, еще больше развлечь зрителя. Я осторожно взял ее на руки и, думая, что это пройдет незаметно, спихнул ее в люк.

Может быть, этот факт и действительно прошел бы незаметно, но, на мое несчастье, внизу, под сценой, сидел театральный рабочий, державший лестницу. Когда на него внезапно упала сверху кошка, он инстинктивно схватил ее и бросил обратно вверх. Кошка взвилась снизу и упала ко мне на колени, свалив меня со скамейки.

Больше ничего уже не было. Ничего, кроме какого-то визга и хрипа из зала.

— Уйди со сцены, мерзавец! — донесся до меня голос бенефицианта.

Я решил махнуть рукой на все. Все равно, мне нужно было нырнуть в конце концов.

Нырну немного раньше.

Я стал спускаться в люк, как будто бы сходить в воду. И тут началось самое страшное. Рабочий внизу, очевидно обидевшись за случай с кошкой, убрал лестницу и ушел. Я повис на руках. Туловище и ноги внизу, а голова моя болтается почти на уровне пола.

Смех в зале превратился в вой.

— Ныряй! — уже закричал бенефициант, ворвавшись из-за перегородки в мою половину. — Ныряй, животное!

— Не могу, Вася, — жалобно пролепетал я, стараясь удержаться, чтоб не упасть.

Он с омерзением протянул мне руку. Я уцепился за нее и вылез. Продолжать водевиль было нельзя. Дали занавес. Вызывали только меня. Бенефициант стоял за кулисами и шептал в религиозном экстазе:

— Господи! Господи, дай этому сукину сыну, чтоб он сломал себе шею.

Потом вся труппа поехала ужинать. Угощал бенефициант. Меня не позвали. Я одиноко пошел домой, виновато вздыхая.

Кривой Джимми. . .

Артист Я. Рудин набросал в моей записной книжке такой эпизод из своей биографии.

Молодой, никому не известный актер приехал в Москву в поисках работы. И вот. . .

— Однажды днем я сидел в саду «Эрмитаж» на скамейке и читал монолог Чацкого. Я так увлекся, что не заметил, как рядом сел какой-то человек. Когда я дошел до фразы «Вон из Москвы, сюда я больше не ездук», мой сосед хлопнул меня по плечу и сказал: «Правильно».

— Что правильно?

— Что вон из Москвы и сюда больше не ездук. Уж больно много всякого народа наехало.

— Я не всякий. Я артист, — обиделся я.

— Теперь все артисты. А играть некому.

— Было бы что, я б сыграл.

— А вы в этом уверены?

— Уверен.

— Ну что ж, попробуем.

— А вы-то кто, чтоб меня пробовать?

— Я владелец театра «Кривой Джимми». Согласны?

Невольно смущенный этим необычайным приглашением и кривизной Джимми, но, соблазненный возможностью служить в Москве, я согласился.

В это время к нам подошел человек.

— Вот познакомьтесь, — сказал мой новый директор, — это наш режиссер, а это наш новый артист, только что взял.

— Зачем? — спросил режиссер.

— Как зачем? Играть будет.

— Нет, не будет.

— Но я его уже взял.

— Ну, тогда пусть валяется.

Угрозы режиссера «пусть валяется» оправдались. Через несколько месяцев я перестал «валяться» иносказательно и стал валяться буквально, получив роль пьяного.

Театр «Кривой Джимми» был театром синтетическим, актерам приходилось не только играть, но и петь, и танцевать, и даже быть акробатами. В этом отношении труппа была на высоте. Все умели всё. Мои прежние увлечения музыкой, пением и танцами мне очень помогали. Однажды, «прирабатывая» в каком-то концерте, я встретился со своим директором. Я так мало выступал в своем театре, что он меня не узнал.

— Послушайте, молодой человек, — сказал он мне, — хотите служить у меня в театре? Вы мне нравитесь.

— А сколько жалованья?

— А сколько вы хотите?

Я назвал сумму в три раза большую, чем я у него получал.

— Пожалуйста, приходите ко мне завтра в контору, мы все оформим.

С большим волнением на другой день я входил к нему в кабинет, боясь кого-нибудь встретить, кто мог бы рассказать, что я у него уже давно служу.

Новое жалованье привело к новым ролям. Я перестал «валяться».

Лепко и Кац

В Театре сатиры служил пожарником пожилой дядя по фамилии Кац, человек, страстно любящий театральное искусство и актеров.

В особенности ему люб и дорог Владимир Лепко. Вот это настоящий актер — умеет пошутить, посмеяться, представить что-нибудь забавное. А как он смешно чихает!

Однажды поздно вечером после спектакля вышел

Кац из театра вместе с Лепко. Небо было чистое, звездное. Лепко залюбовался Большой Медведицей.

— Чем вы так заинтересовались, Володя? — спросил его пожарник.

— Большой Медведицей.

Кац весело рассмеялся:

— Ну и шутник же вы, Володя! Не можете без этого. Какие такие медведицы водятся на небе?

Лепко начал божиться, что сейчас он не шутит. Он прочел Кацу целую лекцию о звездах, о Большой Медведице, о Млечном Пути, о Венере...

Пожарник стал серьезным. Он поверил Лепко. Но вера эта продолжалась недолго. Потому что Володя (вот озорник!) вдруг сказал такую чепуху: земля, мол, вертится.

— Хватит, Володя! Нельзя так насмеяться над простым пожарником. Земля вертится! Ой!

И Кац схватился за живот — его разбирал смех.

Лепко потерял всякое терпение. Он начал ругаться.

И вот тут-то Кац опять стал серьезным. Он внимательно слушал Лепко. А тот говорил, говорил, объяснял, разъяснял. В конце концов Лепко почувствовал, что слова его не пропали даром. Кажется, Кац более не сомневается в том, что земля все-таки вертится.

— Да, вы правы, Володя, — задумчиво промолвил пожарник. — Я с вами вполне согласен: пуццай она вертится.

На углу, когда они прощались, чтоб разойтись по домам, просветленный Кац крепко пожал Лепко руку:

— Спасибо, Володя. От вас всегда что-нибудь новенькое услышишь...

Он хорошо улыбался

Константин Павлович Ротов...

В кругу друзей и товарищей по работе он был более известен под другим именем — Костя Ротов.

Его почитатели (а их тысячи) тоже называли его ласкательным именем Костя. Хотя многие из них не были с ним лично знакомы. Хотя не знали его в лицо.

— Видел последнюю карикатуру Кости Ротова?

— Смешно рисует Костя Ротов!

— Талантливый парень Костя Ротов!

В это время знаменитый советский художник-карикатурист Константин Павлович Ротов сидел за столом дома или в редакции и рисовал. Рисовал и улыбался.

Он всегда рисовал.

И всегда улыбался. Но по-разному.

Улыбка зависела от характера рисунка.

Если это шутка, дружеский шарж, юмористическая зарисовка — Ротов смотрел на мир мягко, с хитринкой, по-детски. Глаза его искрились доброй, лукавой улыбкой.

Но вдруг гасли огоньки в глазах художника. На лице возникала другая улыбка — жесткая, сердитая, ехидная. Значит, вот-вот из-под его всегда боевого, всегда острого карандаша появится злой, гневный сатирический рисунок.

А это что такое? И не шарж и не карикатура. Станный рисунок, необычный для творчества Ротова.

Это бланк санатория и медицинская справка. В чем дело? Почему карикатурист занялся такой работой?

Дело было в Сочи. В приморском санатории, где отдыхала группа крокодильцев. Завтра сюда должен приехать еще один наш товарищ — Борис Григорьевич. Надо его встретить шуткой. Надо его разыграть.

Если надо, так надо! В таких проказах Костя Ротов никому не уступит первого места. Он сидит весь день (даже не пошел на пляж), весь вечер (не пошел

на прогулку) — готовит всякого рода справки и документы, чтобы разыграть Бориса Григорьевича.

Делал он это с восторгом, с увлечением. Так Ротов делал все, так он жил и работал. И надо было посмотреть на него, когда шутка удавалась. Он радовался, как шалун мальчишка.

Вспоминается еще такой случай. На даче, где жил Ротов, был маленький огород. Вместе с другими дачниками-соседями Ротов приобрел рассаду каких-то необыкновенных помидоров. Вскоре на грядках зазеленели помидоры. Но... время шло, а краснеть они и не думали: лето выдалось прохладное, пасмурное.

Однажды на рассвете, когда все соседи еще спали спокойным дачным сном, Ротов с краской и кисточкой забрался в свой маленький огород и (при этом, конечно, лукаво улыбаясь) нежно покрасил щечки помидоров.

Утром у соседей переполох. У Ротова помидоры покраснели, а у нас нет!!! Ротов от души веселился.

Мы привели эти эпизоды потому, что они показывают характер Ротова, его жизнерадостность, его настроение, всегда доброе, веселое.

Он любил жизнь. А поэтому любил смех.

Он любил людей. А поэтому хотел, чтобы люди смеялись. Он был автором многих смешных рисунков, безобидных, чисто юмористических.

Это был смех не ради смеха. А смех ради людей. Чтоб жизнь человека была краше. Чтоб работа ему была милей.

Так и только так надо относиться к юмористическим произведениям Ротова.

В трамвае. Какой-то нагловатый гражданин, чтоб не упасть при вагонных толчках, держится за чью-то бороду.

— Гражданин, вы ведь за мою бороду держитесь.

— Пустяки! Я через три остановки выхожу!

Здесь нет глубокой мысли. Просто смешная шутка. Очередная улыбка Ротова. Но все же...

Нам кажется все же, что и в этой как будто безобидной шутке спрятана острая шпилька против тех нахальных субъектов, которые ради собственной вы-

годы, ради собственного благополучия готовы схватить вас за бороду, за душу, за сердце.

Вы, конечно, знаете Муру. Это девица со стандартной прической, стандартной речью, стандартными мозгами.

Ее не мог не заметить Ротов. Вот она стоит у дверей парикмахерской с молодым человеком. Он явно влюблен в Муру. И она отвечает ему:

— Подождите меня здесь. Я скоро выйду.

Он, конечно, дождался. И вот второй рисунок. Из парикмахерской выходят четыре девицы. Все одинаково одеты. Все одинаково причесаны. Все одинаково разговаривают.

Молодой человек растерян:

— Простите, которая из вас Мура?

Это юмор. Но тут же элементы сатиры. Ротов — по натуре юморист. Он любит рисунок-шутку. Но при его темпераменте, при его общественной жилке ему порой трудно удержаться, чтобы не превратить свою юмористическую улыбку в ироническую и саркастическую.

Отец с сынишкой в зоопарке. В клетке — обезьяна. Как будто юмористический рисунок.

Отец объясняет мальчику:

— Это шимпанзе. Он наш близкий родственник.

Юмореска, не правда ли? Шутка — и больше ничего. Но под рукой Ротова маленькая шутка превращается в фельетон. Мальчик спрашивает у отца:

— Почему же ты не устроил его у себя на службе?

Посмотрите внимательно на рисунок. Особенно — на папашу. Да, скажете вы, этот обязательно построит «родного человечка», будь он даже шимпанзе. Гротеск? Да. Но в этом жанре допустимы гротески, преувеличения, сгущение красок.

Говоря о творчестве Ротова, вспоминая весь его жизненный путь, нельзя не отметить одну характерную черту. Он любил и умел рисовать положительные явления нашей действительности. И тут опять сказывается его большая любовь к советскому человеку, к нашей социалистической родине.

Не могу поэтому умолчать о таком типичном для Ротова рисунке, как «Папанин вышел на улицу купить папирос». Дело не в Папанине и папиросах, а в том, что в ту пору Советская страна была взволнована героической зимовкой папанинцев. Как это показал художник? Табачный киоск. К нему приближается Папанин. А в это время люди заперудили вокруг все улицы и переулки. Некоторые влезли на деревья, на фонарные столбы, на крыши. Все приветствуют героя.

Это один из самых лучших массовых и вместе с тем лирических рисунков Ротова. Не ошибусь, если скажу, что именно Ротов является у нас родоначальником массовых рисунков, в которых показано большое множество людей. При этом он иногда (опять-таки лукаво улыбаясь) «баловался» и некоторым людям придавал черты знакомых и товарищей — даже автор этих строк не раз фигурировал в «толпе», нарисованной Ротовым.

И писатель и художник должны жить жизнью народа, вместе с ним радоваться и печалиться. В этом отношении Константин Ротов показывал пример другим мастерам. Он живо откликался на все события нашей действительности теплыми, сердечными, лирическими рисунками.

В стране — большой размах жилищного строительства. И сразу появляется рисунок «Старое в новом». Многоэтажный дом. На верхнем этаже старушка. А внизу пожарная каланча, которая намного ниже дома. Пожарник кричит старушке:

— Эй, бабушка! Глянь-ка кругом, не горит ли где чего?

Из очередного рейса в космос на ракете возвращается собачка. Все звери и птицы в лесу радостно приветствуют ее, пляшут, аплодируют, подносят цветы.

Мы должны сказать и о другой улыбке Ротова — о сатирической.

Тут самая разнообразная тематика. Всего не перечить. Одно можно сказать с полной уверенностью: не было такого вопроса, не было такой проблемы,

мимо которых прошел бы равнодушно Ротов. Он не был равнодушным гражданином нашей страны, он был бойцом. Он боролся силой острого оружия, оружием смеха.

Вот типичный ухажер, пошляк, негодяй, «искатель крепких брачных уз». На бульварной скамейке он делится своими «горестями» с приятелем:

— Понимаешь, разговорились с женой, то да се, оказывается, мы уже были в позапрошлом году женаты.

А как не взять под обстрел подхалимов? «Первый выезд начальника на лыжах». Подхалимы подчиненные приготовили шубу, вино, закуску, подпиливают елочки на пути начальника.

И другой рисунок на эту же тему. Подхалим держит в руках новенький костюм, шляпу, галстук и приказывает сторожу бахчи или огорода:

— Одень пугало поприличней: начальство приезжает!

Много рисунков посвящено вопросам искусства, архитектуры. Очень метко высмеяны скульптурные чучела, дома, похожие на торт, и аляповатые коврики.

Карандаш художника заострен против мещан, против всяких идеологических вывихов.

Юный бездельник и пустомеля обращается к гадалке:

— Погадай, бабушка, за какие такие пережитки меня не хотят принимать в комсомол?

По-своему, по-ротовски решал он и большие экономические вопросы.

Совнархозы и причуды местничества. Несколько бюрократов гоняются по полю за зайцами и ставят на них печати: «Н-ской области». Тут же плакат: «В чужие области не забегать».

Незабываема улыбка Ротова!

Не карандашом и не пером...

В комнату, где сейчас бурлит редакционное совещание, входит Иван Иванович Скворцов-Степанов, редактор «Известий». В руках у него несколько читательских писем.

— Лариса Михайловна здесь? — спрашивает Иван Иванович.

Это наша Лариса Рейснер! Талантливая Лариса Рейснер! Любимица всей редакции Лариса Рейснер! Красавица Лариса Рейснер!

— Нет ее? Жаль. Вот все эти письма касаются ее последних очерков. Хвалят, благодарят. Читатель любит Ларису Рейснер. Но есть письма и с критическими замечаниями. Один читатель пишет, что ее фраза «Колеса автомобиля — это катушки, на которые намотано пространство» уж слишком изысканно и «отдает красотой». Но это, по-моему, дело вкуса. А вот другие письма, против которых трудно что-нибудь возразить. В очерке Ларисы Михайловны сказано про одного молодого человека: «... у него были воровские, цыганские глаза». Я получил несколько писем от оседлых цыган. Они протестуют против этой фразы. Она оскорбляет всех цыган поголовно. Конечно, они правы. Оскорблять целую нацию — это недопустимо. Обратите внимание, товарищи, как выросло чувство собственного достоинства у советских людей. И нельзя пройти мимо такого явления — цыгане газеты читают, пишут в газету. Вот чем ценны эти письма! Разве при старом режиме что-нибудь подобное возможно было? Ей-ей, это тема для нового очерка... Кстати, недавно в редакцию поступила заметка от работницы «Шарикоподшипника» Полины Мартыновой. Она цыганка. Пишет о своей новой жизни. Заметка озаглавлена «Цыганка перестала гадать».

Не прошло и получаса, как Лариса Михайловна уже была в редакции.

— Вы были на летучке? — спросила она меня,

сильно волнуясь. — Здорово меня проработали, а? Очень и очень неприятно.

Ее молодое красивое лицо омрачилось.

— Да, я виновата. Нас, журналистов, часто заедает шаблон. В ход пускаем старые, стертые фразы. Вот и я попала с этими «воровскими, цыганскими глазами». Мне, ей-ей, стыдно. Сейчас пойду к Ивану Ивановичу объясняться, каяться и торжественно обещать, что я исправлюсь на практической работе. Эти слова я ему, конечно, не скажу — нельзя шаблоном бить по шаблону. Ой, как надо опасаться таких слов!..

Мы часто беседовали с ней о нашем ремесле. Как-то она сказала мне:

— Недавно в отделе писем я случайно прочла дружеский совет рабкору: «Не пишите карандашом, пишите пером». Но рабкору, журналисту, писателю нужен другой совет: «пишите сердцем». Не пишите карандашом, не пишите пером — пишите сердцем.

Вдруг она рассмеялась:

— Извините, пожалуйста, я, кажется, начала изрекать афоризмы. Больше не буду. Вы чем сейчас заняты? Пишите против ханжей и лицемеров, против головотяпов. Могу предложить интересную тему для фельетона. На днях я получила письмо из Ишима на Урале.

Оспопрививательница (какое тяжелое слово!) Лидия Шабурина работала в Петуховской больнице и получала за свою работу 26 рублей 20 копеек в месяц.

За 26 рублей 20 копеек в месяц Шабурина обязана была выполнять следующее:

1. Прививать оспу взрослым и малолетним.
2. Дежурить ночью в больнице.
3. Вежливо обращаться с посетителями больницы.
4. Не беременеть.

Тема? По-моему, хорошая тема. Я бы сама написала, но сейчас занята другими, очень срочными делами. Я вам дам письмо и прочие документы, а вы напишите. Договорились?

Она была добрым товарищем — могла поделиться

с вами удачной фразой, метким образом, хорошей темой.

На другой день я читал Ларисе Михайловне черновой набросок фельетона.

«...Петуховка — большой район. Там много разных советских учреждений. Какие порядки существуют в этих учреждениях — мы не знаем.

Что касается томашнего больничного начальства, то оно все обдумало, взвесило и даже разработало строгий порядок поведения подведомственных ему лиц:

— Пусть в наробразе или, скажем, в земотделе плодятся и размножаются. Нам до этого дела нет. Там сотрудники даже на службу опаздывают. А ежели хочешь у нас служить, то мы таких делов не любим, не уважаем.

Заведующий больницей, поглаживая свою бороду, пускался обычно в такие рассуждения:

— Сегодня сиделка забеременела, завтра — фельдшерица, а послезавтра — я. Кто же будет работать? Кто же будет смотреть за народным здравоохранением в районе?

Но Лидия Шабурина, оспопрививательница, нарушила волю начальства. Прививала оспу она неплохо. Несла дежурства аккуратно. С посетителями обращалась вежливо. Но в смысле беременности — не выдержала характера. Более того — она пошла наперекор инструкциям и предписаниям.

Ясное дело, что такое невнимательное отношение к своим обязанностям вызвало недовольство начальствующих лиц.

Они, то есть начальствующие лица, пригласили преступницу к себе и строго-настрого приказали:

— Прекратить эти безобразия!

Но Шабурина, хотя она и оспопрививательница, все же не догадалась, как сие понимать следует.

Начальствующее лицо расшифровало:

— Сделайте аборт! Срочно! И без возражений! К исполнению и руководству!

— Уже поздно, — виновато ответила Шабурина. — Я на пятом месяце.

— Как?! И никто недоглядел! Никто нам не доложил! Разве можно с таким аппаратом работать? Всех уволю!

— Что же мне делать? — смущенно лепетала виновница.

— Аборт, аборт и еще раз аборт! В противном случае будете уволены!

И ее уволили. За то, что осмеливается рожать без разрешения начальства. . .»

— И грустно, и смешно, — сказала Лариса Михайловна. — Но надо вам добавить в фельетон больше гнева. Чтоб было не карандашом и не пером, а сердцем. А как вы думаете назвать фельетон?

— Еще не знаю.

— Назовите — «Без разрешения начальства».

Я так и сделал.

Шутки ради

В «Сатириконе» был напечатан дружеский шарж Ре-ми на Алексея Николаевича Толстого. Под рисунком — подпись:

«Алексей Николаевич Толстой. От Алексея Константиновича Толстого отличается отчеством. От Льва Николаевича Толстого — именем. От Тургенева — именем, отчеством и фамилией».

Смешно. Громче всех смеялся сам Алексей Николаевич. Он понимал шутку. Он любил шутку, даже если она злая, даже если она стреляла в него. Он высоко ценил эпиграмму. Он хвалил направленную против него пародию, если она остроумна.

Пусть серые мещане, сухие чиновники, дутые сновники, ни на что не годные бездарности обижаются на любой критический намек, на шарж, на сатирическую улыбку против своей особы. Умный человек, талантливый человек никогда не осудит веселого автора шаржа или эпиграммы.

Алексей Николаевич любил показывать друзьям и знакомым шарж Ре-ми и вслух читать подпись под шаржем. Он был доволен, а это почти всегда сопровождалось его любимым жестом — проводил ладонью по лицу, словно умывался.

Как-то раз на репетиции своей пьесы в Театре сатиры (я присутствовал в качестве заведующего литературной частью театра) Алексей Николаевич сказал мне:

— Послушайте, я вам расскажу очень смешной анекдот. Анекдот про себя.

Он рассказал мне анекдот, который мне был известен уже дней десять.

Дело в следующем. В том году киносценаристов малость обидели: отменили авторские. А у А. Н. Толстого в это время вышли в свет два фильма. И он, конечно, как говорится, «погорел».

На темном заседании в «Крокодиле» автор многих и многих остроумных тем художник Ю. А. Ганф

(ныне народный художник РСФСР) предложил шутки ради (разумеется, не для печати) смешную тему. А. Н. Толстой говорит: «После отмены крепостного права — это второй удар по нашей фамилии».

Мы посмеялись и разошлись. Но кто-то успел в тот же день рассказать Алексею Николаевичу об анекдоте, который сочинил Ганф. Вот о чем поведал мне Алексей Николаевич.

Выслушав его, я сообщил ему, как появился этот анекдот и кто его автор.

— Ганф? — воскликнул он. — Вот молодец! Передайте ему мой привет! Здорово он придумал! Люблю остроумных людей! Когда есть такие люди, веселее жить. . .

Неизвестный писатель Настроев

Думаю, что фамилия этого писателя ничего не говорит ни вашему уму, ни сердцу.

— Настроев. . . Кто такой Настроев? . . . Что он написал? . . .

Конечно, вы хорошо знаете художников Кукрыниксы. Конечно, вы любите их талантливые рисунки.

Но вы ни в малейшей степени не подозреваете, что Настроев это тоже Кукрыниксы. (Нас трое.) И что сей Настроев единственный раз в жизни фигурирует как писатель.

Дело было так: однажды приходят ко мне в редакцию Порфирий Крылов, Михаил Куприянов, Николай Соколов (то есть Кукрыниксы) и смеясь рассказывают о своей вчерашней ночной поездке в такси. О том, как они мирно разговаривали между собой, но насмерть перепугали шофера, и тот с криком выскочил из машины и привел милиционера.

Дело было двадцать лет тому назад, но до сих пор мы вместе с Кукрыниксами весело смеемся, вспоминая этот эпизод.

Тогда же я предложил Кукрыниксам написать об этом для «Крокодила». Они долго отказывались.

— Напишите вы сами, мы же не умеем. . . В крайнем случае помогите нам. Согласны?

И вот появилось на свет небольшое литературное произведение под названием «Опасные пассажиры» за подписью Настроева.

Вот оно:

«В первом часу ночи в такси сели трое мужчин.

Они несколько минут молча курили. Наконец один из них негромко произнес:

— Да, все-таки много нервов требует это занятие. . .

— Коля, — сказал после некоторой паузы другой, — а Федотыча-то мы зря зарезали, зря. . .

— Н-да. . . это все наш друг виноват.

— Нет, с таким «другом» невозможно работать!

Смотрите, скольких он сегодня угробил: Ворохова, сестер Лиловатых и даже того старика с периферии не пощадил!

— Старика разве тоже зарезали?

— И как! Мгновенно! Я лично стал за то, чтобы его обязательно повесили.

— Ну, конечно, его надо было повесить. Да и одну из сестер Лиловатых вполне можно было бы повесить тоже. Повесили же их земляка, а вещи отобрали у него плохие.

— Во всяком случае, Синькин-то мог бы висеть рядом с Павлацовым. Вполне заслужил.

— Да, если так подряд будем резать, то и вешать некого будет.

— А в конце концов когда-нибудь нам отвечать придется...

— Я рад, что хоть у того светловолосого, забыл его фамилию, отобрали много вещей. И все прекрасные вещи!

— Подождите. Завтра его еще зарежут.

— А это мы посмотрим, я буду за него драться.

— Не поможет.

— А в общем сегодня мы кучу хороших вещей отобрали!..

А машина, в течение всего этого разговора почему-то прибавлявшая все время скорость, вдруг резко затормозила и остановилась, как на краю пропасти.

Через секунду с улицы послышался истошный голос шофера, неизвестно когда успевшего покинуть остановившуюся машину:

— Товарищ милиционер! Держите их! Вешали, грабили, резали! Держите!..

В следующее мгновение пассажиры сидели с поднятыми вверх руками.

— Там разберемся, — говорил взволнованно милиционер, ведя пассажиров в отделение милиции.

Были предъявлены паспорта. На них дежурный прочитал фамилии известных художников.

— А дело было так, товарищ дежурный, — начал объяснение пассажир помоложе. — Мы как члены

жюри художественной выставки отбирали и развешивали сегодня картины на выставке. Заседание было очень бурным. Нам пришлось поволноваться. Вот мы и переживали все это в машине. А шофер, видимо, не так нас понял. . .»

Здесь ничего выдуманного нет. Деловой профессиональный разговор художников («зарезали», «повесили») шофер принял за чистую монету.

Ему нравятся веселые люди

У нас в гостях Михаил Михайлович Зощенко. Разговариваем, пьем чай.

Смущенно улыбаясь, он говорит мне и моей жене:

— Хотите послушать? Расскажу кое-какие эпизоды из моей скромной биографии. Если будет скучно... скажите... И мы поговорим о чем-нибудь другом... Более интересном... Согласны?

И Зощенко начал не спеша рассказывать... о своих любовных приключениях. Короткие рассказы. Победы и поражения. Наступления и отступления. Очень смешно, и порою грустно.

Он легонько заикается. Скупые улыбки. Небольшие паузы — пьет чай и вертит ложечкой, что-то припоминая.

Он говорил почти два часа. И все одно и то же: любовь, измена, ревность. И главным героем всех этих событий был он — Михаил Зощенко.

Когда он ушел от нас, мы с женой долго не могли опомниться от изумления. Почему он посвящал нас в свои весьма интимные, не всегда скромные похождения?

Ответ на этот вопрос мы получили года через полтора, когда вышла книга М. Зощенко «Перед заходом солнца».

В книге были те самые рассказы, которыми Михаил Михайлович угощал нас за чашкой чая. Он на нас проверял эти новеллы.

У него были грустные глаза. Веселый человек с грустными глазами. Любил шутку, розыгрыши, смешные истории. Очень редко громко смеялся. Но часто улыбался — мило, задушевно, дружески.

Как-то раз он мне сказал:

— Мне нравятся веселые люди. Нравятся сияющие глаза, звонкий смех, громкий говор, крики. Я чего-то разлюбил эту самую поэзию, где грусть, и печаль, и разные вздохи, и разные тому подобные меланхолические восклицания вроде: о, эх, ну, чу, боже мой и так далее.

Я сразу заподозрил какой-то подвох. Уж слишком гладко он говорит. Как будто читает заученный рассказ. Нет пауз. Нет легкого зощенского заикания.

Я говорю ему:

— Михаил Михайлович, вы бы написали об этом.

— О чем?

— О том, что вам не нравятся грусть и печаль.

— Уже.

— Что уже?

— Написал.

И он, улыбаясь, вынимает из кармана рукопись рассказа «Грустные глаза».

Рассказ начинается так:

«Мне нравятся веселые люди. Нравятся сияющие глаза, звонкий смех, громкий говор, крики. . .

Мне даже смешновато делается, когда хвалят что-нибудь грустное или, например, говорят при виде какой-нибудь женщины:

— Ах, у нее, знаете, такие прекрасные грустные глаза».

Дальше речь идет о том, что некто знакомый автора женился по любви: у красоточки были грустные глаза, и он не устоял перед ними. А потом оказалось, что у красотки легочный процесс, отсюда и грусть.

В конце рассказа:

«Сочувственно гляжу на тех прохожих, у кого грустные глаза. Надо лечиться».

В гостях у Смирнова-Сокольского

«Северные цветы», издаваемые Дельвигом. «Невский альманах», «Полярная звезда» Бестужева и Рылеева, «Полярная звезда» Герцена.

Тут же рядом сборники и альманахи, издаваемые Некрасовым, — «Первое апреля», «Физиология Петербурга», «Иллюстрированный альманах», «Петербургский сборник».

А вот и старые театральные альманахи — «Русская Талия» и другие, альманахи поэтов-радищевцев.

Глаза разбегаются. Находишься в полном смятении. Не знаешь, за какую книгу взяться. И эту хочется перелистать, и ту хочется посмотреть, а в той обязательно надо прочитать предисловие. Что делать?

Вдруг бросаешь альманахи и устремляешься к журналам. Каких только здесь нет журналов! Восемнадцатый век. Деятнадцатый век.

Все новиковские сатирические журналы — «Живописец», «Трутень», «Кошелек» и так далее.

Журнал «Всякая всячина», выходивший под редакцией императрицы Екатерины. Журналы «И то, и сию» и «Ни то, ни сию». Все журналы, изданные И. А. Крыловым, — «Почта духов», «Зритель» и другие.

А вот первый провинциальный журнал — «Уединенный пошехонец», печатавшийся в Ярославле. Тут же рядом — «Журнал для милых» и «Российский феатр», «Московский телеграф» Н. Полевского, «Телескоп» Надеждина — журнал, в приложении к которому — «Молве» — Белинский напечатал свои «Литературные мечтания».

Альманахи, сборники, журналы, книги... Где я?

Я в гостях у Николая Павловича Смирнова-Сокольского.

Николай Павлович пригласил меня посмотреть свою редкостную библиотеку.

Он не только видный артист советской эстрады. Он библиофил. Собиратель книг. Человек, который страстно любит книгу, любит и понимает.

Я бывал у Демьяна Бедного. Я видел его знаменитую библиотеку. Но я не ошибусь, если скажу, что книжная сокровищница Смирнова-Сокольского богаче, разнообразней, уникальней. Особенно по части альманахов и сборников. Да и сам Демьян это признавал.

— «Старая книга»! Не все понимают, — говорит Николай Павлович, — какой большой смысл заложен в эти два слова.

Меня часто спрашивают: «А зачем вам Пушкин непременно в первом прижизненном издании? Разве нельзя прочитать «Евгения Онегина» в издании Гиза?»

Что можно на это ответить? Пушкина можно и нужно читать, конечно, в любом издании. И, может быть, в последнем гизовском его прочитать даже полезней. В нем есть интересные, содержательные предисловия, умные примечания, великолепные иногда иллюстрации. Кроме того, выверен текст, внесены строчки, зачеркнутые или изуродованные цензурой. Все это верно!

Но люди любопытны и любознательны. Многих из них — в том числе, я уверен, и вас — интересует, каким именно впервые тот же «Евгений Онегин» предстал перед глазами читателя. Интересует, что именно не пропустила цензура, интересует постепенная, из издания в издание, эволюция каждой буквы, каждой запятой.

Пушкин в своих первых прижизненных изданиях поражает своей суровой ясностью и простотой. «Онегин» первого издания, в этих скромных на вид маленьких тетрадочках-главах, в этих простых и таких милых обложках, иногда может совершенно по-новому быть прочитанным вами. Как-то вот между вами, читателем, и гениальным создателем этого произведения ничто не стоит. Ничто не мешает, не отвлекает. Ни рисунки, ни примечания, ни предисловия. Вот просто — слово Пушкина и вы, его читатель. Доказать это трудно. Тут немножечко, может быть, от поэзии, но ведь и «Евгений Онегин» — не проза. . .

Я не знаю человека, который оставался бы равно-

душным, держа в руках какое-нибудь изделие русского печатного станка XVII, XVIII или XIX веков. Наиболее скептически настроенные, которым я давал полистать, скажем, «Притчи Эзоповы» 1700 года, напечатанные в Амстердаме собственным типографщиком Петра Первого — Иоганном Тессингом, или комплект петровских «Ведомостей» 1703 года, первой русской печатной газеты, — даже эти люди быстро убирали иронические улыбки.

Владимир Маяковский, громогласно провозглашавший, что он «ненавидит всяческую мертвечину, обожает всяческую жизнь», подтрунивавший над моим собирательским азартом, называвший меня «старьевщиком», «шурум-бурумщиком», в тех случаях, когда сам дорывался до моих полок с книгами, забывал о присутствующих и, окутав себя облаком табачного дыма, буквально уходил в книги. Спросишь, бывало:

— Владимир Владимирович! А как же ваши «старьевщик», «шурум-бурумщик»?

Он лукаво улыбался. Вы, конечно, помните, как он умел это делать.

— Да ведь я же был убежден, что у вас, чертей-библиофилов, книги-то неразрезанные! А вы, оказывается, еще и читаете. . .

Мы слушаем Утесова

Выступает Леонид Осипович Утесов.

Сцена — та очаровательная часть нашей планеты, которая прилегает к даче Корнея Ивановича Чуковского в Переделкине, под Москвой.

Публика: Чуковский, Райкин, поэт Николай Доризо, Нариньяни с женой, я с женой.

Артист, как всегда, пользуется большим успехом. Особенно любовно смотрит на него Корней Иванович, большой ценитель прекрасного, страстный любитель смешного.

Утесов рассказывает... Ей-ей, неважно что он рассказывает. Все талантливо, художественно, смешно.

Попробуйте поведать ему какую-нибудь самую незначительную историю, мелкий случай, не очень смешной. Тут же Леонид Осипович перескажет вам эту самую историю. И это уже не мелочь, не пустяк. Это уже юмореска. Вы от души смеетесь. Удивляетесь и смеетесь.

Сейчас он рассказывает о своей недавней поездке в родную Одессу.

— Приехал я утром. Боже мой, как меня встретили: цветы, объятия, рукопожатия! «Лёдя приехал!» Меня в Одессе зовут Лёдей. Не Леней, а Лёдей.

А вечером — мой концерт. Зал переполнен. Гром аплодисментов. Крики «бис». Опять цветы, опять объятия и рукопожатия. Грандиозный успех.

Кончился концерт, сажусь в машину и еду в гостиницу. Еду и думаю — сейчас приму ванну, потом выпью рюмку водки и закушу балыком. А затем разденусь и лягу в постель.

Чудесно! Чудесно! Буду лежать и переживать свой успех. Вдруг...

Вдруг перед машиной как из-под земли выросла какая-то женщина. Она растопырила руки и не своим голосом крикнула шоферу: «Остановись!»

Машина стала. Женщина рванула дверцу машины. И с бешеным криком обратилась ко мне:

— Вы — Утесов?

— Да. В чем дело?

Женщина закричала мальчику, который бежал тут же невдалеке:

— Яша! Яша! Скорей сюда. Это — Утесов. Скорей же! Яша! Яша! Быстрее! Иди посмотри на живого Утесова. Ведь пока ты вырастешь, он уже умрет. Скорей сюда, Яша!

Мне уже не захотелось, — заканчивает Утесов свой рассказ, — ни водки, ни балыка, ни думать о моем успехе. Я сказал ей «дура!» и быстро захлопнул дверцу машины. . .

Леонида Осиповича, а также моих читателей прошу извинить меня: я не мог передать и десятой доли всей прелести этой маленькой изящной новеллы Леонида Утесова.

Через минуту-другую он уже «играет» другую сценку, он уже рассказывает новую смешную историю, новый анекдот. Анекдот, может быть, и старый, но в устах Утесова он всегда звучит как новый.

Тут же он прочтет свою свежую стихотворную эпиграмму на известного вам писателя или артиста.

Мы смеемся. Глядя на нас, улыбается Леонид Осипович.

Он любит смешить и любит сам смеяться.

Но однажды я видел его в таком состоянии, когда ему было не до смеха. Он плакал.

1965 год. Семидесятилетие Леонида Осиповича. Огромный зал Театра эстрады переполнен.

На сцену подымается министр культуры Екатерина Алексеевна Фурцева. Мы все взволнованы. В руках у нее какой-то документ. О чем там?

Екатерина Алексеевна читает. Хорошо читает. Прекрасно читает. Я давно не слышал такого чудесного, такого взволнованного, такого поэтического чтения.

Она читает Указ правительства. Леониду Осиповичу Утесову — вот он стоит на сцене слегка побледневший. . . Леониду Осиповичу Утесову присваи-

вается высокое звание народного артиста Советского Союза! Овация. Зал гремит. Крики «ура!».

На глазах юбиляра слезы. Не странно ли — Утесов плачет?

И невольно приходит на ум старая стихотворная строка: «Эх, приятель, и ты, видно, горе видал, коли плачешь от песни веселой».

Я вижу слезы и на глазах многих друзей Леонида Осиповича. Ну, чего они? А? Удивляюсь мужчинам — здоровым, крепким, жизнерадостным, — почему их глаза вдруг оказались на мокром месте?

Но больше всего удивляюсь самому себе. . .

Пародия экспромтом

В «Магдалине» Александра Жарова имеются такие строки:

И вот
Мне снится, снится
В тиши больших ночей
Лицо святой блудницы,
Любовницы моей...

С жаровской Магдалиной у меня связано одно воспоминание, которому хочу посвятить здесь несколько строк.

Был в Политехническом музее вечер поэтов. И почему-то на этом вечере председательствовал я. А рядом со мной в президиуме сидел Александр Архангельский.

Поднялся на трибуну Жаров. И начал читать свое новое, еще нигде не опубликованное стихотворение «Магдалина».

Стихи имели успех у аудитории.

Но больше всего они имели успех у моего соседа — у Архангельского, замечательного поэта и пародиста. Он сразу насторожился, глаза засверкали, на губах появилась лукавая улыбка, и острый карандаш Архангельского пошел гулять по бумаге.

Через несколько минут он положил на стол предо мной начало пародии на «Магдалину»:

Мне снится, снится, снится,
Мне снится чудный сон —
Шикарная девиза
Евангельских времен.
Не женщина — малина,
Шедевр на полотне —
Маруся Магдалина,
Раздетая вполне.

А в это время Жаров — на трибуне. Он читает. Архангельский продолжает писать.

И вот готовы еще два четверостишия пародии-экспромта:

Мой помутился разум,
И я, впадая в транс,
Спел под гармонию с экстазом
Чувствительный романс.
Пускай тебя нахалы
Ругают, не любя, —
Маруся из Магдалы,
Я втюрился в тебя.

Жаров читает. Архангельский вошел в раж — улыбка не сходит с лица. Карандаш неистовствует. Он передает мне продолжение пародии:

Умчимся, дорогая
Любовница моя,
Туда, где жизнь другая, —
В советские края.
И там, в стране мятежной,
Сгибая дивный стан,
Научишь страсти нежной
Рабочих и крестьян. . .

Жаров кончил. Я предоставляю слово Архангельскому. Он не спеша, серьезно, без улыбки, даже несколько сурово читает свою только что законченную пародию на «Магдалину».

Оживление в зале. Улыбки. Смех. Хохот. И Жаров смеется.

В зале делается что-то невообразимое, когда Архангельский читает заключительные строки пародии:

И там, под громы маршей,
В сиянье чудном дня,
Отличной секретаршей
Ты будешь у меня.
Любовь пронзает пятки,
Я страстью весь вскипел.
Братишечки! Ребятаки!
Я прямо опупел!
Я, словно сахар, таю,
Свой юный пыл кляня. . .
Ах, что же я болтаю!
Держите вы меня! . .

В зале была преимущественно молодежь. На сцене — тоже. Даже в президиуме.

Не Евдокия, а Евдоксия

Давайте не путать Евдоксию с Евдокией. Здесь у нас речь пойдет о Евдоксии. Имею в виду Евдоксию Федоровну Никитину, добрую хозяйку Никитинских субботников.

По субботам (сначала на Тверском бульваре, 24, а впоследствии в Вспольном переулке, 14) ласково улыбающаяся Евдоксия Федоровна принимает гостей. Небольшую комнату, до краев наполненную книгами, рукописями, картинами, улыбками, властно оккупируют по субботним вечерам писатели, журналисты, художники, музыканты, ученые, артисты. Тесно, но нет духоты. Воздух здесь всегда чистый, здоровый, дружеский. Беседуют, спорят о литературе, об искусстве. Поэты читают стихи, прозаики — рассказы, критики — статьи, художники демонстрируют новые рисунки.

Пьют чай. С печеньем или бутербродами. Только чай. Но всегда здесь весело, интересно. С нетерпением ждешь следующую субботу, следующего чая за столом Никитинских субботников.

Если память мне не изменяет, я познакомился с Евдоксией Федоровной и с Никитинскими субботниками в 1927 году. А первое собрание здесь уже давно было — в 1914 году.

Евдоксия Федоровна вспоминает:

— На первых собраниях выступали Анна Ахматова, Евгений Чириков, Марина Цветаева. Нас часто в ту пору посещали профессор Сакулин, профессор Розанов, профессор Веселовский, поэты Кириллов, Герасимов, Александровский. Вскоре нашими гостями стали писатели Леонид Леонов, Неверов, Новиков-Прибой, Ада Чумаченко, Вера Инбер, Арго, Ардов.

В двадцатых годах «субботники» посетил А. В. Луначарский. Он здесь читал свою драматическую сказку «Василиса Премудрая». Сказку Анатолий Васильевич подарил Евдоксии Федоровне.

«Дорогой Евдоксии Федоровне Никитиной от

автора с чувством глубокого удовольствия по поводу того, что вещь эта ей понравилась. А. Луначарский. 10 дек. 1920 года».

Теперь это уже не частная квартира, а музей. Очень богатый музей. Очень любопытный музей. Сколько книг с автографами, сколько рукописей, фото! А вот шаржи молодых Кукрыниксов, дружеские улыбки по адресу Луначарского, Вересаева, проф. Пиксанова, поэта Шершеневича.

А это что? Тонкая книжка. Стихи С. Городецкого — издание «Никитинских субботников» (одно время было такое издательство).

Сергей Митрофанович сделал надпись на книжке: «Литературной средой, в которой я жил в это время, были «Никитинские субботники»... Здесь я встречался с В. Вересаевым, А. Серафимовичем, Д. Бедным, А. Луначарским, В. Гиляровским, В. Мейерхольдом, В. Качаловым, А. Юон, Р. Глиэром...»

Беседую с Евдоксией Федоровной, а со стены на меня смотрят Вас. Казин, Вл. Лидин, Вл. Маяковский, Илья Эренбург, Алексей Сурков, И. Бабель, Ф. Гладков, Максимилиан Волошин, А. Безыменский, Лидия Сейфуллина, В. Сосюра, Б. Пастернак, С. Есенин, В. Катаев, Вс. Иванов, А. Яблочкина, Ф. Раневская и многие, и многие другие. Большинство фотоснимков с сердечными надписями.

Евдокия Федоровна кладет на стол несколько папок:

— Посмотрите. Может, это вас заинтересует...

Заинтересовало. В папках — короткие заметки о вечерах, посвященных творчеству Рюрика Ивнева, Щипачева, Фефера, Антокольского, Сельвинского, Корнея Зелинского, Веры Инбер, Сергея Городецкого.

Мне хорошо запомнились несколько таких вечеров, на которых я присутствовал, — читали стихи Рюрик Ивнев, Сельвинский, Инбер, Санников.

Запомнился и один «легкомысленный» вечер — читал свои пародии, эпиграммы, юмористические сценки большой мастер этого жанра Михаил Пустынин.

Кое-что мне удалось записать.

Чудесная пародия «Телефон» (по Корнею Чуковскому). Речь идет о том, что еще очень дороги детские книжки.

Привожу два отрывка:

...А потом позвонил
Крокодил:
— Пожалей
Детей!
Твоя книжка стоит 25 рублей!
Это дорого слишком
И не по карману ребятишкам!
Надо бы сделать уступку.
Взволнован. Вешаю трубку!

...А недавно две газели
Позвонили и запели:
— Неужели в самом деле
Сказки не подешевели? ..

Кто не помнит стихотворения Маршак «Дом, который построил Джек». Остроумная пародия Пустынина начинается так:

Вот том, который написал Маршак,
А это «Багаж», который хранится
В том, который написал Маршак.
А это «Цирк» — веселая страница,
Которую знают любые ученик и ученица
В том, который написал Маршак. . .

...Прощаюсь с Евдоксией Федоровной. Иду по Вспольному переулку. На углу встречаю одного молодого литератора. Рассказываю ему о том, что решением правительства Никитиной для ее литературного музея выделен целый этаж в доме, где она сейчас живет. Литератор, конечно, рад. Он спрашивает меня:

- А как себя чувствует Евдокия. . .
- Я его прерываю:
- Не Евдокия, а Евдокия! Запомните.
- Редкое имя.
- И принадлежит оно редкой женщине!

Незабываемый Пат

1949 год. Ленинград. Дом кино. Поздний час. Ресторан. Легкий ужин.

За столом — Николай Константинович Черкасов, артист Борис Петрович Чирков, драматург Александр Петрович Штейн, артист Василий Васильевич Меркурьев и ваш покорнейший слуга.

После первой скромной закуски Черкасов поднялся, глянул на Чиркова:

— Сделаем?

Чирков вскочил и с сияющим лицом ответил:

— Сделаем.

Оба снимают пиджаки. Длинный пиджак Черкасова на Чиркове. Короткий пиджак Чиркова украшает Черкасова. Очень смешно!

Сразу все преобразилось. Нет Чиркова, а есть Паташон. Нет Черкасова, а есть Пат, длинный, смешной, симпатичный Пат.

Пат ударяет в ладоши. Начинается танец. Знаменитый танец Пата и Паташона. Великолепный эстрадный номер, взлелеянный Черкасовым.

О Николае Константиновиче Черкасове написано много хороших статей. О его больших, солидных эпизодических ролях в театре и в кино сказано немало и еще будет и будет сказано.

Я же хочу посвятить несколько слов Пату. Черкасов создал эту роль, создал незабываемый эстрадный танец.

Вот они пляшут — Черкасов и Чирков. Борис Петрович широко улыбается — он доволен, он счастлив: ему нравится Паташон, но еще больше ему нравится Пат. Он смотрит с восхищением на Черкасова — какие он пишет причудливые кренделя своими длинными ногами, какие он выделяет ловкие затейливые выкрутасы!

Черкасов не глядит по сторонам, не улыбается. Он серьезен. Он весь в своей роли. Лишь изредка подбадривает старательно танцующего Паташона:

— Молодец! Ничего не забыл. Делаешь все как надо. Старайся!

А сам он очень старается. Импровизирует все новые и новые па, Откалывает все более и более замысловатые коленца. Вот он подскакивает к Паташону и умудряется вертеть ногой над его головой, рискуя испортить ему прическу.

Не берусь подробно описывать этот танец. Хорошо помню, что и Черкасов и Чирков доставили всем нам большое удовольствие, истинную радость.

Прошло шестнадцать лет. Крым. Нижняя Ореховая. Санаторий. Вечер. Шумит море. Шелестят листья платана.

Мы вдвоем на балконе — Николай Константинович Черкасов и автор этих строк.

Николай Константинович изредка кашляет. Он болен.

Разговариваем о том о сем. Я вспомнил тот ленинградский вечер в Доме кино. Вспомнил Пата и Паташона.

Николай Константинович сразу оживился. Даже привстал со своего кресла.

— Помните, да? Было здорово, не правда ли? Я очень люблю этот танец. Очень люблю своего Пата. . . Да, это было здорово. . .

Больше не шатается

Шатается. . . Все шатается в комнате бедняка. Шатается хромой стол. Шатаются колченогие табуреты. Шатается трехногая кровать. Шатается безногая скамья. Шатается керосиновая лампа на дряхлом комод. И сам комод начинает шататься — стоит только шагнуть к нему. . .

Рассказ так и называется — «Шатается». Он сидит предо мной, автор рассказа Аврам Рейзин, классик еврейской литературы, прозаик и поэт. Недавно (1929 год) он приехал из Нью-Йорка, чтоб посмотреть свою старую родину. Покинул он Россию давно, после пятого года.

Он посетил много местечек и городов Белоруссии и Украины, где жили герои его рассказов и песен, где когда-то в комнате бедняка все шаталось. И шатался в изнеможении сам хозяин шатающейся халупы.

Он смотрит на меня, старый пролетарский писатель, и улыбается.

— Не шатается, — говорит он. — Больше не шатается. Мой рассказ устарел. Я объездил большой советский край. Я видел много людей. С радостью заявляю: сейчас и человек, и его стол прочно стоят на своих местах.

После короткой паузы:

— Сейчас, дорогой друг, на земном шаре люди в других местах не твердо сидят на своих стульях. Вот как американский поэт Юз Мернс описывает истинное положение бизнесмена:

Сидел на стуле я своем,
Хоть знал, что нет сиденья в нем.
Нет ножек, спинки. . .
Я все ж сидел, как только мог. . .

Пьем чай. Разговариваем. Он вспоминает свою молодость. Он вспоминает прошлое — быт и нравы «черты оседлости», смех и горе худых местечек.

Пьем чай... Глаза старика наполняются слезами. Моя жена только что спела несколько его песен. Он не знал, что эти стихи переложены на музыку. Он и думать не мог, что их поют у нас. Он, развеселившись, напевает старую свою песню, ставшую народной. Это песня пролетария сапожника, угнетенного нуждой. «Стучи, молоток, стучи, вколачивай гвозди скорей. Готовы должны быть к утру ботинки для дочери богача». (Перевод мой, далеко не блестящий.)

Затем с большим воодушевлением он опять и опять рассказывает о своей поездке по Украине и Белоруссии. Его всюду принимали с большой теплотой — и русские, и украинцы, и белорусы, и евреи. Нет, это не та страна, которую он оставил в пятом году. Не та страна и не те люди.

— В Киеве мне устроили большой банкет — было очень много важных людей. Рядом со мной сидел генерал. И этот генерал оказался евреем. Вы подумайте — еврей генерал! Я к этому в старой России не привык. Еврей генерал!

— Вы не помните — как его фамилия?

— Конечно, помню. Якир. Его фамилия — Якир!

„За“ и „против“

В «Крокодиле» бурное собрание. Горячее обсуждение. Острая дискуссия. Председательствует художник Николай Эрнестович Радлов. Он объявляет:

— Слово «за» и «против» представляется Льву Григорьевичу Бродаты.

Никто из нас не улыбнулся. Чужачества Бродаты никого не удивляли. Он никогда не соглашался с вашим мнением. Более того — он не соглашался со своим собственным мнением.

Бывало, скажет:

— Мне этот рисунок очень нравится.

Кто-нибудь подтвердит:

— Да, Лев Григорьевич, вы правы.

Но Лев Григорьевич сразу возражает:

— А что в нем хорошего, в этом рисунке? Помогите, чепуха.

Как-то раз художник Сойфертис и Бродаты стояли у окна и смотрели на улицу.

— Чудесный день! — сказал Бродаты.

— Да, — согласился Сойфертис. — Замечательный день.

— А что в нем замечательного? — сердито спросил Бродаты. — И вообще день понятие относительное. В Америке сейчас ночь.

Пошли компанией в парк культуры и отдыха — Ганф, Ротов, Сойфертис, Ильф, Петров, Аркадий Бухов, Бродаты. Все были молоды, и все прыгали с вышки. Бродаты тут же заявил:

— А я прыгнул выше всех.

О чужачествах Льва Григорьевича можно рассказывать часами. Но не они характеризуют этого большого, талантливого художника.

Поговорите с Кукрыниксами, Бор. Ефимовым, Горяевым, Черемныхом, Сойфертисом — все они высоко ценят творчество Льва Григорьевича. Я написал «высоко ценят» — это не те слова. Они с восторгом отзываются о рисунках Бродаты.

У него острый, зоркий глаз художника. Он умел видеть то, что не каждому дано видеть. Посмотрите его рисунки — какой типаж, какие позы, как люди «разговаривают» на его рисунках, сколько юмора, сарказма, иронии.

В 1956 году я впервые попал за границу. Я увидел: по улицам европейских городов расхаживают карикатуры Бродаты. Будто они только что сошли со страниц «Крокодила», эти господа и дамы.

В заключение — один забавный эпизод. Лев Григорьевич заболел. Надо было вызвать к нему врача. Это не так легко сделать. В поликлинике отнеслись более чем холодно к болезни талантливого художника. Все наши звонки были звонками вопиющего в пустыне.

Лев Григорьевич взял телефонную трубку.

— Не умеете разговаривать, — сказал он.

Он набрал номер телефона директора поликлиники.

— Поликлиника? Директор? С вами говорит секретарь товарища Бродаты. Будьте добры срочно прислать врача по адресу. . .

Через пятнадцать минут врач был на квартире Льва Григорьевича.

. . . В тот же день я написал об этом юмористический рассказ «Мой секретарь».

ЧУВСТВО СМЕШНОГО

Черемных. . . Немало наших соотечественников носит эту крепко скроенную сибирскую фамилию. Надо полагать, что среди них много интересных, много прекрасных людей.

Но есть на белом свете один Черемных, который мне особенно люб, и о нем я с гордостью говорю:

— Я был с ним знаком. Мы вместе работали. Мы вместе смеялись над тем, что кажется смешно.

Речь идет о Михаиле Михайловиче Черемныхе, талантливом художнике, боевом карикатуристе, горячем сотруднике «Крокодила» и «Безбожника», энергичном создателе «Окон Роста», человеке с большим чувством смешного. . .

Кажется, это он пришел сейчас в редакцию. Да, это он.

В кабинет редактора входит Черемных. Широкоплечий, могучий Черемных. Несмотря на твердый шаг и серьезный взгляд, он застенчиво улыбается. Он всегда с такой улыбкой смотрит на вас, слушает, рассказывает.

— Садитесь, пожалуйста. Чем сегодня порадуете «Крокодил», Михаил Михайлович?

Будьте уверены, он порадует. Он что-то принес. Никогда не появляется в редакции с пустыми руками и с пустыми разговорами.

Кладет на стол рисунок. Сам придумал, сам нарисовал, сам подписал.

Дело было в дни Нюрнбергского процесса над главарями германских фашистов. На рисунке — перед следователем стоит перепуганный Геринг. Не человек, а надутый мешок мяса. Противно на него смотреть — отвратительная рожа, трусливые, заплывшие жиром глаза. Портрет удался художнику. Удалась ему и подпись. Геринг говорит следователю:

— Вы спрашиваете об Освенциме? О том самом, где по моему приказу было уничтожено несколько человек? О том, где я лично присутствовал при сжи-

гании живых людей? Об этом Освенциме я решительно ничего не знаю.

Черемных карикатурист думающий, ищущий темы, предложения. На ближайшем темном (не тёмном, а темном) совещании он демонстрирует свой «наглядный урок поджигателям войны». О том, как фашисты «шли на Москву, а дошли до Нюрнберга». В одном из следующих номеров журнала появится на эту тему страничный рисунок (обложка) Черемных.

Он богат и разнообразен. На выставке его рисунков немало и его сатирических стрел на бытовые темы — против пьяниц, против бюрократов, бракоделов.

Вот какой-то тип орет на футбольном матче: «Судью на мыло». Широкая пасть у хулигана — бутылка водки.

Бюрократ на берегу морском. Его окружают подхалимы с грелками:

— Не извольте беспокоиться, вода теплая.

Он много сил отдавал «Окнам Роста». На этой работе он подружился с Маяковским, который не только делал подписи под карикатурами, но и сам рисовал.

Как-то раз Черемных спросил Маяковского:

— А почему вы, Владимир Владимирович, не стали художником?

Маяковский ответил:

— Да ведь канитель. Таскать с собой мольберт, ящик с красками. А так — огрызок карандаша да блокнот.

Маяковский высоко ценил Черемных:

— Вы даже не понимаете, Михалыч, какой вы художник. Вы же лучший рисовальщик Советского Союза!

А лучший рисовальщик Советского Союза ходил одно время в дырявых ботинках. 27 августа 1919 года Роста писало в Горпродукт:

«Российское телеграфное агентство просит выдать тов. Черемных Мих. Мих. разрешение на покупку ботинок ввиду того, что означенный товарищ крайне нуждается в таковых». На этом письме

красуется резолюция: «За неимением отказать». И означенный товарищ продолжал весело и непринужденно щеголять в обуви, которая настойчиво просила каши.

Меж тем росло и крепло пестрое хозяйство Черемныха: сотни острых, смешных рисунков в журналах, сотни ярких плакатов.

Он был очень трудолюбив. И очень дисциплинирован. Но был один случай в его жизни, когда он «подвел» редакцию, когда не выполнил очень важного задания.

Газета (кажется, «Беднота») поручила ему пойти послушать выступление Ленина и зарисовать его. Он пошел, сел недалеко от трибуны, приготовил бумагу и карандаш, слушал речь Ленина. Слушал, но не рисовал.

— В этот момент, — говорил он потом, — я просто забыл, что я художник. Я же не мог упустить ни одного слова, ни одного его движения, звука голоса, выражения глаз. . .

Зато в тот же день он нарисовал для «Бедноты» дружеский шарж — Ленин с метлой выметает с земного шара всякую нечисть.

Художник Черемных прошел (уже в новых ботинках) большой путь. Сколько было сердитых рисунков! А сколько улыбок, сколько смеха! Сколько интересных встреч!

Об одной из них весьма красочно рассказывает Н. А. Черемных в своей книге «Хочется, чтоб знали и другие. . .». Передаю вкратце ее содержание.

В мастерскую Роста, где работали над срочными плакатами Черемных и Малютин, пришел иностранец. Он начинает молча рассматривать рисунки. Черемных говорит Малютину:

— Давай, Ваня, показывай.

Малютин начинает показывать:

— Вот это Ллойд-Джордж. . . Это Клемансо. . .

Иностранец ломаным языком повторяет:

— Ллойд-Джордж. . . Клемансо. . . Клемансо. . .

Малютину надоела эта канитель, и он вдруг начи-

нает пересыпать свои объяснения крепкими словечками.

Иностранец невозмутимо слушает. Наконец Малютин совершенно выходит из себя и говорит ему:

— Ни черта вы не понимаете!

— Ну, как же не понимаем! — говорит иностранец на чистом русском языке без акцента. — Мы хорошо знаем ваше прекрасное искусство.

Это был Джон Рид.

Какие бывают философы?

Вчера было чрезвычайное происшествие: главный бухгалтер издательства задержал ведомость на выплату гонорара авторам «Крокодила». Причина: Эмиль Кроткий.

— За одну строчку его афоризмов вы хотите платить столько денег, сколько... Вот, к примеру: «Философы похожи на тарелки — одни бывают глубокие, другие мелкие». Сказано хитро, но все же... Одна строка!

— Дорогой товарищ! — сказал я. — А как по-вашему — какие бывают философы?

— Вполне согласен с Кротким. Но не согласен платить ему такую сумму. За одну строчку!

— Сочините, товарищ главбух, такую строчку, и я вам выпишу в два раза больше, чем Кроткому.

— Я же этого делать не умею.

— А вот он умеет.

Я убедил главбуха. Он тут же на ведомости начертил очень короткую, очень талантливую строчку, в которой было только одно слово, весьма остроумное слово, — «оплатить».

Да, он умеет (имею в виду Эмиля Яковлевича, а не бухгалтера). Вот он сегодня с утра принес в редакцию несколько новых афоризмов «отрывки из ненаписанного».

Каждая строчка — большая тема. Каждую строчку можно превратить в юмористический рассказ, в острую сатирическую новеллу.

Читаю с карандашом в руке:

«Сердце надо беречь. И не только свое».

«И свинью допускают к столу, но только в виде ветчины».

«Долговязый дурак — ума на его рост не хватило».

«Щедрина он знал по бороде, Толстого — по ногам. Не читал ни того, ни другого».

«Погода располагала к любви, и на огороде старый хрен заигрывал с молодой картошкой».

«Виноват композитор, а бьют по клавишам».

«Перед тем как начать доклад, он протер пенсне, а потом стал втирать очки».

«Не всякая старость достойна уважения: не приходится уважать ревматизм только за то, что он устарелый».

«Есть люди, которым приятнее думать о том, что пчелы жалят, нежели о том, что они дают мед».

Собирался я читать дальше, но вдруг скрипнула дверь, и в кабинет вошел Александр Ильич Безыменский и принес очень громогласный привет.

Узнав, что я читаю Кроткого, радостно заулыбался. Он очень любит Кроткого. Мало сказать — любит. Он говорит о нем с истинным восхищением.

Надо знать характер Саши Безыменского. Он искренний друг всех писателей — юмористов и сатириков, прозаиков и поэтов. Попадется ему на глаза удачный оборот, добрая шутка, талантливым сюжетный ход, счастливый каламбур у Карбовской, Раскина, Эделя, Ленча или Слободского, и он, Саша Безыменский, сияет, ходит именинником, повторяет вслух строки из рассказа или стихотворения, которые его взволновали.

Что же касается Кроткого, то он в него положительно влюблен.

Вот он сел за мой стол, читает «отрывки» Кроткого. Затем вспоминает его сатирические стихи и эпиграммы.

— К тому же он большой мастер экспромта. Был такой смешной случай. Он написал эпиграмму на Веру Инбер. Дружеская эпиграмма. Но оказалось, что Вера Михайловна слегка обиделась. Она всегда тепло относилась к Кроткому, а он вдруг... такой неблагоприятный...

И вот однажды — это было в 1926 году — сидим мы в приемной журнала «Прожектор». Хороший был журнал, не правда ли?

На стене висят кем-то нарисованные шаржи на Всеволода Иванова, на Константина Федина, на Бориса Лавренина и на Эмиля Кроткого.

Вдруг в комнату вскакивает — именно вскакивает;

а не входит — Чайка, приятель Веры Инбер. Ни с кем не здороваясь, он подошел к шаржу на Кроткого и быстро написал на нем:

«Мели, Эмиля, твоя недиля».

Кроткий схватил карандаш и, недолго думая, ответил четверостишием на том же шарже:

Типично дамская манера —
И не смешно и не остро.
Сие писала Инбер Вера,
Из Чайки выдернув перо.

— Мне передавали, — заканчивает Безыменский свой рассказ, — что Вера Михайловна весело смеялась, когда ей прочитали это четверостишие.

После небольшой паузы он спрашивает меня:

— Однако какие же бывают философы? Помогите, бывают и такие, как Эмиль, — веселые, жизнерадостные.

Тэсс и Кассиль в Риме

Э то было в день сорокалетия «Известий».

Торжественный вечер в Колонном зале Дома союзов. В перерыве беседую с Татьяной Николаевной Тэсс. О том о сем. Но главным образом о делах литературных.

Почему-то разговор зашел о точности, о проверке фактов, об ответственности литератора перед читателем.

Вот что между прочим рассказала мне Татьяна Николаевна.

— Я хорошо помню, как был напечатан мой первый очерк в «Известиях». В ту пору я была очень юна, неопытна и к тому же чрезвычайно застенчива. Узнав, что мой очерк набран и идет в номер, я некоторое время слонялась по длинным редакционным коридорам, сконфуженно уступая дорогу пробегающим мимо курьерам, а потом решила, что всем мешаю, и отправилась домой. Устав от переживаний и волнения, я тут же легла спать.

Через четверть часа меня разбудил телефонный звонок.

Из отдела информации спрашивали, как называется полностью тот исследовательский институт, о котором я писала, и не спутала ли я, что он входит в систему Академии наук. Я лихорадочно перелистала свой блокнот и заверила, что да, институт действительно входит в эту систему.

Не успела я лечь, как позвонил литературный редактор и спросил, проверила ли я, что на радиаторах машин фирмы «Линкольн» действительно укреплена серебряная борзая, а не какая-нибудь другая собака. Я сказала, что насчет борзой я совершенно уверена, повесила трубку, но спать уже не ложилась. Через пять минут телефон позвонил опять. Из библиотеки спрашивали, откуда я взяла цитату, и уверена ли я,

что автор ее действительно Бальзак? Разыскав «Шагреновую кожу», я прочла дежурной весь абзац и точно указала том и страницу.

Но едва я положила томик на книжную полку, как телефон позвонил снова.

Теперь звонили из секретариата. Начальственный голос небрежно сказал, что, по его мнению, директора института зовут не Иван Петрович, а Петр Иванович. Я опять схватилась за блокнот и с ужасом убедилась, что действительно перепутала инициалы. Начальственный голос сердито покашлял, и трубку положили. Я оделась и села возле телефона, вся красная, с дрожащими руками. Но телефон больше не звонил. Так я просидела до утра. Утром принесли газету, в которой был напечатан мой очерк, сокращенный ровно вдвое. Ни борзой, ни цитаты из «Шагреновой кожи» в нем не было.

С той поры прошло немало лет. Точность и верность факту вошли, как говорится, в мою плоть и кровь. Долголетний опыт научил меня, что малейшая неточность или ошибка всегда влекут за собою справедливые упреки читателей. За годы работы в газете у меня выработалась такая дисциплина проверки, что иногда мне хочется проверить даже собственные инициалы.

Но, к сожалению, не везде так щепетильно относятся к проверке фактов. Вот послушайте.

Летом я совершила путешествие на теплоходе «Победа» вокруг Европы. Мы вместе с моим старым товарищем писателем Львом Кассилем оказались в Риме. Целый день мы бродили по его площадям и улицам под синим итальянским небом. Я записывала названия дворцов, фонтанов, скульптур, картин, сверяя их со справочниками и путеводителями, дотошно переспрашивая гидов. Вечером, полные впечатлений и вконец утомленные, мы возвращались поездом в Неаполь. На вокзале я купила газету «Джорнале д'Италия».

На второй странице этой газеты была напечатана большая фотография.

На ней был изображен неизвестный мне низень-

кий толстый человек и рядом с ним незнакомая пухлая блондинка в перчатках до локтя и нейлоновом шарфе, похожем на фату.

Под фотографией была набрана крупным шрифтом подпись:

«Советские писатели Татьяна Тэсс и Лев Кассиль в Риме».

По волнам, по волнам ..

Если память мне не изменяет, это было рано утром. Солнце на берегах Невы бодро проснулось и, не мешкая, начало энергично действовать, надеяся здоровым загаром юных, молодых и даже пожилых женщин, а также мужчин, интересующихся своей внешностью.

Что касается меня, то я в этот час меньше всего думал о своем облике.

Меня везли в Петропавловскую крепость!

Везли и привезли. Но не заточили. Я свободно гулял по этажам и камерам. Здесь в одной из самых мрачных камер, угрюмые стены которой могли бы рассказать о многом, я увидел высокого худого загорелого человека средних лет. Мы познакомились. Я не мог не обратить внимания на его улыбку — она говорила о хорошем настроении и о добром отношении к человечеству вообще и ко мне в частности.

Оказывается, мы — товарищи по туризму. Плаваем на одном и том же замечательном теплоходе. Там же наслаждаемся трехразовым питанием — только он харчится в первой смене, а я во второй. По неполным подсчетам, каждый из нас уже израсходовал шестьдесят котлет — и нас обоих можно смело причислить к чемпионам по тяжелой котлетике.

Возвращаемся из мрачной крепости на веселые речные просторы. Сегодня же в полдень наш теплоход покинет ленинградский причал и повезет нас на Онежское и Ладожское озера, где (нам это твердо обещал наш милый капитан) будет серьезная качка.

Мы оба — я и мой новый знакомый — выше качки. Мы оба ее не страшимся и по-мужски презираем всякое проявление морской болезни. Тем более что речь идет не о «синем и далеком океане, где-то возле Огненной земли», а о родных водоемах районного масштаба.

Моего нового знакомого зовут Вадимом Андрее-

евым. И не просто Вадимом Андреевым, а Вадимом Леонидовичем Андреевым.

Отчество в его биографии играет немалую роль. Я бы даже сказал — замечательную роль.

Его отец — Леонид Андреев. Надеюсь, вспомнили это имя? Уверен, что вспомнили.

Это известный русский писатель. Он занимал большое место в дореволюционной литературе. Был в свое время очень популярен, особенно среди молодежи.

Не скрою, был и я молод. И очень увлекался Леонидом Андреевым. До сих пор помню его «Рассказ о семи повешенных», «Тьму», «Анатему», «Савву» и особенно «Дни нашей жизни». Эта пьеса и сейчас идет на многих сценах Советского Союза. На стоянках в пути нередко глядели на нас афиши с именем Леонида Андреева и наклейки у театральных касс — «Все билеты проданы».

Вадим Андреев написал интересную книгу воспоминаний об отце — «Детство». Она уже полностью разошлась. Сейчас он готовит вторую книгу — продолжение «Детства».

Вадим Леонидович — автор романа «Дикое поле» о движении Сопротивления во Франции. Он активный участник Сопротивления. . .

Надо отдать справедливость туристским организациям. Они сделали все возможное, чтоб усладить путь плавающих и путешествующих: наполнили обильной водой реки и озера, соорудили красивые шлюзы, украсили берега изумрудными лужайками, густыми лесами, терпеливыми рыболовами.

Сидим на верхней палубе, искренне восторгаемся видами, пейзажами, ландшафтами, причалами, чайками. А заодно воюем с гнусными кровопийцами — имею в виду комаров. Их здесь несметное количество. — на каждого туриста, по неполным данным, приходится не менее семнадцати комаров. Тем не менее туристы не теряют жизнерадостности и вполне

одобряют земной шар, который так интересно вертится вокруг своей оси.

Разговариваем о литературе, о Леониде Андрееве.

Вадим Леонидович улыбается. Улыбается и вспоминает:

— В тысяча девятьсот втором году вышла первая книга рассказов Леонида Андреева. Алексей Максимович Горький очень помог отцу в издании книги.

Молодой начинающий писатель получил большой гонорар. И решил прокатиться по Волге.

А надо вам знать, что отец был очень красив. Может быть, помните его фото в газетах и журналах? На нем поддевка и высокие сапоги. Так одевались в ту пору Горький, Скиталец. К тому же отец носил небольшую черную бородку.

И вот сидит такой интересный мужчина на палубе парохода. А к нему подплывает, сияя очаровательными улыбками, интересная дама. При первом взгляде она напомнила молодому писателю «Незнакомку» Крамского.

Незнакомка сразу начинает атаковать отца:

— Как я рада, мэтр, как я рада! Как я рада с вами познакомиться! Как я счастлива, что попала на тот пароход, на котором и вы! Вы такой талантливый, такой талантливый! Боже мой, какая сила!

Молодой Леонид Андреев польщен. Он потом, смеясь, рассказывал:

— Я думал: вот что значит слава! Только одну книгу издал, и уже такое преклонение! Я с гордостью распустил павлиний хвост, считая себя большой знаменитостью, великим писателем. Вдруг дама спрашивает меня: «Когда же ваш концерт?» Я с недоумением взглянул на нее. А она продолжала щебетать: «Как же, как же! Ведь вы дирижер цыганского хора, который едет на этом же пароходе».

Отец очень смеялся, вспоминая этот эпизод. Вообще он любил смешные истории, хорошую шутку, розыгрыши.

Леонид Андреев дружил с Серафимовичем. Они друг друга ценили и уважали. Но порою подшучивали

друг над другом. У Серафимовича была круглая куполообразная лысина, ярко блестящая на солнце. Очень любопытная лысина! Отец нередко подтрунивал над ней. Александру Серафимовичу нравились шутки. Он весело смеялся, слушая «дружеские шаржи» по адресу своей лысой головы.

Однажды Леонид Андреев, плывая в финских шхерах, наткнулся на небольшой скалистый остров. Круглый, голый, блестящий, сильно смахивающий на...

Короче говоря, в тот же день отец телеграфировал Серафимовичу: «Открыл в шхерах остров, напоминающий твою лысину. Присвоил ему твое имя. Отныне это будет остров имени Серафимовича...»

Наш теплоход замедляет ход. Оказывается, приближаемся к шлюзу. Наша беседа прервана. Мы спешим на нос теплохода — смотреть, любоваться шлюзом, набираться новых впечатлений.

Еще о Леониде Андрееве

Раневскому я дал почитать в рукописи мой небольшой очерк о встрече на теплоходе с Вадимом Андреевым.

Вадим Леонидович рассказал мне несколько эпизодов из жизни своего отца — Леонида Андреева.

Раневский внимательно прочитал, а потом...

Но прежде всего разрешите познакомить вас с этим человеком. К его фамилии добавляю три раза прилагательное «старый».

Иосиф Исидорович Раневский — старый журналист, старый правдист, старый мой друг.

Рискуя впасть в шаблон, все же скажу: он моложе тех (многих и многих), к этим фамилиям не прибавишь слова «старый».

И вот Раневский сказал мне:

— У меня была любопытная встреча с Леонидом Андреевым. Хочешь послушать? Может быть, кое-что пригодится тебе. Как добавление к тому, что ты узнал от Вадима Леонидовича. Блокнот при тебе? Значит, все в порядке. Вот послушай...

Это случилось во время очередных традиционных весенне-летних гастрольных спектаклей МХТ в Петербурге в июне — июле 1908 года.

Постой, как ты записал? МХАТ? Я так и знал. Ошибка, мой друг. Тогда еще не было академических театров. Пиши просто МХТ — Московский Художественный театр.

Вдруг я узнаю, что в вестибюле Михайловского театра началась запись на гастрольные спектакли Московского Художественного театра. Я, в числе других студентов юридического факультета, немедленно бросился к месту происшествия. Попал, можно сказать, вовремя. Записавшись под номером сто девять, я имел все основания считать, что, пройдя благополучно все положенные испытания — очереди, переклички и т. п., я стану со временем счастливым обладателем абонеента на все гастрольные спектакли

МХТ 1908 года. Среди этих спектаклей были: один чеховский («Вишневый сад»), один горьковский («Дачники» или «Дети солнца»), Островский («На всякого мудреца...»), Тургенев («Завтрак у предводителя»), Грибоедов («Горе от ума») и Кнут Гамсун («У врат царства»). Кроме того, могли быть объявлены и внеабонементные спектакли.

Я прошел весь тернистый путь театрала, гонящегося за дешевыми «билетиками», и двадцатого февраля стал обладателем абонементов на все объявленные спектакли, и не только для себя, но и для своих ближайших друзей: я получил ложу четвертого яруса на шесть человек.

Немного терпения — сейчас подойду к главной теме своего рассказа. То есть к моей встрече с Леонидом Андреевым. Я с ним не только встретился, но и разговаривал, не только разговаривал, но и ел его конфеты.

Когда мой абонемент уже был исчерпан, а экзаменов еще оставалось два, была объявлена продажа билетов на внеабонементный спектакль: «Жизнь человека» Леонида Андреева. Это была премьера, новая пьеса одного из популярнейших драматургов того времени. В Москве, в Камергерском переулке, спектакль прошел только несколько раз в конце сезона. Петербург с этим спектаклем опередил Москву — его ставили в течение всего зимнего сезона тысяча девятьсот седьмого — тысяча девятьсот восьмого годов в театре В. Ф. Комиссаржевской.

Мне неудержимо захотелось посмотреть этот спектакль и у «Художников». А билетов в кассе нет, и достать их некогда — надо мной еще висят два экзамена.

Но вот последний экзамен сдаю и бегу в театр на «Жизнь человека».

Я дождался первого звонка. Главная волна зрителей уже схлынула, а толку никакого — ни одного «лишнего» билетика никто не предлагал. Администратор неумолим:

— Поймите, все заполнено и переполнено.

Второй звонок. Вестибюль совсем пуст. Но почему не закрывается касса? Заглянул в кассовое оконце. Вместо ожидаемой кассирши на меня глянуло иронически улыбающееся лицо молодого человека.

— Ну, что, коллега, не повезло?..

— Да, — отвечаю я меланхолически. — А почему касса еще открыта?..

И тут я получаю интересную для себя информацию: ждут автора премьеры — Леонида Николаевича Андреева, который должен прибыть с минуты на минуту вместе со своей молодой женой — они только утром приехали в Петербург из Одессы, где недавно повенчались.

— Вот их-то я и жду, чтобы вручить им ложу бельэтажа и проводить их туда, — добавил голос из кассы.

— Ложа бельэтажа?.. Так это же минимум восемь мест!

У меня быстро созревает в голове план действия, и не успеваю я додумать этот план до конца, как появляется Андреев (его всякий мог бы узнать) и с ним его жена, и... больше никого.

Молодой человек выскочил из кассы:

— Здравствуйте, Леонид Николаевич! Пожалуйста за мной. Я провожу вас в оставленную для вас ложу.

После минутного колебания я, смяв в руке свою белую фуражку с голубым околышем, бросился наверх следом за писателем и, догнав его на первой же площадке, обратился к нему с коротенькой взволнованной речью.

Мне теперь стыдно рассказывать, что я там наговорил. Суть сводилась к тому, что я просил Леонида Николаевича разрешить мне посмотреть спектакль из его ложи.

— Пожалуйста, прошу вас, — сказал он спокойным глуховатым голосом, смерив меня своим острым взглядом с головы до ног.

В ложу он пропустил меня вперед, вслед за своей женой. А когда я занял место позади, он настойчиво пересаживал меня вперед, поближе к барьеру.

Я был взволнован всем происшедшим и не заметил, как прозвенел третий звонок, как в зале постепенно погас свет и наступила полная тишина. Смутно потом припоминал, что при нашем появлении в ложе в зале раздались аплодисменты, и только потом догадался, что это публика приветствовала появление в зрительном зале автора.

Как только занавес опустился после первого акта, Андреевы покинули ложу и ушли за кулисы к актерам. На барьере ложи осталась лежать большая раскрытая коробка шоколадных конфет.

— Обратите внимание, угощайтесь! — сказал мне автор «Жизни человека».

В ложе они появились снова, когда уже поднялся занавес и начался второй акт.

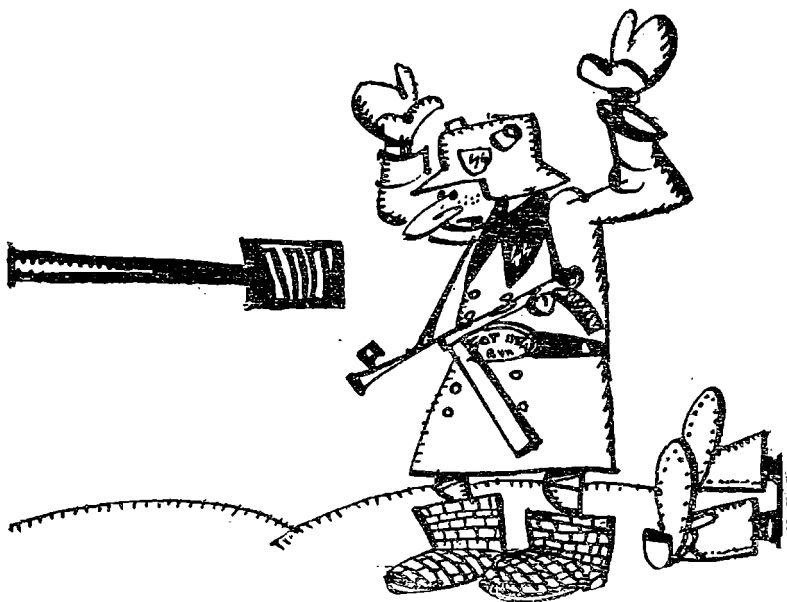
Перебросились мы несколькими репликами только в третьем антракте. Леонид Николаевич выразил свое удовлетворение тем, что я уже дважды смотрел «Жизнь человека» в театре Комиссаржевской, сказал, что знает об этой постановке с чужих слов, что постановкой Художественного театра вполне удовлетворен.

Перед окончанием спектакля в ложу зашли делегаты от актеров звать Л. Н. за кулисы, чтобы оттуда выйти по вызовам публики на авансцену. Я попрощался с Л. Н. и его супругой.

Леонид Николаевич пожал мне руку и, когда я снова начал благодарить его за гостеприимство, сказал:

— Молчите. Я еще не забыл, что сам был студентом, и полностью вам сочувствую.

Русская азбука



Русская азбука

В конце 1941 года вышла моя небольшая книжка «Прямой наводкой» — фельетоны о войне, о партизанах.

Привожу здесь один из этих фельетонов. Он основан на фактах.

Партизанский отряд под командованием тов. А. захватил и уничтожил 5 вражеских обозов с оружием и 17 цистерн с бензином.

Группа партизан во главе с председателем колхоза тов. Б. напала на штаб фашистской части, убила генерала и трех офицеров, захватила важные документы.

Отряд партизан, руководимый тов. В., уничтожил 9 фашистских мотоциклистов и разбил 5 грузовых машин, при этом было убито 42 солдата и 3 офицера. . .

Партизаны Н-ского района, возглавляемые тов. Э., вывели из строя 23 вражеских танка.

Партизаны тов. Ю. и тов. Я., проникнув на фашистский аэродром, подожгли 6 бомбардировщиков.

Здесь упомянуты лишь шесть букв алфавита — А, Б, В и Э, Ю, Я.

А в русском алфавите еще много букв. Мы могли бы еще рассказать, как группа партизан под командованием тов. П. произвела смелую разведку в тылу врага, как партизанский отряд тов. Ч. разбил вражескую мотомехколонну и занял крупный населенный пункт.

Мы могли бы рассказать ряд изумительных по своему героизму эпизодов, где советские люди, скрытые за скромными инициалами, наносят врагу сокрушительные удары.

Нет в русском алфавите ни одной нейтральной, ни одной равнодушной буквы.

И за каждой буквой бьется большое горячее

сердце. За каждой буквой мы видим тысячи советских патриотов, тысячи безымянных героев.

Есть прекрасные русские слова, которые стали интернациональными, которые понятны любому иностранцу. Это большевик, Совет, колхоз, пионер.

Сюда надо добавить слово, давно ставшее русским, слово, которое ныне гремит славой по всему земному шару. Слово — партизан.

Газеты Англии и Америки, Швеции и Турции, Норвегии и Новой Зеландии полны рассказами о мужестве советских партизан в их борьбе с фашизмом.

Это слово ныне вошло крепко в немецкую речь.

В бумажнике убитого германского разведчика, унтер-офицера Вильгельма Кноппе, лежал блокнот, в котором были записаны «три урока русского языка». Лихой унтер собирался разговаривать с русским населением и тщательно готовился к этому. Но ему так и не удалось побеседовать с русскими по вопросам, интересующим фашистскую разведку.

В каждом из этих «уроков» была фраза:

— Где партизаны? Не скажешь — расстреляю.

Унтер долго зубрил эту фразу. Он уже почти знал ее наизусть. И в одно туманное утро меткая пуля партизана ответила Вильгельму Кноппе на вопрос, который его так занимал.

Из Берлина, Гамбурга, Мюнхена встревоженные матери пишут своим сынкам на Восточный фронт:

— Берегись партизан.

Скромные белокурые невесты нежно просят своих арийских женихов:

— Привези мне туфли № 38. И еще прошу тебя — остерегайся партизан. Они так ужасны!

«Они так ужасны!» Эти жалобы мы слышим не только из уст отощавших мамаш и невест. Эти жалобы то и дело мелькают в приказах фашистских генералов и полковников, в сводках командования, на столбцах фашистских газет.

И среди мрачных траурных объявлений, которыми сейчас густо усеяны всякие «Беобахтеры» и «Цейтунги», есть немало объявлений, составленных при активной помощи партизан, — при активной помощи

А, Б, В, К, Л, М, Н, О и других славных букв нашей русской, советской азбуки.

Некоторые из этих букв уже раскрыты. Мы знаем, что за одной из многих букв Б стоит Бумажков Тихон Павлович, а за одной из многих П — Павловский Федор Илларионович, партизаны, которым присвоено звание Героя Советского Союза.

Мы знаем Жуковского, Юрина, Якубенко, Казанова, Миндина, Ткачева и многих других доблестных партизан, награжденных орденами и медалями.

Придет день, и все буквы раскроются, и на празднике нашей победы страна с гордостью и восхищением громко назовет имена партизан, имена славных борцов с фашистами.

Эти имена будут звучать в песнях вольного народа, в его красивейших сказаниях и легендах.

Соловей-пташечка

... **А** еще был такой смешной факт.

Как-то раз Соловей-пташечка замещал в части старшину. И вот он самым официальным образом написал заявление самому себе:

«Временно исполняющему должность старшины Н-ского подразделения тов. С. Елфимову.

Прошу выдать мне из вещевого склада одну (1) новую гимнастерку и одну (1) пилотку.

Ефрейтор С. Е л ф и м о в».

Написав это сочинение, Соловей-пташечка внимательно прочитал его, укоризненно покачал головой и, ехидно улыбаясь, но все же мягко, чтоб не обидеть человека, сказал самому себе:

— Многого вы захотели, уважаемый товарищ Елфимов. Так нельзя. . .

И тут же на заявлении учинил строгую резолюцию:

«В выдаче гимнастерки отказать. Одну (1) пилотку отпустить. Ефрейтор С. Елфимов».

Чудак парень этот маленький ефрейтор с синими, всегда смеющимися глазами. Хоть убей, не разберешь, шутит ли он с тобой или ведет деловой разговор.

— Как ваша фамилия? — спросит он иного бойца.

— Пахомов, товарищ ефрейтор! — отвечает боец.

— Вот оно как! А скажите, будьте ласковы, тот Пахомов, который во втором взводе, — это не ваш брат?

— Никак нет, товарищ ефрейтор.

— Я сразу догадался, что не брат. Ну, совсем не похож. . .

А то еще выкинет такую штуку:

— Кравчук! Познакомлю тебя сегодня с одним новым бойцом. Прибыл к нам из другой части. Фамилия ему — Гриб. Замечательный солдат! Только малость попорченный. От контузии временно оглох. Так что ты с ним разговаривай во весь голос.

То же самое он говорит и Грибу:

— Сведу я вас как новоприбывшего с одним нашим старым солдатом Кравчуком. Вам будет полезно потолковать с ним. Только обязан предупредить вас: оглох он недавно после контузии. Так что не жалейте глотки в разговоре.

И вот вечером в землянке начинается спектакль при участии двух мнимоглухих. Один кричит, а другой еще пуще нажимает. Кравчук уверен, что Гриб ни бельмеса не слышит. А Гриб убежден, что Кравчук глух, как старый тетерев. Орут они оба этак часа полтора на потеху всем обитателям землянки. . .

Справедливости ради надо отметить, что бывают моменты, когда вся рота, как один человек, остро ненавидит синеглазого ефрейтора.

Дело в том, что Соловей-пташечка любит петь.

А между тем бог наградил эту пташечку таким голосом, что в сравнении с ним вой сирены воздушной тревоги кажется любовной серенадой.

Есть в части сержант Капустин, большой друг-приятель Елфимова. Это здоровый парень, мастер рукопашного боя — так и он, поверьте, не может совладать с собой, заслышав концерт Елфимова. И раз, когда часть стояла во втором эшелоне, а Соловей-пташечка был в особо певучем настроении, Капустин сам не свой прибежал к капитану:

— Дальше не могу, товарищ капитан! Прошу скорей отправить меня на передний край. . .

А пел он всегда лишь одну песенку: «Соловей, соловей-пташечка. . .» Пел он ее на всякие лады: иногда с грустью, иногда залихватски весело. Но и в том и в другом случае получалось одинаково страшно.

Из-за этой-то песни за Елфимовым в части и закрепилась кличка «Соловей-пташечка».

В отличие от многих других оперных солистов Елфимов, к ужасу окружающих, неустанно тренировался. Но, зная, какое неотразимое впечатление он производит на слушателей, Елфимов ободрял товарищей:

— Ничего, братцы, вот кончится война, тогда уж больше не услышите моего пения.

Но если не считать этого крупного недостатка, во всем остальном ефрейтор Елфимов пользовался авторитетом в части. Его уважали и любили за хороший характер, за веселье и за добрую солдатскую смекалку.

Как-то раз немцы подбили наш танк. Надо было во что бы то ни стало эвакуировать его с поля боя.

Но как к нему подойти? Место совершенно лысое, открытое.

Решили действовать ночью. Но тут опять невязка. Ночи тогда стояли такие густые, темные, что можно было вместе с танком заблудиться черт знает как.

И вот тут-то Соловей-пташечка выступил с конкретным предложением.

— Надо, — говорит он, — осветить дорогу.

И говорит, представьте себе, вполне серьезно, без малейшей улыбки.

К Соловью подходит его друг сержант Капустин и спрашивает ласково и участливо:

— Мать у тебя жива?

— Жива.

— Ну и слава богу! А все же жаль бедняжку. Хорошая старушка. А сын у нее не совсем удачный. Ну, пойми ты, голова еловая, как же можно осветить дорогу? Чтоб фрицам показать, куда лучше стрелять?

— Надо осветить дорогу, — твердо повторил Елфимов, — но так, чтоб немцы этого света не видали и не замечали.

— Хорошая старушка. Жаль бедняжку, — упорно стоял на своем сержант.

Но Соловей пропустил его реплику мимо ушей.

— Надо для этого, — продолжал он, — найти в лесу гнилое дерево.

Разыскали в лесу старое, гнилое дерево. Труха от этого дерева светит ночью, словно циферблат. Набрали этих «светлячков» несколько мешков и усыпали ими всю дорогу до танка. Светлячки сами светились, а света не рассеивали.

Вот таким-то манером и вытащили тяжелый танк из-под самого носа у фрицев. После этого сержант ободрительно похлопал по плечу Елфимова и сказал ему:

— А старушка твоя не прогадала, родив такого, как ты.

Не желая остаться в долгу, Елфимов ответил:

— Возможно даже, что ей больше повезло, чем твоей.

А чтоб окончательно отомстить сержанту за его издевки, Соловей-пташечка тут же, не сходя с места, запел. Капустин бросился бежать куда глаза глядят...

Недавно я побывал в Н-ской части. Меня познакомили с Соловьем-пташечкой. И вот рассказал он мне любопытную историю о своей переписке с родителями:

— Мои старики живут на Волге, в колхозе «Победа». Переписка у нас самая точная.

Папаша — не большой охотник до писательства. А мамаша, дай ей бог здоровья, та старается изо всех сил.

К примеру, описал я домой подробно, как мы гоним немцев и как перерезали их коммуникации.

В ответ старуха написала мне:

«Не знаю, сынок, что это такое коммуникации. Но ежели они фашистские, то продолжайте их резать до полного конца».

А дальше, доложу я вам, начинается интересная история. Папаша мой, оказывается, подарил танк Красной Армии.

А я об этом не знал. Может, он и написал мне. Но, видно, письмо не дошло.

Но вот раз через один освобожденный населенный пункт, где мы стояли, прошла танковая часть. И на одной машине я успел прочитать надпись: «Подарок колхозника Степана Кузьмича Елфимова, колхоз «Победа» Саратовской области».

«Ага! — подумал я. — Вот какие дела! Надо своих стариков потешить и передать им привет от родного танка». И написал я им благодарственное письмо

чужим почерком, как будто от водителя танка, и подписался: «С. Пташечка». И адрес дал: свой номер полевой почты, товарищу С. Пташечке.

И тут развернулась активная переписка между моими родителями и С. Пташечкой. А наши ребята были предупреждены на этот счет и письма мне аккуратно передавали.

В одном из писем С. Пташечка сообщил им, что он в боевой обстановке познакомился с их сыном, с Елфимовым. И что сей ефрейтор Елфимов — браваый парень, и все хорошие достоинства, надо полагать, усвоил по наследству от своих дорогих родителей.

Тут же я добавил, что особенную радость бойцам, командирам и политработникам их сын доставляет своим замечательным пением, за что С. Пташечка тоже приносит им сердечную благодарность.

Вскоре после этого получаю из дому письмо. Пишет сам папаша. И пишет он мне, то есть Елфимову, что совершенно запутался и не понимает, в чем дело. Получил он, видите ли, письмо от настоящего водителя танка. И фамилия у того танкиста — Петух.

«Кто же, — спрашивает папаша, — управляет моим танком? Петух или Пташечка? Или, может, у вас там петухи называются птахами? Но тогда почему у Петуха — один адрес, а у Пташечки — другой?»

Задал мне задачу старик. И вот мучаюсь я целую неделю и не знаю, что ответить и как мне выйти из этого положения. . .

В тот же день я встретил капитана Николаева. Между прочим, рассказал ему о своей беседе с Елфимовым и об истории с Петухом и Пташечкой.

Капитан весело рассмеялся.

— Значит, и вы попались, — сказал он. — Все это он сочинил. Его отец действительно подарил танк Красной Армии. А остальное — переписка и прочее — сплошная выдумка. Соловей-пташечка, видите ли, пишет рассказ на эту тему для фронтовой газеты. Вот он на вас и решил проверить свой писательский талант.

Вот он! Мой!

Я стоял на тротуаре на площади Маяковского и, несмотря на то что июльское солнце, не считаясь с моим возрастом и служебным положением, обращалось со мной по-панибратски, чувствовал себя превосходно. Этого, конечно, нельзя было сказать о пленных немцах, которых в этот момент вели по улице. Вот уж второй час, как они бредут, — мрачные, обшарпанные, сгибаясь под тяжестью своего позора...

Вдруг рядом со мной кто-то воскликнул:

— Вот он! Мой!..

Я повернулся и увидел маленького русоголового мужчину в обширных белых брюках и в синей безрукавке. Чуть повыше расстегнутого воротника помещалось лицо — удивительно мягкое и лукавое.

— Простите, кого вы там увидели? — спросил я обладателя роскошных брюк и лукавого лица.

— Вот он! — И мужчина пальцем показал на щеголеватого немецкого офицера, на левой ноге которого задумчиво болталась разорванная штанина. — Вот он! Мой!

Через полчаса мы шли вниз по улице Горького, и мой новый знакомый рассказал следующую историю.

— Я рос в городе Конотопе. Но сие, как сами изволите видеть, длилось недолго. Ну, лет до четырнадцати — не больше. Потом я перестал расти, все-речь и надолго.

Но в этом небольшом помещеньице сидел большой порок, из-за которого я с малых лет нес мученический крест. Я любил передразнивать людей. Это была страсть упоительная и непобедимая. Я был всецело поглощен тем, что подмечал у окружающих смешные черточки, жесты, манеру разговаривать.

Я копировал всех знакомых мальчишек и девчонок, и пап и мам, и дядюшек и тетюшек, кустарей-одиночек и членов профсоюзов.

За это мне здорово попадало. Ибо всяческая паредия есть критика. А за критику начали обижаться еще в древнем Египте, в дни царствования покойного Псаметиха Седьмого, да будет ему земля пухом. . .

Мне было лет шестнадцать, когда в Конотоп приехал театр. Я удостоил труппу своим вниманием и посетил все премьеры. Из природной скромности я имел обыкновение сидеть не в ложе и не в партере, а инкогнито стоял на галерке. Это мое инкогнито было особенно необходимо, ибо на верхотуру я пробирался «зайцем», не желая затруднять кассира размером мелкой монеты.

Так как я не был рецензентом, то спектакли произвели на меня сильное впечатление. И вот однажды я решился. Пробрался за кулисы к режиссеру и откровенно сказал ему, что согласен еще более укрепить его талантливым коллектив.

— У меня, мальчик, не детский театр, — сказал он басом.

Он каждый день говорил басом. А басом он говорил, когда бывал под мухой.

— Я давно перестал быть мальчиком, — ответил я. — Мне через полтора года стукнет восемнадцать лет.

— Что же, старик, умеете делать? А ну, изобразите.

Я понял, что он смеется надо мной. И я тут же изобразил его самого — как он ласково и нежно разговаривает с местным начальством, когда оно бывает в театре.

Мой первый актерский дебют под наблюдением сего многоопытного режиссера кончился тем, что великий мастер пришел в ярость и вышвырнул меня вон. Я большой скоростью катился вниз по лестнице и как сейчас помню — там было всего-навсего четырнадцать ступеней: здание театра в Конотопе не отличалось тогда особой монументальностью.

Я поднялся, отряхнулся и, насколько позволяли обстоятельства, бодро зашагал по улице. Прошел я один квартал. Вдруг слышу сзади рокочущий бас:

— Вернись, я все прошу!

Он был настоящим любителем искусства и ценителем талантов, этот режиссер. Я вернулся.

Я играл пажей и принцесс, беспризорных мальчигов и куцых королей, злых колдунов и добрых старух.

Но я, кажется, слишком обременяю вас своей биографией. Буду закругляться. Перейду прямо к вопросу, который вас интересует.

Я выступал в концерте в одной воинской части. Это было в Белоруссии летом сорок первого года. Я был загримирован Гитлером потому, что исполнял комический монолог — речь Гитлера о блицкриге. Чтоб быть выше ростом, я обул сапоги на высоких каблуках.

Вдруг узнаем, что немцы, прорвавшись в тыл, окружают лес, где мы находимся. Началась суматоха, пальба. Я куда-то побежал и наткнулся на фрицев. Представьте себе замешательство этих идиотов, когда они увидели перед собой своего «фюрера». Я воспользовался этим и удачно скрылся в кустах.

Бродил я по лесам недели три. Потом попал к партизанам. Командир сказал:

— В нашем хозяйстве и такая мелочь нужна. Стрелять умеешь?

— Стреляю, как Вильгельм Телль. А, как известно, тот попал в яблоко, лежащее на голове сына.

— Снайпер, — резюмировал командир.

К кому это относилось — ко мне или Вильгельму Теллю — я не разобрал.

Потом командир сказал:

— Я тоже когда-то метко стрелял. Но теперь уже не та рука. Недавно был в засаде и целился в кокарду на пилотке фрица.

— Попали?

— Куда там! Промахнулся. Пуля заехала фашисту в лоб. . .

И вот я, игравший королей и принцесс, стал исполнять роли кустов и пней. Я сживал на лесных дорогах с автоматом, замаскировавшись или кустом орешника, или сосновым пнем.

И, если в показаниях немецких пленных вам

приходилось читать о том, что «в белорусских лесах в нас стреляет каждый пенъ», то с гордостью могу сказать, что одним из таких пней был я.

В нашем районе недавно появился новый немецкий комендант. Прежнего коменданта партизаны отравили на тот свет с секретным заданием — приготовить укромное местечко для Гитлера. Новый комендант не учел опыта своего предшественника и начал куражиться.

Вызывает меня командир нашего отряда и говорит:

— Хочу побеседовать с немецким комендантом. А так как я с покойниками не имею обыкновения разговаривать, то надо доставить его сюда целым и здоровым. Поймаем его на живца. Понял?

Я ничего не понял и ответил:

— Понял.

Командир внимательно поглядел на меня и сказал:

— Нет, ты ничего не понял. Комендант, как это говорится, равнодушен к женскому полу. Вот ты актер и должен тут сыграть лучшую роль во всем твоём репертуаре. Ты временно поселишься в местечке, где он живет. У тетки Маланьи Савчук. Она будет предупреждена, тетка Маланья. А ты к ней приедешь в качестве племянницы из Бобруйска. Эта племянница должна быть какая-нибудь рыжая и накрашенная. Вот она и должна завлечь его сюда к нам. Сумеешь, актер?

— Постараюсь сыграть.

— Наш парикмахер Васюк достанет тебе всякие локоны и перманенты. Нужное платье и кофточки с разными сборочками и оборочками тоже будет. Украшений у тебя никаких нет?

— Завалаялась, — говорю, — одна небольшая золотая вещичка.

— Что именно?

— Характер.

И вот появилась в местечке расфуфыренная племянница тетки Маланьи. Плыву изящной походкой по улицам, сверкаю рыжим париком, кручу и верчу

подведенными глазами и прочими наглядными пособиями.

Ключуло. Комендант обратил на меня внимание.

Он без ума. Но я держусь недотрогой. Немец выходит из себя, начинает меня всячески страшить. Но тут я дарю ему из своего актерского багажа пару эффектных улыбок — и он сразу меняет тактику и опять превращается в «вежливого кавалера».

А в местечке все жители, глядя на меня, откровенно плюются, с теткой Маланьей даже родственники перестали разговаривать.

Все шло хорошо. У меня уже был разработан чудесный план, как заманить этого олуха в лес.

Но вдруг все сорвалось. Утром узнаем, что мой поклонник темной ночью «сократил линию фронта» и бежал из местечка, увлекая своим доблестным примером весь немецкий гарнизон. Что-то фрицам, видимо, не очень понравилось в обстановке на фронте.

Но разлука оказалась недолгой. Представьте мою радость, когда сегодня среди пленных я узрел того самого немецкого коменданта. Вот почему я так закричал:

— Вот он! Мой!..

Рассказ сержанта

Нас трое в кузове. Я и два моих случайных спутника — один агроном из МТС, другой комбайнер.

Нас подбрасывает на ухабах, мы то и дело энергично сталкиваемся лбами и тем самым скрепляем наше знакомство.

В кратких перерывах между этими лобовыми атаками мои соседи по кузову ведут между собой деловой разговор. Очень, скажу я вам, странный разговор.

— Где начинать думаете? — спрашивает один другого.

— Начнем с пулеметного гнезда.

— А бригада Кулябки где будет?

— На седьмой роте.

— А Слонов?

— Уборку начнет при штабе полка.

— А косить где завтра?

— У фельдфебеля на речке.

Тут я не выдержал и попросил своих спутников объяснить мне толком, о чем они беседуют.

— Вот о чем, — ответил смеясь комбайнер. — Мы с товарищем агрономом воевали с фашистами в этих самых местах. На этом самом поле, где теперь колышется добрая пшеница. Агроном был в звании сержанта, а я — рядовым бойцом. И сейчас по привычке мы отдельным участкам присвоили названия, которые они у нас имели в военное время. Вон там слева, возле кустарника, стояла в обороне седьмая рота, теперь там действует Кулябка, один из лучших бригадиров колхоза «Победа». Ну и так далее. Понятно?

— Ну, а что значит «у фельдфебеля на речке»?

— Об этом вам расскажет товарищ сержант, — кивнул комбайнер на агронома. — Он знает эту историю лучше моего.

Сержант (он же агроном) не заставил себя просить. Он лукаво усмехнулся и начал:

— Был у нас в части парень. Родом из Сибири. В тайге воспитывался, а там всякий мужчина — сле-

допыт и охотник. И как пошел он в армию, то сразу пожелал стать разведчиком. «Охотился, говорит, за таежным зверем и хочу сейчас поохотиться за фашистским волком». И вот наш сибирский охотник начал бродить по Брянским лесам и выслеживать немцев. Звали его Герасим Носков. Сведения имею, что он жив-здоров и работает сейчас в колхозе.

Как-то ранним утром Носков пошел в разведку.

Он скинул с себя военное обмундирование и напялил какой-то допотопный зипун, грязный и залатанный, оснастил себя такими же портками, а ноги обул в лапоточки, сплетенные, наверное, еще при Василии Шуйском. Прихватил небольшую рыболовную сеть. А надо вам знать, дорогой товарищ, что на Брянщине очень много всяких речушек и озерешек, в которых водятся и окунь, и лещ, и другая хорошая рыба.

И вот ленивой, спокойной походкой идет не бравый солдат Герасим Носков, не боевой разведчик, а нечесаный деревенский облом с простоватой улыбкой на лице. Идет на озеро рыбку ловить. Видимо, ему, дурню, больше и делать нечего в военное время.

Шествует он и, чтобы не скучать, сам себе отдает по всем правилам приказание:

«Товарищ Носков, вам надо проникнуть на правый берег озера и выяснить, какие воинские части противника расположились в деревне Песчанки».

И сам себе отвечает:

«Есть проникнуть на правый берег озера и выяснить, какие воинские части противника расположились в деревне Песчанки... Кажется, в этих Песчанках расположилась и моя знакомая Маруся».

Но тут же строго оборвал себя:

«Разговорчики отставить! Выполнять приказание!»

«Есть выполнять!»

Нечего греха таить, малость чужаковат был Герасим Носков. Но это, как говорится, к делу не относится.

Слушайте, что было дальше. Вышел Носков на горку. Спустился к озеру. А там на берегу высоченный камыш. Тот самый, о котором поется в песне... Ой, чтоб тебя черт побрал!..

(Это восклицание относилось не к камышу и не к знаменитой песне «Шумел камыш», а к ухабу, на котором полуторку вместе с пассажирами подбросило на полметра от земли.)

Короче говоря, — продолжал сержант, — не прошло и получаса, как наш славный рыболов очутился в фашистских руках.

Толстый фельдфебель со свиным рылом дал ему два раза по шее и сказал:

— Сейчас мы тебе будем делать капут.

И запер Герасима Носкова в какой-то амбар.

Прошел день — никакого капута нет. Вызвали Носкова на допрос к долговязому лысому обер-лейтенанту. Тот долго с ним канителился, но ничего путного от «этого идиота» не добился. Снова дали ему по загривку, и опять повели в амбар. . .

Через день-другой приходит фельдфебель со свиным рылом и велит Носкову выходить. Снова потащили на допрос. Но уже к другому начальнику. Более лютому.

Целую неделю мучили и терзали Носкова. Он ходил весь в синяках и кровоподтеках, но блаженная улыбка не сходила с его физиономии.

В конце концов гитлеровцы поверили, что этот лохматый деревенский парень — дурак и простофиля. Фельдфебель объявил Носкову, что он будет обслуживать господ офицеров: чистить им сапоги, ставить самовар, колоть дрова и получать затрецины.

Прошло дней десять. Герасим полностью вошел в свою роль. Работал и получал затрецины.

А затем Носков отдал себе приказ:

«Прекратить комедию!»

«Есть прекратить комедию!»

— Ух!

Это «ух» относилось к тому, что мы снова стукнулись лбами.

После краткой паузы рассказчик продолжал:

— Он проник в чемоданы к господам офицерам, забрал карты и документы, пришел к фельдфебелю и говорит ему:

— Гутен морген! Рыбку, а? Лещик? Сазан? Окунь?

Хи-хи... Офицеры рыбку... А? Давай мой сеть...
Пойдем. Хи-хи-хи...

Фельдфебелю понравилось это конкретное предложение. И он пошел с Носковым на озеро.

Впереди Носков несет на плечах сеть и хихикает. Сзади с большим револьвером на боку шагает фельдфебель.

Идут. Повернули вправо, там, где сейчас посеян овес, вышли на косогор. Уже и озеро показалось. Идет Носков... Идет Носков. Один.

А где же герр фельдфебель?

А вон он позади — лежит в кустах, лицом вниз. Как это случилось?

Носков изловчился, сделал быстрый поворот назад, накинул сеть на голову фельдфебеля, тот запутался, и разведчик поспешил оглушить его крепким ударом. Гутен морген!

В тот же вечер Носков предстал перед своим командиром...

— Эге! — сказал вдруг, спохватившись, сержант. — Мне сходить. До свидания. Желая всего хорошего. Эйх! — застучал он в кабину шофера. — Остановись, Кузьмин!

— Спасибо за рассказ, — сказал я. — Очень рад был познакомиться с вами, товарищ сержант-агроном. А можно узнать вашу фамилию?

— Игнат Перепечко.

Машина остановилась. Игнат Перепечко бодро перемахнул через борт. Мы остались вдвоем с бойцом (он же комбайнер).

Боец смеясь сказал:

— Ну и наврал же вам сержант!

— Как? Неужели его рассказ — ложь?

— Нет. Только насчет фамилии... Никогда он Перепечкой не был. Зовут его Герасим Носков.

Машина промчалась дальше, воюя с ухабами и рытвинами. Я обернулся и увидел, как Игнат Перепечко... виноват, Герасим Носков шагал мимо рослой пшеницы, размахивая хворостинкой.

Али-бен-Гали

Его настоящая фамилия не то Галонкин, не то Галушкин. Но это не имеет значения.

На афише о нем сказано ясно и коротко:

— Знаменитый иллюзионист и манипулятор, страшный факир Али-бен-Гали.

Тише! Началось представление.

О дальнейшем в тот же вечер мне поведали Али-бен-Гали и... еще один факир.

На сцену лениво индусской походкой вышел гордый и непреклонный Али-бен-Гали. Факир был закутан с головы до ног в пеструю мануфактуру. Он по-индусски милостиво взглянул на публику, приложил руку к сердцу и чалме и затем на далеком и непонятном языке произнес какую-то фразу, которая, видимо, заключала в себе непере译имую игру слов.

Казалось, что здесь, в клубе Н-ской части — в основном бору под Пропойском, — запахло слонами, повеяло Гангом, Брамапутрой и другими менее популярными водоемами благословенной Индии.

Факир улыбнулся по-индусски и тут же, не сходя с места, стал творить чудеса, утвержденные репертоном.

Он вынул из собственного рта не менее двадцати метров дефицитной ленты. Затем принял вовнутрь два кинжала и еще кило полтора железа. После чего, ничем не закусывая, выпил пятнадцать стаканов холодного чаю, чем привел в явное смущение директора военоторговской столовой, издавна утверждавшего, что «чай — не водка, много не выпьешь».

Покончив с чаепитием, вспотевший индус раскрыл рот, и в нем, под аплодисменты публики, показалось белое пластмассовое яичко. Это же белое яичко вслед за тем аккуратно выскакивало из правого уха и левой ноздри всемогущего факира.

Вслед за тем Али-бен-Гали сошел с подмостков в публику, и здесь ловкость его рук проявилась с необычайной силой. Он вынимал свое загадочное белое

яичко из-под пилоток, из карманов зрителей, и пораженные зрители никак не могли постичь, каким ветром занесло в их казенное обмундирование эту постороннюю вещичку.

Ободренный успехом, факир вошел в раж.

— Товарищ сержант, прошу посмотреть, что делается в вашем левом кармане. Внимание!

Сержант, к всеобщему удивлению, собственноручно вынимает из левого кармана своей гимнастерки белое яичко.

— А теперь взгляните, что там такое спрятано в вашем маленьком портфельчике, — обратился он к медсестре.

Та раскрывает портфельчик и — всеобщее оживление в зале! — вынимает оттуда белое яичко.

— Алло! Внимание! Товарищ капитан! — обратился факир к бравому усатому офицеру, сидевшему в первом ряду. — Потрудитесь, пожалуйста, товарищ капитан, кашлянуть, но посильнее.

Капитан охотно кашлянул. Из его рта прямо в руки факира вылетело... Нет, не белое яичко, нет!

Факир взглянул на предмет, находящийся в руке, и почувствовал, как он мне потом рассказывал, что волосы на его парике становятся дыбом. Его бросило сразу в холод и в жар. У него в руке какое-то другое яичко; не белое, а как в сказке: «То было яичко не простое, а золотое».

Зал грохотал от рукоплесканий. А знаменитый иллюзионист и манипулятор, страшный факир и артист первой категории, непревзойденный Али-бен-Гали стоял среди публики растерянный, и его мозг усиленно вырабатывал вопросительные знаки. Что за чудо: откуда взялось золотое яичко, куда девалось белое?

Меж тем усатый капитан, не подозревая, видимо, какая непогода бушует в душе индуса, жал ему руку и говорил:

— Bravo! Я понимаю, что это лишь ловкость рук. Но очень чистая работа! Хвалю!

Факир немножко пришел в себя. Он вобрал в себя воздух и невольно взглянул на яичко в своей

руке, взглянул ... хотел крикнуть: «Воды!» Но, вспомнив, что он только что проглотил пятнадцать стаканов чая, постеснялся. Он крепко сжал зубы, чем вовремя задержал готовый вырваться наружу крик удивления и отчаянья: в его руке лежало яичко, но не золотое, а простое, белое яичко!

Что все это значит? Какое-то чертово наваждение! Куда девалось золотое яичко? И как очутилось в его руке опять белое яичко? .. Это, по всей вероятности, от переутомления... Галлюцинация зрения... Ну, ничего. Пока надо работать.

Надо работать! Он подошел к четвертому ряду. Пальцы опытного манипулятора пришли в движение. Вот сидит девушка-боец с медалью, у нее в руке букет полевых цветов. Небольшое отвлечение внимания — и белое яичко незаметно легло в букет.

— Прошу вас, товарищ, развернуть свои прекрасные цветы. Внимание!

Снайпер Валя Белкина, волнуясь и краснея, разворачивает букет. И там среди белых ромашек и голубых колокольчиков лежит...

Факиру стало дурно. Ему почудилось, что вот-вот упадет к его ногам, звонко стукнувшись о каменный пол, его бедное, истомленное сердце.

Подумать только: в букете лежит опять не белое яичко, не простое, а золотое!

Нет, дальше сегодня работать нет сил. Неловко поклонившись публике, Али-бен-Гали уходит за кулисы. Он вынимает из кармана халата яичко...

Но оно уже опять не золотое, а простое, белое-белое, словно черт слизнул позолоту.

Нечем дышать! Индус больше не индус. Он сердито сбрасывает с себя чалму, халаты и волшебные улыбки. Он выбегает на улицу, где любимица публики заслуженная майская ночь показывает на небесной встраде свои диковинные манипуляции: то прячет за облачко лунный диск, то вновь выкатывает его на звездный ковер.

Он сел на пенек и стал жадно курить, тщетно пытаясь вместе с дымом папиросы развеять свои тревожные мысли.

Вдруг он почувствовал, что кто-то стоит за его спиной. Кто это? А! Усатый капитан. Что ему надо?

— Товарищ артист, — произнес капитан, — отдыхаете? Воздух у нас здоровый. И спокойно сейчас у нас. Как говорится, временное затишье, ничего существенного.

Артист молчал.

— Чисто работаете, — продолжал капитан, — особенно...

Луна, видимо, сразу догадалась (впрочем, как и вы, читатель), что сейчас произойдет интересный разговор, и, несколько нарушив график своей работы, остановилась у самого края облака.

— ...особенно этот фокус с золотым яичком...

Али-бен-Гали вздрогнул и быстро повернулся к капитану, поймав при свете луны еле заметную улыбку, выглянувшую из-под его молодецких усов.

— Что тут смешного?

— Разрешите представиться — капитан Алибашев; в недалеком прошлом — маг и чародей, человек-змея, индусский факир Али-Баш.

— Что? Вы? Али-Баш! Я же с вами встречался в Уфе! Но эти усы...

— Усы — дело наживное. Собственноручно вскормил и вспоил их на страх врагам.

— Значит, золотое яичко — ваша проделка?

— Простите, коллега, моя. Тряхнул стариной. Кажется, ничего получилось. Не разучился?

— О! Точно камень с плеч... Ну, а девушка, что в четвертом ряду, с букетом? Каким образом очутилось среди цветов золотое яичко?

— Эта девушка — снайпер Белкина и моя жена, бывшая моя ассистентка. Небольшая ловкость рук — и яичко было передано ей.

— Вот как! Теперь мне все ясно.

— Словом, напоролся индус на индуса. Номер сверх программы.

— А как вы стали офицером?

— В самом начале войны мы вместе с женой вступили добровольно в армию. Ну, и воюем вот уже три года.

— А золотое яичко?

— Видите ли, я не совсем забросил свою старую профессию. Изредка тренируюсь. А в прошлом году совершил «гастрольную поездку» в тыл к немцам... Вот, закурите мой «Казбек»... Ходил я в разведку. Один. Переоделся в штатское. А в кармане у меня было, кроме двух гранат, шесть золотых яичек. Коротче говоря, поймали меня, черти. Привели в какую-то землянку. Там было пять фрицев. Их старший задал мне какой-то вопрос. Я открыл рот, чтоб ответить, и немцы ахнули, увидав, что у меня изо рта выскочила золотая «яйка». Для меня этого было достаточно, чтоб в одно мгновение в карман каждого фрица легло по золотому яичку... У вас, кажется, потухло? Попробуйте из этой трофейной зажигалки. Кстати, не откажите оставить ее у себя на память... Так вот я говорю немцам: «Господа! Обратите внимание на ваши карманы! Алло!» Каждый из них хватается за карман и вынимает оттуда по золотому яичку. Всеобщий восторг и удивление! Я пользуюсь их восторгом и делаю следующий, не принятый на обычных концертах трюк: хватаю со стола гранату и бросаю ее в немцев. Словом, через полчаса я с концерта возвратился домой, в свою часть. В результате этой гастрольи Гитлер потерял пять фрицев, а я — пять золотых яичек. Осталось одно, которым — еще раз простите! — я сегодня и работал... Ну, хватит курить. Идем, Али-бен-Гали, ужинать. Али-Баш угощает. С нами не откажется поужинать и фельетонист. Согласны? Хотите яичек? Нет, нет, не золотых, а простых, настоящих. Вы их любите: вкрутую или всмятку?

Сильное воображение

— Оказывается, вы уже кое-что слышали об этом. Гм... Странно... Уверен, что вам приврали малость. Ну, так уж быть, я сам все расскажу, ничего не утаивая.

В Н-ской части мне рассказывали, что капитан Перехватов — большой мастер рассказывать всякие истории.

Капитан начал:

— Чего я больше всего не люблю — это врать и плести чепуху...

Я с уважением взглянул на капитана и подумал: «Как часто ему, бедняге, приходится делать то, чего он больше всего не любит!»

Он продолжал:

— А поэтому не буду ни на шаг отступать от истины. Тем более что есть, слава те господи, живые свидетели, которые мне солгать не дадут, если бы я даже почему-то вдруг захотел стать на этот скользкий путь.

Дело было в июне месяце сего тысяча девятьсот сорок пятого года. Получил я путевку в санаторий.

В нашей части врачи что-то нашли у меня. Что именно, до сих пор не знаю, потому что сия находка имеет только латинское название.

А уже в санатории я получил из части письмо, в котором мне писали, что врачи эту самую латынь нашли не у меня, а у моего дальнего однофамильца — майора Перехватова. И вот, черти, — простите за выражение, — болезнь майора приписали капитану! Когда я узнал об этом, мне даже неловко стало. «Не по чину берешь», — упрекнул я себя в порядке здоровой самокритики.

Так вот, приехал я в санаторий. Приехал, понюхал и сразу понял: сплошной мертвый час.

Конечно, кругом, как полагается в санаториях повышенного типа, дивная природа, чудесные виды, птички, аллеи, громкоговоритель и даже два фонтана.

Так что воды кругом — хоть пруд пруди. Вдобавок ко всему этому мне еще прописали душ и ванны, чтоб смыть с меня ту самую латынь, которой болел не я, а майор Перехватов.

Начал я изучать обстановку и убедился, что попал в окружение уважаемых людей выше среднего возраста. На десять километров кругом ни одной кокетливой улыбки, ни малейшего блеска пленительных очей.

Главное же, не с кем серьезно побеседовать. А у меня как раз к этому времени накопилось с десятков новых анекдотов и смешных историй.

«Все мое ношу с собой», — хвастался один философ. Но я не таков: ежели я знаю что-нибудь интересное, я не могу носить с собой, я должен поделиться со знакомыми.

Человек, как вы знаете, я общительный. А тут приходилось молчать и скучать. Единственное культурное развлечение — это два раза в день измерять себе температуру. Весьма, доложу я вам, занятно: утром — тридцать шесть и шесть, вечером — опять тридцать шесть и шесть. Но вскоре, убедившись, что я не расту на этой работе и что нет у меня никаких шансов на повышение, я оставил в покое термометр.

Брожу я этак по санаторию и чувствую, что от скуки и безделья начинаю жиреть и что моя фигура постепенно теряет свои привлекательные очертания.

Однажды иду я по одной из аллей парка. И вдруг...

Вы, конечно, знаете, как в свое время было проведено мероприятие по открытию Америки. Матросы Колумба, завидев издали материк, все разом, по команде, радостно воскликнули «Земля!», потому что должен был кричать о небе.

Да, я увидел глаза, синие, как ясное небо. Но поскольку аналогичные глаза уже до меня многожды описаны как в прозе, так и в стихах, то я повторяться не буду и отсылаю вас к первоисточникам.

Короче говоря, я увидел перед собой на скамейке с книжкой в руках молоденькую, довольно худенькую девушку. Этакую кисейную барышню в платьице

с васильками. Рыжие кудряшки, наивные синие глаза, слегка подернутые грустью.

Ну, совсем не похожа она на тех добрых, мужественных девушек, которых показывают в кино. С этой точки зрения она была явно выраженным отрицательным типом. Может быть, даже продуктом интеллигентской среды.

Но, каюсь, мне этот продукт понравился с первого взгляда. Я тут же решил: «Поскольку я сам положительный тип, то я займусь ее воспитанием и подыму ее до себя, то есть на более высокую ступень».

Я не бюрократ, не волокитчик и не люблю откладывать дело в долгий ящик. Через десять, самое большее через двенадцать минут я уже познакомился с девушкой.

А через пятнадцать, самое большее через шестнадцать минут она уже обращала на меня столько внимания, сколько телеграмма на телеграфный столб.

Сами понимаете, что я в конце концов сделал: я ушел.

Однако не таков капитан Перехватов, чтоб вешать нос на квинту. Я решил действовать. Точная и тщательная разведка — залог успеха всякой серьезной операции.

В канцелярии санатория я от малоразговорчивого делопроизводителя мог только выудить следующие анкетные данные. Она дочь подполковника медицинской службы и домашней хозяйки. Зовут ее Варвара Семеновна Литовцева. Пол женский.

Засим я направил свои стопы в библиотеку. Надо изучить вкусы и помыслы моего объекта. Чем она интересуется? Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты.

Старушка библиотекарьша оказалась на редкость разговорчивым товарищем. Я произвел на нее сильное впечатление. Тем более что, вступив под своды библиотеки, я прямо с ходу завел тонкий разговор о толстых журналах.

Вскоре я незаметно перевел беседу на тему об абонентах библиотеки, об их культурных запросах.

Моя собеседница поведала мне немало интересного. Так, например, одна разноцветная дамочка категорически отказывалась брать классиков.

— Я все время культурно расту, — говорила она, — а классики застыли на одном месте...

А другая, такая же, долго и тщательно выбирала себе книгу. И в конце концов остановилась на справочнике по коневодству. Потому что справочник был в сиреновом переплете, что очень гармонировало с ее платьем...

Я внимательно слушал библиотекаршу и в соответствующих местах смеялся. Но, сами понимаете, меня интересовало другое. Что читает та? Какие произведения завлекают Варю? Очень осторожно и будто равнодушно я коснулся этой деликатной темы. Оказалось, что кисейная барышня налегает главным образом на стихи.

Отсюда я сделал вывод, что к ней надо подъехать на поэтическом «виллисе», зацепить томным взглядом, стукнуть луной, ошеломить звездами, пронзить вздохами.

Все это я пустил в ход. Я ничего для нее не жалел: ни задумчивых взглядов, ни тщательно отшлифованных фраз о ясном месяце, горячих звездах и тому подобных пустяках.

Не помогло — она оставалась холодной, как полторы дюжины снежных королев, как тридцать три порции эскимо.

И тогда решился я на крайнее средство. Понимаете, я перестал владеть собой. Я больше не отвечал за свои действия. Я был невменяем... Дайте, пожалуйста, закурить. Скорее! Очень волнуясь при одном воспоминании. И будь я не начфином, а ямщиком, я бы тут спел тенором: «Налейте, налейте, налейте вина, рассказывать больше нет мочи...»

Ну, вот... Итак, будучи в состоянии сильного аффекта, я решил... врать.

Вы знаете, что по должности начфина я ни в каких подвигах не мог быть замешан. Но на мне форма капитана летной гвардейской части.

И вот как-то при встрече с этой девушкой я не-

взначай завел разговор о том, что сегодня, мол, не-летная погода, но мне однажды пришлось в такую погоду подняться в воздух и сбить целую кучу вражеских самолетов — не то пять, не то семь штук: из-за плохой видимости нельзя было сосчитать.

Все тридцать три порции эскимо начали таять на моих глазах. Она оживилась, взглянула на меня приветливо и сказала:

— Это очень интересно. Расскажите подробно.

Тут я дал волю своей отдохнувшей фантазии. Я плел такую несусветную чепуху, что сам все время поражался и ужасался, хотя давно должен был бы привыкнуть к своим художественным вымыслам.

У нее глаза все более разгорались от любопытства, и, когда я останавливался, чтобы перевести дыхание, она застенчиво говорила:

— Рассказывайте, рассказывайте. . . Это так интересно!

Мы встречались теперь очень часто. Ах, как я ей мстил за прежний холод! Я издевался над ней. Ибо только издевательством можно посчитать те небывалые о необычайных подвигах в воздухе, которыми я угощал ее.

А она, святая простота, слушала, одобрительно кивала кудряшками и, краснея, твердила:

— Как это все интересно! Рассказывайте, рассказывайте. . .

Так незаметно прошли две недели. Однажды после обеда иду я к себе в палату, а няня мне говорит:

— А ваша рыженькая сейчас уезжает. Уже машина у подъезда.

Я кинулся к подъезду. Действительно стоит машина. А у машины она. Кисейная. . .

У меня ноги чуть не подкосились. Я собрал последние силы и бросился назад.

У машины я увидел девушку в форме старшего лейтенанта авиации, с двумя орденами на гимнастерке. И это была она, Варя!

Значит, старший лейтенант Литовцева в течение двух недель заставляла капитана Перехватова плести

чепуху. Представьте себе, как она все это время смеялась надо мной! Да, все это похоже на юмористический рассказ.

Вот и все. Она уехала. Мы даже не попрощались. Ну, хватит. Мне пора. Заболтался я с вами. Надо домой. Ох, и попадет мне от жены!..

— Вы, капитан Перехватов, женаты?

— Уже целый месяц.

— А кто ваша жена?

— Как это «кто»? Наивный вопрос. Моя жена — старший лейтенант Варя Литовцева. Мы потом встретились в городе. Оказывается, я ей понравился еще в санатории... за неумную фантазию и сильное воображение.

Энская застава

Уже далеко за полночь. Сидим в комнате лейтенанта. Бойцы и командиры рассказывают о своем житье-бытье, о происшествиях на границе.

Первым рассказывает «старик» Андрей Сомов. Старичку всего двадцать три года от роду. Он уже год в пограничных войсках и за это время стал отделенным командиром и недавно награжден серебряными часами. Сам он из деревни Балево Тульской области.

— Прибыл я на эту заставу, — рассказывает Сомов, — одиннадцатого октября этого года (1937 год). Назавтра пошел в ночной дозор, вернулся без всякого результата. Через день опять пошел вместе с проводником Зайцевым и его собакой Лекарем. Засели мы в секрете. Сидим минут двадцать. Слышим шорох и шевеление кустиков. Думаем, наши, часовые. Но вдруг шорох затих. Стало подозрительно. Поползли мы к кустам, видим на куске вспаханной земли след — шел человек не полной ступней, а на носках. Замечаем — Лекарь нервничает. Ползем дальше — уже полный след, но засыпан табаком. Вдруг слышим на той стороне стук отъезжающей машины. Сразу догадались, в чем дело, — привезли шпиона, отправили и теперь возвращаются. Ползем дальше. Лекарь уже нашел след без табака и уверенно ведет нас. Привел к кусту, а за кустом сидит человек и, как потом выяснилось, смазывает подошвы сапог керосином. От неожиданности он очень испугался, поднял руки и закричал: «Честное комсомольское слово, я свой». При обыске нашли у него заряженный браунинг, патроны, нюхательный табак, бутылочку с керосином, компас со светящимися стрелками и три тысячи рублей советских денег. Потом на допросе он сознался и рассказал, как он к границе приехал на машине в сопровождении господина капитана, как они долго сидели в машине, ожидая, пока луна скроется за тучи...

С гордостью рассказывают пограничники об успехах своих товарищей. Подвиг бойца — подвиг всей заставы.

А рассказать есть о чем. Недавно Зайцев с Ереминым вышел в дозор. Вдруг видят, бежит волк из-за границы. Бойцы сразу подумали: это неспроста, волк чем-то напуган. За четвероногим хищником должен следовать двуногий. Так оно и было. Не прошло и двадцати минут, как двуногий хищник с маузером в руке лежал на земле под штыками пограничников. Когда привели его на заставу, он сказал:

— Раз четырнадцать я ходил в Латвию (1937 год) и все благополучно. Первый раз пошел к вам и сразу попался.

Может быть, пограничник Андрей Сомов и не догадывается, какие замечательные ценности хранятся в его деревянном сундучке.

Я попросил открыть сундучок и показать, если можно, письма с родины, из деревни Балево.

Сомов охотно исполнил мою просьбу. Вот письмо старика отца, полное искреннего, неподдельного чувства:

«Здравствуй, любезный и дорогой наш сынок, Андрей Алексеевич! Посылаю я тебе свое родительское почтение и с любовью низкий поклон от папаши вашего Алексея Васильевича и желаю всего хорошего и счастливого успеха. Дорогой мой сынок, Андрей Алексеевич, письмо я твое получил, за которое сердечно благодарю, и я могу тебя поздравить с повышением чина, и я должен гордиться, что сын рабочего и колхозника достиг таких успехов, что защищает советские границы, которые добыты нашим потом и кровью. Прошлые года я бы сам пошел мстить помещикам и капиталистам, которые драли с нас шкуру... Еще, дорогой сынок, могу поздравить тебя с праздником двадцатой годовщины Октября, чтобы мы все встретили ее с радостью...»

Второе письмо, датированное другим числом, — от брата колхозника Матвея:

«...А насчет тебя, то есть о твоих подвигах на границе, мы слышали по радио дома. И многие в нашей деревне тоже слышали. Твои героические подвиги знает вся страна. Тебя у нас в деревне все спрашивают. Папаша своим ушам не верил, когда радио заговорило дома о пограничнике Сомове... Я считаю себя виноватым, что редко пишу тебе, но за это, я думаю, ты простишь, все дела-то колхозные, то пленум сельсовета, то заседание правления. В колхозе дела все в порядке. Трудодней в нашей семье пока восемьсот, но будет тысяча...»

И третье письмо от дяди, счетовода:

«Здравствуй, дорогой Андрюша! Получил твое письмо и вместе с тобой радуюсь за награду, за часы, полученные тобой от наркома внутренних дел БССР. Награда сама по себе не столь ценна как ценность, но она ценна как подарок, заслуженный тобой за твою честную, верную службу. Так и надо. Продолжай же и впредь быть гражданином, старайся овладевать техникой дела, учись всему хорошему, отбрасывай плохое. Стремись в свободное время к учебе, читай газеты, книги и старайся внимательно читать, разбирайся».

...Вот чем крепка Энская застава. Вот что такое советская пограничная застава, эта маленькая деревянная крепость со скромным плетнем из лозняка.

Вдруг пришлось прервать интересное чтение писем.

Только что поймали шпиона. Его привели на заставу. Он шел по тракту, как шакал, озираясь. Пройдет десять шагов, остановится, прислушается и крадется дальше. Вот он приблизился к большой придорожной березе.

Но дальше пошел уже с поднятыми вверх руками, и не один, а в сопровождении пограничника.

В этот вечер я впервые видел живого шпиона. Впервые присутствовал на допросе шпиона.

На заставе он вначале прикинулся дурачком. Дескать, давно сочувствует большевикам, вот и бежал

в СССР. Он, мол, всегда слушал советские радиопередачи. Похвалился знакомством с советской художественной литературой: назвал несколько популярных писателей.

Но в тот же вечер, после того как, тщательно обыскав, ему предъявили уличающие его документы, он заговорил иначе.

Рассказал, как его обучали в школе шпионов. Как офицер соседнего государства подвел его к границе и показал дорогу в Советскую страну.

Кивнув на красноармейца, задержавшего его у березы, шпион добавил:

— Ловко он меня поймал. . .

Пели птицы

В лесу пели птицы.

В эту октябрьскую утреннюю рань удивительным казался восторженный перезвон птичьих голосов. Как будто птицы пожелали, собираясь в теплые края, на прощание спеть родной земле свои лучшие весенние песни.

По лесной дороге, усыпанной первой золотой листвой, медленно продвигались три грузовика с бойцами.

Путь лежал на Белосток.

На передней машине вместе с бойцами ехал автор этих строк — корреспондент одной из московских газет. Я был одет в шинель, вооружен с ног до головы и самому себе казался очень страшным и мужественным: на правом боку висела большая кобура с наганом, на левом — фотоаппарат и кожаная командирская сумка.

Я слушал птичий концерт и просматривал в блокноте свои путевые записи.

Молчание прервал боец Крамов.

— Везде и повсюду, — сказал он, закуривая папиросу, — по всей географии птица задушевно поет: хоть под Витебском, хоть под Белостоком, хоть под самым Нью-Йорком... Товарищ корреспондент! — обратился он вдруг ко мне. — Умеете ли вы, как писатель, обрисовать пение птицы?

Все рассмеялись.

— Нет. Чего не могу, того не могу.

— А позволите спросить, о чем вы в блокнот все записываете?

— Всякие факты из местной жизни. О том, как жили здесь люди при панах.

— Полезная вещь. Если охота на то есть, прочитали бы нам какую-нибудь вашу заметку.

— Что ж... Можно. Вот, например... Я вам эту историю наизусть расскажу — она у меня еще окончательно не написана. Так вот... Отсюда недалеко,

в маленьком городишке, разговорился я с одним местным жителем.

«Прожил я на свете, — говорит он, — почти сорок лет. И что я знаю, что умею? Одно лишь умею — быстро одеваться. Никто в нашем городе не умеет так быстро одеваться, как я. Разбудите меня посередине ночи, и через две минуты я буду в полной амуниции. Вы удивляетесь, как человек приобрел такую специальность? На это я вам отвечу простыми словами: целых двенадцать лет, как один день, я был начальником добровольной пожарной дружины в нашем городке. Днем или ночью не успеет еще где-нибудь понастоящему загореться, а я уж там, первый из первых. Двенадцать лет, до самого вашего прихода, я мучился с этой пожарной дружиной. Дело было так: двенадцать лет тому назад мы подали бумагу нашему старосте пану Гржембицкому, чтоб он разрешил нам организовать добровольную дружину. Пан Гржембицкий ответил: «Никаких дружин. Обойдемся без вас». Мы не успокоились и послали бумагу воеводе. От воеводы пришел ответ: разрешить. Созвал нас пан Гржембицкий и сказал: «Пся крив! Раз воевода разрешил, я не могу запретить. Нехай будет дружина. Но если в городе случится пожар, вы об этом знать не будете. Я запретил каланче оповещать вас о пожарах». Что делать? Я пошел к старому Юзефу, что стоит на каланче, и сказал ему: «Юзеф, за каждый пожар ты имеешь от меня пять золотых». И как только Юзеф увидит где-нибудь дымок, он посылает ко мне свою старую Ядвигу. И хотя Ядвига хромает на правую ногу, мы все-таки первыми прибежали на пожар. Но дело еще вот в чем: староста запретил мне собирать дружину звонком или гудком. И мы придумали так: если я бегу по городу и козырек моей фуражки повернут набок, значит, в городе пожар и вся дружина должна собраться у мясных лавок на базаре. И вот так двенадцать лет я бегал по городу с козырьком на боку. И вот так...»

Не успел я закончить рассказ о пожарнике, как из глубин лесного сумрака донеслись выстрелы. Шум выстрелов все нарастал, приближаясь к дороге.

Машины мгновенно остановились. Командир отряда Мелешко отдал бойцам приказ двинуться цепью в лес и выбить оттуда бандитов.

— А вы, товарищ корреспондент, — сказал мне командир, — останетесь у машин. Будьте начеку!..

Отряд скрылся за деревьями. Я храбро залег у машин, готовый мужественно отразить любое нападение с тыла или с флангов. Я прислушивался к пению птиц и свисту пуль, и мне страстно хотелось совершить изумительный подвиг.

Через полчаса отряд вернулся. Бандиты были рассеяны. Мне не удалось совершить подвига.

Три грузовика с бойцами двинулись дальше по лесной дороге, усыпанной первой золотой листвой.

Путь лежал на Белосток.

Плохое поведение дяди Петера

С самого начала войны я собирал и записывал антигитлеровские анекдоты. Их сочиняли в самой Германии и за рубежом.

Некоторые из этих анекдотов послужили мне материалом для фельетонов.

Если память мне не изменяет, это произошло в Гамбурге.

Вечером в тесной квартире стариков Мюллеров собрались гости. Собственно говоря, посторонних там никого не было. Все свои: братья, дяди, тети. Ну, просто зашли посидеть, поговорить.

Забыл упомянуть, что в числе собравшихся был все же один посторонний. Это часовщик Гейнц, старик, давно проживавший в каморке у Мюллеров.

Итак, сидели тихо, смиренно. Говорили о том о сем. . .

Виноват, тут я малость ошибся. О том о сем даже не заикались. Говорили главным образом о погоде. И все согласились на том, что, когда идет дождь, тогда бывает мокро, и наоборот: всегда бывает сухо, когда дождя нет. Очень оживленно беседовали.

А в углу, в древнем, облезлом кресле, безмятежно дремал дядя Петер. И вдруг старик вскакивает и говорит:

— Дорогие фрау и герры! Ну ее к дьяволу, вашу погоду! Я вам лучше расскажу. . . Тут все свои? Свои! Тогда я вам расскажу смешной анекдот.

Дядя Петер приглушенным шепотом стал рассказывать:

— Однажды Гитлеру не спалось. Вот он поздней ночью вызывает к себе Геббельса и говорит. . .

Все зашикали:

— Тише! Тише! Ради бога, тише!

Дядя Петер еще больше снизил голос. Он рас-

сказал анекдот до конца. Озираясь, оглядываясь, все тихонько посмеялись.

Но все ли смеялись? Нет, не все. Обратите внимание: часовщик Гейнц не смеялся! А это, как увидите дальше, неспроста.

Тетушка Клара сказала:

— Ах, дядя Петер, дядя Петер! Вы неисправимы. Разве можно так издеваться над нашим фюрером?! Ну, расскажите еще что-нибудь.

Дядя Петер начал:

— Однажды Геринг заметил, что он начал худеть. Вот он вызывает врача и говорит ему. . .

Этот анекдот оказался еще смешнее первого. Все от души смеялись.

И опять-таки не все. И опять-таки — обратите внимание! — часовщик Гейнц даже не улыбнулся. А это, как увидите дальше, неспроста.

Потом дядя Петер рассказал еще три анекдота: еще о Гитлере, о Геббельсе и о Гиммлере. Все смеялись: дядя Петер хорошо рассказывал.

Но вдруг рассказчик заметил — это было как раз к концу последнего анекдота, — что часовщик Гейнц не только не смеется, но недовольно пожимает плечами. Более того: часовщик поднялся и демонстративно ушел в свою каморку.

Дядя Петер, встревоженный, вернулся в свое кресло. Он сел и задумался: «Неужели этот Гейнц — тайный агент гестапо? Вот старая собака! Ну и вапался же я, как легкомысленный мальчишка! А главное — из-за чего? Из-за каких-то анекдотов. Да, нехорошо получилось. Это может быть чревато последствиями. Неужели он на меня донесет, на старого знакомого? А может, пойти к этому хрычу объясниться? Дескать, все это, мол, невинные шутки, и не стоит обращать внимания. Пойти, что ли?»

Дядя Петер встал, прошелся по комнате, а потом незаметно для остальных юркнул в каморку часовщика.

— Старина Гейнц, — сказал дядя Петер, сдерживая волнение, — мы ведь старые друзья. . . И я не хотел бы, чтобы между нами было что-нибудь такое. . .

Понимаете, я не совсем здоров... Ну, и немножко, признаться, выпил. Мне кажется, что я вел себя сегодня не очень хорошо...

— Очень! — заворчал часовщик. — Очень нехорошо!

— Но это ведь несерьезно, — оправдывался побледневший дядя Петер. — Это ведь только легкие анекдоты.

— Все равно! — закричал часовщик и стукнул кулаком по столу. — Все равно! Даже анекдот нельзя коверкать. В первом анекдоте о Гитлере вы малость напутали. Не Геббельса он вызвал — вот в чем все дело. А Гимmlера! А как вы безбожно напутали с Герингом. Дело не в том, что эта свинья худеет, а в том, что ей хочется еще больше разжиреть. Вот что самое смешное! А вы черт знает что понесли! Я даже не выдержал и ушел... А потом вы, друг мой, рассказываете очень старые анекдоты. Дайте я вам расскажу несколько самых новых. Приезжает Гитлер к Маннергейму и говорит ему...

Беседа дяди Петера с часовщиком Гейнцем продолжалась около двух часов.

Лоэнгрин

В кармане убитого немецкого майора фон Ленау найден дневник. Приводим отрывки.

«...Наш генерал — хитрая бестия. На днях он ни с того ни с сего пошел в оперу. Нам сначала показалось странным, почему их превосходительство вдруг заинтересовались такой ерундой.

Но потом мы поняли, что и опера может пригодиться в военном хозяйстве».

«...Вчера генерал собрал господ офицеров и сказал нам следующее:

— Вот вы живете в Париже уже два года. А кто из вас ходил в оперу? Никто. Предлагаю сегодня вечером посетить спектакль под названием «Лоэнгрин». Запомните — «Лоэнгрин»!

Придется пойти. Вот они, тяготы войны!..»

«...Ходил в эту самую оперу... как ее... Названия какое, черти, придумали. Ничего особенного. Сплошная музыка. Скука смертная. Ни одной хорошенькой певички. В буфете — хоть шаром покати. А еще называется — парижская опера! Один обман уважаемой публики. Обер-лейтенант Кляммер крепко проспал два действия и три антракта. А я выдержал. Я вообще во всех походах показал себя очень выносливым...»

«...Генерал вызвал нас к себе.

— Ну что, — спрашивает, — ходили в оперу?

Хором отвечаем:

— Так точно, согласно приказанию!

И тут же задает нам коварный вопрос:

— А на что обратили внимание?

Молчим, конечно. На что там можно обратить внимание? Одна чепуха.

— Однако что вы оттуда вынесли?

Тут мы испугались. Оказывается, надо было оттуда что-нибудь вынести, а мы ушли с пустыми руками.

Генерал заметил наше смущение и говорит:

— Самое замечательное в этой опере — это парад войскам. В параде занято всего пятнадцать актеров. Но создается впечатление, что их там тысяча. Они кружатся по сцене и, проходя за кулисами, меняют в своем костюме какую-нибудь вещичку. И кажется, что это нескончаемая лента солдат. Знаете, как это называется?

— Обман уважаемой публики, — ответил я.

— Это называется — массовая сцена. Так вот... Тактику массовых сцен мы должны применить здесь, в Париже. Вам известно, господа, что основные немецкие силы из Франции спешно переброшены в Россию. Нас тут осталось мало. Но этим французикам и прочим мы должны представить дело так, как будто нас много. Чтоб они не догадались, что задняя наша часть совершенно оголена. На днях устроим шествие по Парижу. И чтоб был настоящий «Лоэнгрин»! Понятно?!»

«...Занят с утра до вечера. Готовимся к этому самому... Лоэнгрину. Разбил всю морду ефрейтору Шульцу, пока втолковал ему, что такое опера. Кажется, понял...»

«...Уф! Устал. Только что закончилась наша опера. Полный обман уважаемой публики.

Кружились мы по площади. Вокруг одного бульвара.

Вторая рота прошла два раза. В первый раз у фельдфебеля Мейера были закручены усы кверху, во второй раз опущены книзу.

Четвертая рота прошла три раза. В первый раз во главе с обер-лейтенантом Шуллером, на носу которого были очки. Во второй раз с обер-лейтенантом Шуллером, без очков. В третий раз — опять без очков, но и без обер-лейтенанта.

Пятая рота маршировала два раза. В первый раз шел ефрейтор Шульц с побитой мордой (это я его на репетиции угостил). Во второй раз морда Шульца была забинтована.

Шестая рота прошла один раз в штанах, другой раз в подштанниках. . . А чтоб французы не смеялись, генерал велел взять заложников из числа жителей ближайших кварталов. Двух на всякий случай расстреляли.

Словом — настоящий «Лоэнгрин». . .»

«. . .Колеса, черт их побрал, стучат. Поезд уж слишком быстро идет. Назавтра после нашего «Лоэнгрин» получил предписание отправиться на Восточный фронт. Еду.

Вот как закончилась опера. . .»

Живые и мертвые

В 1943 году мне попала вырезка из голландской газеты. Там я узнал о Зондерване. Не могу не поделиться с читателями своими знаниями.

Всякий маленький негодяй стремится стать большим негодяем.

Голландский Зондерван — это квислинг, набранный мелким шрифтом. Чин у Зондервана небольшой: он всего-навсего командир военизированных отрядов голландских фашистов. Но он хочет выслужиться, он хочет стать большим негодяем.

И Зондерван старается. На днях в Гронингене он выступил с докладом. Он сказал следующее:

«Среди наших противников на Восточном фронте часто наблюдаются случаи людоедства. Однажды мне пришлось наблюдать двух русских полковников, которые ели своего ординарца».

Наши полковники сидели в блиндаже и спокойно завтракали, разрезая на мелкие порции своего вкусного ординарца. Они так увлеклись едой, что не заметили Зондервана, стоявшего поблизости. Ах, какой ординарец! Ах, какие полковники! Ах, какой дурак и негодяй этот Зондерван!

Почему Зондервану поручено было выступить публично с такой несусветной чепухой?

Чтоб получить ответ на этот вопрос, нам надо заглянуть на похороны Толленера. Заткните, пожалуйста, нос! Дело в том, что Толленера хоронят, хоронят и никак похоронить не могут. Весь Антверпен, извините, завонял Толленером.

Этот молодчик — такой же Зондерван, как и сам Зондерван. Молодчик съездил на русский фронт. Оттуда он поспешно уехал, успев захватить с собой хорошую русскую пулю, которая застряла у него чуть-чуть пониже спины.

Прибыв в Антверпен, бравый вояка Толленер не

замедлил скончаться. Тут бы его похоронить — и, как говорится, конец венчает дело.

Но покойник принадлежал к ассоциации адвокатов. Какой-то услужливый чиновник из ассоциации распорядился устроить траурную обедню.

Адвокаты, члены ассоциации, заявили протест. Дескать, собаке собачья смерть, и нечего гитлеровскому прихвостню устраивать обедни. Как это звучит по-голландски, мы не знаем. Но думаем, что на всех языках мира ненависть к фашистам звучит одинаково крепко и сильно.

Короче говоря, было созвано экстренное собрание ассоциации.

А в это время мертвый фашист, не дождавшись решения общего собрания, начал сильно благоухать.

И вот собрались адвокаты и постановили: избрать новый комитет ассоциации.

Новый комитет собрался через несколько дней.

А пока что мертвый фашист лежал без погребения и отравлял воздух Антверпена.

И вот собрался новый комитет и единогласно постановил: отменить обедню, ибо собаке собачья смерть и т. д.

Немецкая полиция поспешила на помощь покойнику и арестовала членов комитета ассоциации.

Немецкая полиция своими силами приступила к организации обедни.

Этим не замедлил воспользоваться покойник, и, простите, завонял не только Антверпен, но и его окрестности.

Вот в эти дни гитлеровцы и поручили вышеупомянутому Зондервану поднять авторитет фашистов и всячески опорочить русских. Зондерван выступил со своим «докладом», в котором и поведал о съеденном ординарце. Короче говоря, вслед за покойным фашистом живой фашист сделал все возможное, чтобы еще более испортить воздух в Антверпене. . .

Так было в Голландии. Оказывается, приблизительно то же самое случилось в Бельгии.

В городе Флерн умер некий Понс, фашистский легионер. Местный священник категорически отка-

зался участвовать в похоронах гитлеровского агента. Священник справедливо рассудил: собаке собачья смерть. Как это звучит по-бельгийски, мы опять-таки не знаем. Но, видимо, хорошо звучит.

Понса хоронил германский капеллан, которому помогали германские солдаты.

Германским капелланам в Бельгии нельзя жаловаться на безработицу. На днях во Фламери надо было похоронить одного фашистского бездельника. И опять-таки местные священники отказались отправлять службу. Пришлось срочно пригласить германского капеллана из соседнего города.

Не любят ни живых, ни мертвых гитлеровцев. Но нам кажется, что одинаково относиться и к тем и другим нельзя. Если по справедливости рассудить, то мертвый фашист гораздо приятней живого. Даже сравнить нельзя.

Мирное время

Это было в мирное время. То есть в три часа ночи 9 мая 1945 года.

Мой знакомый, сотрудник Радиокomiteта К., возвращался домой с работы. Яко тать в ноши, он пробирался темными, малозаметными переулками. У него, видите ли, не было ночного пропуска.

И вдруг (самое страшное всегда происходит неожиданно) он увидел на углу постового милиционера. В тот же миг душа тов. К. стремительно ушла в пятки.

Означенные пятки, получив такое пополнение, тотчас же кинулись было вспять, увлекая за собой всю особу тов. К. в тихий сумрак расположенного рядом двора.

Милиционер — надо отдать справедливость его зоркости — заметил маневр правонарушителя и в ту же минуту принял соответствующие меры.

— Стой! — крикнул он мужественно и решительно.

Тов. К. растерялся и остановился. Милиционер начал приближаться к нему.

«Сейчас он меня отведет в милицию, — мелькнуло в голове тов. К., — и буду я там торчать до утра, и еще придется заплатить штраф. Не повезло!..»

И вдруг (самое приятное тоже всегда происходит неожиданно) подошедший милиционер бросился на шею тов. К. и дрогнувшим от волнения голосом произнес:

— Гражданин! Товарищ! Радость-то какая! Поздравляю вас с великой победой!

Они обнимались и целовались не менее пятнадцати минут.

— Ночь-то какая сегодня! — говорил счастливый милиционер счастливому тов. К. — А место здесь тихое, одинокое. Хотелось с кем-нибудь поговорить; душу излить. Вот спасибо, что вы подвернулись! Вот спасибо!..

Девятого мая, рано утром, автор этих строк вышел на улицу. Первые тридцать шагов прошли споккойно. А потом вот что случилось.

Из подъезда какого-то дома выскочил человек в военной шинели без погон.

С неистовым криком «Митя!!!» он бросился ко мне на шею.

— Митя! — повторил незнакомец. — Какое счастье, Митя! Поздравляю! Такая победа, такая победа! Дожили мы с тобой, Митя!

Я его тоже горячо поздравил. А затем сказал:

— Товарищ, видно, вы обознались.

— Что ты! Ничуть не обознался.

— Но я не Митя!

— Я и сам подозреваю, что ты не Митя. Но... понимаешь... Как-то неловко было кинуться на шею незнакомому человеку... Вот я и выдумал Митю... Какой день, какой день! Ну до свиданья... Митя!

В первые часы мирного времени значительный процент москвичей был охвачен поцелуями.

(В последнюю минуту начали поступать сообщения, что то же самое происходило не только в столице, но и на периферии.)

На улицах и площадях люди, знакомые и незнакомые, бросались друг другу на шею, обнимались, целовались и поздравляли друг друга с праздником.

Особенно большое количество поцелуев — самого лучшего качества — досталось военным товарищам.

Но и работникам тыла немало перепало и рукопожатий и поцелуев.

Автору этих строк в течение короткого времени удалось зарегистрировать следующие факты:

1) На улице Горького, в хлебном магазине, продавщицы и покупатели взаимно вежливо целовались.

2) На Плющихе, в трамвае линии «Б», пассажир поцеловал кондукторшу и тут же получил сдачу той же монетой.

3) Жильцы и жилички одного большого дома на Сретенке с упоением качали управдома. А подбро-

сив его вверх, не расходились по своим квартирам; а оставались на месте и бережно ловили его, заключая в свои объятия.

4) На площади Свердлова, у Малого театра, актер самым искренним образом обнял рецензента.

5) В Лаврушенском переулке писатель горячо лобызал критика. Критик прослезился...

В общем было хорошо, весело, чудесно!..

Люди,
письма,
радости,
и огорчения



Птицын, Птицын и еще раз Птицын

Я написал небольшой рассказ для сатирического журнала. Тема — курортный ловелас.

Надо было дать фамилию главному герою рассказа. Я наугад раскрыл телефонный справочник, ткнул пальцем и попал в какого-то Птицына.

Эта фамилия и была присвоена шустрому курортному сердцееду.

И рассказ был озаглавлен так: «Проделки Птицына».

О выходе очередного номера сатирического журнала была заметка в «Литературной газете». В частности — «Проделки Птицына», юмористический рассказ. . .»

Ко мне в редакцию пришел гражданин средних лет.

— Здравствуйте. Вы меня, конечно, не знаете. Разрешите отрекомендоваться — Птицын. Да, тот самый Птицын, о котором вы рассказец сочинили.

— Позвольте. . . но. . .

— Не отнекивайтесь. Я все знаю. Я даже знаю, кто вам про меня дал материал. Сургучов. Сережка Сургучов! Это факт. Я — председатель артели. А он — мой заместитель. Вот и подкапывается.

— Не понимаю.

— Сейчас вам все станет ясно. Сургучов обвиняет меня в растрате. Но я эти две тысячи взял в виде аванса. Обязательно покрою. А между тем кто заключил с частником договор на постройку сарая? Сургучов! Кто во время моего отпуска совершал товарообменные операции? Сургучов! Могу все документально подтвердить.

— Пожалуйста. Приходите с документами, будем разговаривать.

— Обязательно приду. А две тысячи внесу — не беспокойтесь. А насчет моей квартиры в вашем рассказе тоже упомянуто?

— Упомянуто.

— Вот негодяй! Не беспокойтесь, — это я о Серрежке Сургучове. Обо всем, подлец, успел доложить. Тут действительно мой грех. Вам, конечно, все известно, так что я в двух словах добавлю. Дал я жилищному кооперативу несколько ящиков гвоздей, стекла и оконных приборов. Ну, и — обыкновенное дело: выкроили они мне квартиру с балкончиком. А Серрежке завидно. А как он сам, смею вас спросить, дачку приобрел? Вам неизвестно?

Как только он вышел из кабинета, зазвенел телефон. Беру трубку.

— Алло! Это говорит Птицын.

— Какой Птицын?

— Вот в этом-то и все дело. Не Игнат... Обратите внимание, не Игнат, а Иван.

— В чем дело?

— Вы написали рассказ о Птицыне. Ясное дело, не обо мне, а об Игнате.

— Так чего же вы хотите?

— Хочу жену свою успокоить. Литературные статьи пишет Игнат Птицын. Он, наверное, что-то и напутал. Вот вы про него рассказ и написали. А я — Иван. Служу в горздраве. Значит, вы писали об Игнате, а я, Иван, тут ни при чем? Условились?

Я повесил трубку. Тотчас же в кабинет вошел молодой человек.

— Пардон. Я — Птицын.

— Вы — Игнат Птицын?

— Ошибаетесь. Вы хотите сказать — Николай Птицын. Да. Я и есть Николай Птицын. Тот самый, кому посвящен ваш рассказ. Я догадываюсь, о чем идет речь.

В тот же день меня посетили еще пять Птицыных.

Стол находок

— Я хочу вам, дорогой товарищ... — в этом месте посетитель кашлянул. — Да, я хочу рассказать об одном нелепом факте... Можно?

У меня в городе уютная квартира, и о дачных прелестьях я не помышляю. Но кое-когда съездить в гости к приятелю на лоно природы — это могу себе позволить.

Посетитель после небольшой паузы продолжал:

— И вот на днях, в воскресенье, поехал я к приятелю на вышеупомянутое лоно. Ехал я в электричке. Сидел у окна, любовался пейзажами и чуть не проморгал свою остановку. Выскочил я, как оглашенный, на платформу, когда поезд уже тронулся — и, видимо, основательно тронулся, потому что как сумасшедший помчался со свистом и гудением.

Стою я на платформе и всем своим нутром ощущаю: что-то забыл в вагоне. А что именно?.. Вдруг хватаю себя за голову:

— Шляпа!

Новенькая серая фетровая шляпа, пятьдесят девятый размер! Ее-то я и забыл в вагоне.

Что делать? Делать нечего. Надо идти в гости.

С обнаженной головой побрел я на дачу к своему приятелю. А там оказалась уйма гостей и комаров. Облепили они меня — и гости и комары — со всех сторон. Узнав о моей потере, начали они — имею в виду только гостей — успокаивать меня, утешать.

Дескать, не надо вешать нос на квинту. Шляпа — дело наживное. Главное — здоровье. И вообще забудьте, уважаемый Гурков... .

Ах, да. Я забыл вам представиться. Простите, пожалуйста. Моя фамилия — Гурков. Афанасий Николаевич Гурков, младший экономист. Но фамилию мою можете не печатать. Впрочем, как хотите. Если для пользы дела нужна фамилия — не стесняйтесь... .

И вот они мне там, на даче, говорят:

— Забудьте, уважаемый Гурков, о вашей утрате.

Будьте выше шляпы. Вы еще не старый человек. У вас в жизни будет еще много разных шляп.

Потом гости, перебивая друг друга, начали рассказывать аналогичные истории о вещах, оставленных в вагонах поездов дальнего следования и пригородного сообщения.

Одна из присутствующих здесь гражданок рассказала о том, как ее дед, очень рассеянный старик, забыл в вагоне электрички задремавшую бабушку.

— Вероятно, дедушка получил свою бабушку в столе находок, — пошутил какой-то молодой человек.

Все рассмеялись, а мой дачный приятель, подняв кверху указательный перст, воскликнул:

— О!

Он тут же разъяснил причину своего восклицания.

— Товарищ Гурков, — сказал он, обращаясь ко мне. — Завтра утром мы вместе поедem в город и зайдем на вокзале в стол находок. А вдруг?.. А?..

Рано утром, отдохнувший и искусанный комарами, я вместе со своим приятелем поехал в город.

Наконец мы в столе находок. Начальник этого стола (по-старому — столоначальник) встретил нас очень приветливо, как будто он нас давно ожидал и вот мы его осчастливили своим посещением или визитом вежливости.

— Садитесь, пожалуйста, — сказал он, широко улыбаясь.

Дальше между мной и начальником стола произошел разговор, который я вам передаю, дорогой товарищ, со стенографической точностью. Если будете об этом писать, то обязательно заверьте читателя, что тут нет ни грана вымысла. Начал я:

— Вчера, товарищ начальник, я в вагоне забыл свою шляпу.

— Очень рад. Очень рад. . .

— Чему, собственно говоря, вы так радуетесь, товарищ начальник?

— Тому, что вы обратились именно к нам. Мы стоим на страже интересов всех рассеянных, всех, я бы сказал, ротозеев.

— Спасибо.

— Не стоит благодарности. Это — наш долг. Итак, вы в одном из вагонов забыли шляпу. Приметы?

— Мягкая фетровая шляпа, пятьдесят девятый размер.

— По последним данным статистики, мягких фетровых шляп пятьдесят девятого размера имеется в Советском Союзе в количестве... дай бог память...

— Но есть, товарищ начальник, еще одна важная примета. На подкладке, справа, чернильным карандашом написано: «А. Гурков».

Начальник снизошел вниз со своего табуретного трона, шмыгнул в соседнюю комнатку и торжественно вынес оттуда шляпу — не просто шляпу, а мою.

Но погодите радоваться, дорогой товарищ. Вынес начальник мою шляпу и говорит:

— Все правильно. Это действительно ваш предмет. А теперь опишите, пожалуйста, приметы абажура.

— Чего? Чего?

— Абажура!

— Какого абажура?

— Это вы сами скажите — какой он из себя, как выглядит?

— Да у меня с собой не было никакого абажура.

— Это, гражданин, вы так утверждаете. А по документам выходит совсем другое. По документам черным по белому написано, что в вагоне номер семь, на одной скамейке справа по ходу поезда, обнаружены забытые вещи: а) шляпа и б) абажур. А посему «а» можете получить только вместе с «б», то есть шляпу вместе с абажуром.

— Но ведь это чужой абажур. Я действительно вспоминаю — рядом со мной в вагоне похрапывал какой-то взъерошенный дачник. Он вез телевизор, корзинку с яйцами, серую кошку и сиреневый абажур. Видимо, выскакивая из вагона, он спросонья успел захватить самое ценное — телевизор, яички, кошку, а сиреневый абажур оставил.

— Какой, вы сказали, абажур?

— Сиреневый, большой.

— Совершенно верно. Приметы сходятся. Абажур ваш.

— В жизни у меня не было сиреневых абажуров. И не будет! Это сейчас для меня ясно. Отдайте мне мою шляпу — я спешу на работу.

— Без абажура шляпа не выдается. Оба эти предмета, гражданин, заактированы вместе. Понятно? Русским языком вам говорю — заактированы! Акт менять не можем — он уже зарегистрирован. Ни шляпа без абажура, ни абажур без шляпы для нас не существуют.

— Как же тут быть?

На этот вопрос ответил мой дачный приятель, который все время молчал и не вмешивался в нашу интересную беседу с начальником стола.

— Вот что, товарищи! — сказал он. — Дело ясное. Акт — дело великое. Садитесь, товарищ Гурков, и пишите заявление о выдаче вам шляпы и абажура. Стойте! Не перебивайте меня. Вы надеваете шляпу на голову, берете в руки абажур, выходите на платформу, заходите в какой-нибудь пустой вагон, оставляете там этот проклятый сиреневый абажур. Следом за вами идет вот эта юная девица. Ваша сотрудница, товарищ начальник? Чудесно! Она находит абажур... конечно, чисто случайно. Приносит абажур сюда. Новая находка! Пишется новый акт! Все в порядке.

К моему большому удивлению и даже огорчению, начальник стола признал этот фарс законным. Все было сделано так, как предложил мой находчивый приятель. Я получил свою шляпу.

Мое дело, как говорится, в шляпе. Но мне невесело.

Почему, почему, я вас спрашиваю, у нас еще возможно такое нелепое крючкотворство, обидное для человеческого достоинства?

Факт, который я вам рассказал, дорогой товарищ, как будто незначительный с первого взгляда. Но вдумайтесь в него. Мне кажется, что он является яркой иллюстрацией к вопросу о бюрократических извращениях, которые у нас еще встречаются. Не правда ли?

Товарищи, я жив!

На второй день своего приезда в Калинин я пошел на заседание одной из комиссий городского Совета.

Сегодня постоянная комиссия собралась в полном составе. К столу президиума подошел председатель. Посмотрел скорбными глазами на собравшихся, взял в руки звонок и решительно тряхнул им:

— Товарищи!..

Голос председателя запнулся, задрожал. Но в ту же секунду председатель овладел собой, и речь его полилась плавно и ровно.

Говорил о том, что редуют ряды. Старые работники горсовета уходят туда, откуда нет возврата. Комиссия потеряла одного из самых активных работников. Покойный еще не был стариком, он мог бы еще долгие годы работать и созидать, созидать и работать, но сильная перегрузка смяла его, он сгорел на работе...

Долго и хорошо говорил председатель.

— Мир твоему праху, дорогой товарищ! Да будет тебе земля пухом! — закончил он свою речь.

В эту минуту вошел в зал человек и сел рядом со мной на свободное место. Только он сел, а тут предлагают почтить вставанием память усопшего товарища. Мой сосед встал. Немедленно сделал печальное лицо. Склонил голову.

Затем наклонился ко мне и спрашивает:

— Товарищ, скажите, пожалуйста, кто умер?

— Член горсовета Арсеньев, — отвечаю.

— Арсеньев? Это какой Арсеньев?

Сзади кто-то пояснил:

— С железной дороги.

Баритон вскочил с места, словно его змея ужалила. Ринулся к столу президиума. Председатель глянул на него и стал бледнее бумаги.

— Товарищи, — закричал баритон, — не может этого быть! Я не умер! Я жив! Чего вы меня хоронить собрались, товарищи?!

Только минут через пятнадцать все очухались. Начали выяснять, в чем дело. Оказалось: вот уже почти полгода, как Арсеньев без всяких уважительных причин не посещал ни заседаний комиссии, ни заседаний горсовета. Начали искать Арсеньева — нигде его нет. Исчез, и след простыл.

Запросили адресный стол. Там поспешили напутать и ответили:

— Не значится по причине смерти...

Окружили члены комиссии воскресшего из мертвых и давай его стыдить:

— Обидно, товарищ Арсеньев! Ведь мы с полной искренностью почтили твою память, а ты, оказывается, не покойник, а бездельник!

Расскажу все

Он нервничал. Но старался держать себя спокойно. — Итак, товарищ фельетонист, вы все знаете. Чувствую, что вы изучили мое дело. Поэтому не буду валять дурака и расскажу все без утайки. Можете записывать.

Но предупреждаю: я не мастер художественного слова. А посему прошу извинить, если будет не совсем гладко. В моем положении даже сам Лопе де Вега стал бы заикаться.

В Москве я недавно. Раньше работал на периферии. Ближе к природе. Ближе к подсобным хозяйствам.

Я занимал скромную должность завхоза в одном небольшом, но вполне бесхозаиственном учреждении. Жил я неплохо, можно сказать, даже припеваючи, насколько это позволяли не только голосовые, но и финансовые средства.

Но в прошлом году меня вдруг потянуло к столичной жизни. И потянуло, откровенно говоря, не потому, что я хотел быть поближе к «Лебединому озеру» или «Стакану воды». Мне столько влаги не нужно.

А перебрался я в Москву только ради масштабов и расширения кругозора.

— Василий Васильич! — категорически заявил я самому себе. — Надо в Москву! Расти можно только в столице. А тебе уже под сорок — пора расти!

И вот я начал расти в районе Плющихи. Там я поступил в известный вам трест на вакантную должность юриста-экономиста.

Согласитесь, это неплохо звучит. Встреча двух передовых отраслей науки. Юрист-экономист! Меня всегда привлекали всякие двойные названия: машинистка-стенографистка, беф-строганов, пиво-воды.

Должен вам чистосердечно признаться, что ни в каких университетах я никогда не бывал. Даже самый ярый мой недоброжелатель не может обвинить

меня в высшем образовании. Но в тресте никто меня об этом не спрашивал. А я с малолетства так воспитан: раз меня не спрашивают, я молчу.

Завкадрами, принимая меня на службу, до безумия увлекся одной из моих бабушек. Его интересовали малейшие подробности из жизни покойницы: ее девичья фамилия, род занятий, в каком состояла профсоюзе и даже, если память мне не изменяет, ее отношение к воинской повинности. Три четверти просторной анкеты заняла старушка, мир ее праху!

Что же касается моей квалификации, диплома и тому подобных пустяков, — об этом не сказано было ни полслова.

Так среди бела дня я был утвержден юристом-экономистом. С таким же успехом я мог быть назначен инкассатором-калькулятором или акушеркой-массажисткой.

Должен вам сказать, что хотя и без специального юридического образования, но со своей работой я справлялся отлично. Это объясняется главным образом тем, что работы никакой не было.

За все время только раз курьерша вместе с чаем принесла мне какую-то бумажку. Я чай выкушал, а бумажку сдал в архив.

Но однажды моему безмятежному существованию пришел конец. Дело в том, что старого завкадрами сняли с работы и на его место пришел другой дядя. Такой вежливый, деликатный, мягкий. . . В этом отношении он мне напоминает вас, товарищ фельетонист.

Вот он вызывает меня к себе и вежливо, деликатно, мягко начинает мне задавать кое-какие вопросы. Я сразу иду с козыря — с моей покойной бабушки, с этой испытанной и проверенной старушки.

А новый завкадрами — опять-таки вежливо, деликатно, мягко — заявляет:

— Меня интересует не бабушка, а ее внук. То есть вы, товарищ Телятин.

Я, конечно, был польщен и не преминул поблагодарить его в самых изысканных выражениях.

— Так вот что, товарищ Телятин, — продолжал

он, — в вашем личном деле не хватает одного документа. Я думаю, вам нетрудно будет представить его нам. Речь идет о дипломе. Вы его потеряли? Но ведь копию можно достать. Буду вам очень благодарен, если поторопитесь с этим делом.

Все! На этом закончилась наша дружеская беседа, которая, как мне показалось, протекала в обстановке полного взаимопонимания.

Что делать? Не должен же живой человек пострадать из-за какой-то бумажки. «Я достану эту бумажку!» — решил я твердо.

И достал. Нет, не фальшивку, а настоящую, подлинную. Я не жулик, чтоб орудовать «липами».

В несколько южных городов, где имеются высшие учебные заведения, я разослал письма такого содержания:

«Прошу срочно выслать мне копию диплома об окончании мною вашего института в 1930 году».

Не всюду сидят бюрократы. Пять институтов не ответили. Шестой ответил.

И вот что написал шестой:

«На ваш запрос сообщаем, что копию вашего диплома об окончании вами института мы, к сожалению, не можем вам выслать, так как все документы были уничтожены еще в 1941 году, при эвакуации».

Больше мне ничего и не надо было. А главное: больше ничего не надо было этому вежливому, деликатному, мягкому завкадрами.

И я опять еще с большим прилежанием приступил к исполнению своих несуществующих обязанностей. И вдруг. . .

И вдруг я очутился здесь в редакции, у вас. Как? Почему?

Ничего не понимаю. Как лицу, несколько заинтересованному в этом вопросе, мне хотелось бы узнать, каким образом все это всплыло наружу. А?

Вы улыбаетесь, товарищ фельетонист. Держу пари, что эта вежливая, деликатная, мягкая улыбка не сулит мне ничего приятного. . .

Цыбулькин сел писать

Посетитель, чей возраст находится на ближних подступах к пенсии, вынул из бокового кармана конверт.

— Можно начать? — спросил он. — Спасибо. Я хочу, дорогой товарищ, рассказать о том сочинении, что в этом конверте: не о содержании, не о стиле, не о грамотности, а о том, как писалось письмо.

Так вот... В служебном кабинете, куда я на днях попал, висит портрет Тургенева. Почему Тургенева? Не знаю. Никто не знает. Но я не возражаю: пускай Тургенев.

В течение целого часа мы любовались друг другом: я — Иваном Сергеевичем, а Иван Сергеевич — мною.

Великий автор «Записок охотника» помог мне, спасибо ему, коротать время в ожидании Цыбулькина, секретаря отдела.

Наконец явилась старая Егоровна, курьерша. Она бережно, как фиал, наполненный терпким вином, несла на подносе стакан бледного чая. Она поставила его на стол Цыбулькина.

Вслед за этим возник перед нами сам Цыбулькин, молодой человек приятной канцелярской наружности.

Небрежно кивнув мне, сказал:

— Вы насчет письма? Знаю, знаю. Сейчас напишу, вот только просмотрю прессу.

Перед ним шесть органов печати. И я вскоре понял, что Цыбулькин — вполне сознательная личность, живо интересуется внутренним и международным положением.

Вы, дорогой товарищ, полагаю, хотите знать, кто я такой и зачем мне нужен Цыбулькин. Охотно скажу.

Недавно из Москвы, из главка, затребовали, чтоб наше учреждение срочно (именно так и сказано: срочно!) командировало в столицу сотрудника для

того, чтобы проверить вопрос, касающийся благоустройства нашего города.

Послали меня. Могли послать другого. Могли никого не посылать. Наша страна и наш город могли бы благополучно обойтись без этой командировки. Но говорят — нужно. И вот я и сопровождающие меня сомнения прибыли в столицу. Всех дел у меня здесь на полчаса. Ну, на час. Ну, на два, на три, на четыре часа. Ну, на целый день. А проторчал я более десяти дней.

За это время я побывал два раза в третьяковской галерее, один раз на ВДНХ, три раза в Музее имени Пушкина, два раза в «Арагви».

Петр Семеныч принимал меня, но не был разговорчив: «Занят, голубь, занят», «Завтра, голубь, завтра».

Голубем я ходил дней пять. Потом Петр Семеныч удивился:

— Зачем вы пришли ко мне?

— Мне сказали. . .

— До вчерашнего дня надо было ко мне. А сейчас ваш город передан Семену Петровичу. Этажом выше. Идите, голубь, к нему.

Голубь покорно побрел этажом выше. Оказалось, что у Семена Петровича с утра узкое совещание, которое вот-вот превратится в широкое. Я прождал часа четыре. А потом мне сказали, чтоб я пришел завтра утром.

На следующий день утром пришел в главк к Семену Петровичу. Человек он очень любезный, принял хорошо, называл не голубем, а дорогушей.

— Вот что, дорогуша, — сказал он, приятно улыбувшись, — ваш город перейдет ко мне от Петра Семеныча только часа в два. Идите пока в кино. А потом, дорогуша, милости просим ко мне. Буду рад. Кстати, зачем вам понадобилось приезжать?

— Меня же вызвали!

— Излишний расход времени и денег. Можно было все это проверить без вас. Но поскольку вы уже прибыли, будьте у нас как дома. Короче говоря,

идите гулять. Приходите, дорогуша, к двум часам, в четырнадцать ноль-ноль.

Я был у него ровно в четырнадцать ноль-ноль. А ровно в шестнадцать ноль-ноль он мне дважды улыбнулся, трижды обозвал дорогушей и сказал, чтоб завтра я направил свои стопы (так и сказал — «стопы») в девятую комнату к Цыбулькину. Цыбулькин уже в курсе. Цыбулькин напишет письмо заместителю министра, а он, Семен Петрович, подпишет. Желаю успеха, дорогуша. Привет семье!

Назавтра, как я уже говорил, Цыбулькин ушел с головой в газеты. Не прошло и получаса, как он поднял голову, вздохнул и сказал, обращаясь, видимо, не ко мне, а к автору «Дворянского гнезда»:

— «Спартак» еще себя покажет!

Затем уже обратился ко мне:

— Выйду в коридор покурить, после чего займусь письмом.

Курил он долго, потом сел за свой письменный стол и, полный решимости, приступил к сочинению письма заместителю министра. Я ликова! наконец-то!

И вот уже готсва целая строка! Первая строка! Но кто-то открыл дверь и объявил, что пора начинать физкультурную зарядку. Они тут молодцы: следят за своим здоровьем. Все встали в соответствующие позы и начали действовать. Я тоже присоединился к ним. Вся канцелярия (за исключением Тургенева) дружно делала вдохи и выдохи.

Покончив с этим, Цыбулькин вышел покурить.

Вскоре неутомимый Цыбулькин украсил бумагу еще двумя вдохновенными строками. Он бы еще творил и творил — помешал звонок: обеденный перерыв.

Обедал Цыбулькин не больше часа, как положено, но после обеда еще минут тридцать прогуливался по коридору с тремя сотрудниками другого отдела, курил и рассказывал очень смешные анекдоты — от души хохотали.

И вот опять Цыбулькин за столом, написал еще одну строку. Ей-ей, написал бы и вторую, кабы не

сотрудница, сидевшая слева от него, — она во время обеденного перерыва сбежала в универмаг, купила для мужа ткань на рубашки.

Все начали осматривать и обсуждать покупку. Цыбулькин, конечно, принял участие.

Минут через двадцать он вспомнил (прекрасная память!) о письме, подошел к своему столу, энергично зачеркнул недавно записанную строку, заменил ее новой.

Его кипучей деятельности помешал телефонный звонок.

Некий Олег Игнатьевич интересовался самочувствием Цыбулькина. Условились встретиться в субботу вечером. Олег Игнатьевич просил передать горячий привет жене Цыбулькина. Цыбулькин не остался в долгу и передал пламенный привет жене Олега Игнатьевича.

Положив трубку, Цыбулькин сел писать.

Короче говоря, несмотря на все рифы и подводные камни, письмо было готово к пяти часам. Полторы странички!

Письмо перепечатали и понесли на подпись к Семену Петровичу. Поздно! Он уже отбыл. Придется прийти завтра. Я попрощался с Тургеневым, захватил, дорогой товарищ, копию этого интересного сочинения. Она у меня в конверте.

Можете не читать. Дело не в содержании. Не в стиле. Не в грамотности. Дело в том, как писалось письмо.

Милейший человек

В больничной палате, в которой я лежал. . .

Немного странное начало для юмористического рассказа, не правда ли? Но ничего не поделаешь — такова жизнь. Чехов один из своих веселых рассказов начал так: «В одно прекрасное утро хоронили коллежского асессора Кирилла Ивановича Вавиловца».

Короче говоря, в больничной палате кроме меня бодро ждало своего исцеления еще четверо трудящихся.

Я сразу обратил внимание на моего соседа. Ему было под пятьдесят, не носил он ни бороды, ни усов, ни очков, ни лишних зубов. Его синие глаза излучали добро и ласку. Лицо с самого раннего утра до позднего вечера светилось пламенным приветом с восклицательным знаком.

Ласково улыбаясь, он спросил меня:

— Какая у вас, милый человек, температура?

— Нормальная.

Он очень обрадовался. Почувствовал себя самым счастливым из всех смертных.

— Нормальная? Это же прекрасно. Это же чудесно! От души поздравляю. Такой температуре, милый человек, надо радоваться. Хотя, знаете ли. . . Всякое бывает. Лежал тут до вас один парень. Чудесный молодой человек, простой, общительный. Температура у него была нормальная — день, другой, третий. А на четвертый вдруг вскочила до сорока. Вот какие дела. А с чем вы сюда пожаловали?

— Камни в печени.

— Только и всего? Боже мой, какая ерунда! Самая пустяковая операция. Могу вас сердечно поздравить. Вот кабы камни в другом месте — дело другое, канитель. А в печени. . . Даже не почувствуете, как хирург извлечет их. Для него это самое разлюбезное дело. Правда, иногда бывают осложнения. Вот в соседней палате один дядя уж пятый месяц прохла-

ждается после операции. Но с вами этого не случится. Будем надеяться.

Вслед за тем он перенес свою очаровательную улыбку на молодого гражданина, который, сидя на койке, просматривал газету.

— А у вас, милый человек, какие дела?

— Врачи сказали, что у меня ничего плохого не нашли. Назначили на выписку.

— Не нашли? Чудесно. Можно вас от души поздравить. Очень рад за вас. Вернетесь целым и невредимым домой, к семье. Жена здорова?

— Здорова. Ждет меня.

— Это хорошо, что ждет. Но все же слишком обнадеживать себя не надо. Мой сосед по дому уехал в командировку. Жена осталась дома и вот, точно как вас, ждала, ждала. А потом сбежала с одним спортсменом. Он бегун на большие дистанции, стайер. Вот поди догони! Будем надеяться, что с вашей женой этого не случится. Да и не нападись же стайеров на всех жен. . .

Я решил вмешаться в эту оживленную беседу.

— Скажите, пожалуйста, — спросил я его, — а вы сами чем больны?

— Твист.

— Что?

— Твист, милый человек.

— Это что за болезнь?

— Это не болезнь, а танец. Упражнялся я в одной компании. Слишком постарался, поскользнулся, и получилось растяжение жил.

— Чепуха!

— Понятное дело. Моя нога для вас ерунда. Мои жилы — чепуха.

— Вы меня не так поняли. Это в смысле лечения — чепуха. Ничего серьезного. Вас быстро вылечат. Очень и очень рад за вас. Хотя, знаете ли, бывает. . .

— Что там такое бывает?

— Бывает, что танцы дают нежелательные результаты. Твист — это еще полбеда. Весьма, скажу я вам, опасен рок-н-ролл. Один мой знакомый пустился

с одной девицей плясать рок-н-ролл. Начал всячески выдрючиваться и вывихнул бедро.

— Очень он страдает?

— Ничуть. Он не себе, а ей вывихнул бедро, де-вице.

Вдруг милейший человек изменился с головы до ног. Все улыбки и приветы исчезли с его физиономии. Он сердито взглянул на меня и зарычал:

— Как вы смеете? Что за манера пугать людей? Что вы каркаете как ворона? Безобразие!

В тот же день мы расстались. Меня перевели в другую палату. И больше я не видел этого милейшего человека.

Прошел год. Недавно вечером я был на вокзале — провожал жену в Кисловодск. У мягкого вагона я услышал такой разговор:

— Значит, милый человек, едете на курорт. Очень рад за вас. Чудесный воздух в Кисловодске. Мягким едете? Это превосходно. И поезд отличный — скорый. Получите максимум удовольствия. Хотя, знаете ли... За последнее время кривая железнодорожных катастроф резко скакнула вверх. Но ничего. Не сомневайтесь. Может, благополучно доедете. И такое случается.

Это был он. Милейший человек!..

Неожиданная радость

— Я сам из города Арсеньева. Так, пожалуйста, и запишите, товарищ корреспондент: город Арсеньев Приморского края.

Город тихий, без приключений. Но недавно случилось происшествие, которое иначе как головотяпством и назвать нельзя.

Есть у нас арматурный завод. Работает там слесарем Заикин Владимир Николаевич.

Я малость ошибся, сказав «работает». Сейчас он уже не работает. Ушел на пенсию. С почестями, всем цехом проводили его на отдых: сорок пять лет слесарем — это не шутки шутить.

А все же кто-то пошутил. Нехорошо пошутил.

Приносит ему почтальон пенсию. Но не восемьдесят рублей, как полагается, а всего сорок.

Пошел Владимир Николаевич в горсобес. Там его встречают с усмешками:

— Ага! Явился...

— В чем дело?

— А в том, что вы злостный неплательщик алиментов. Вот уже сколько лет, как скрываетесь от своей семьи.

— Как же я скрываюсь? Я все годы живу с семьей. У меня трое внуков.

— Ха-ха-ха! Внуки! Хи-хи-хи! Внуки! А четырехлетний сын на Кавказе?

— Не был я никогда на Кавказе. Арсеньевские это все знают — я уже пятнадцать лет никуда не выезжаю.

— Хе-хе-хе... Ай да дедушка!..

Обратился Владимир Николаевич в народный суд, где находится исполнительный лист на алименты.

Судебному исполнителю Сазоновой он пытался рассказать про свою «неожиданную радость». Но та и слушать не захотела. Ведь она заготовила обвинительную речь против этого закоренелого преступника, старого ухажера, губителя невинных женщин и малых детей.

Зачем же понапрасну терять такие благородные слова?

И она полной пригоршней высыпала эти слова на голову ошеломленного пенсионера. Целых полчаса в присутствии многих посетителей Сазонова клеймила его позором.

Когда она закончила свое неистовое выступление, Владимир Николаевич попросил ее показать исполнительный лист. Оказалось, что фамилия, имя, отчество сходятся, а вот год рождения — другой. Отец кавказского ребенка — молодой человек.

Головотяпы из горсобеса и народного суда не заметили этого расхождения, не удосужились проверить дело как следует и ополчились на старика.

— А где же мои деньги? Остальная часть пенсии? — спрашивает Заикин.

— А мы их все время отсылаем матери того мальчика. Не волнуйтесь, дедушка, когда-нибудь поймем настоящего виновника, взыщем с него и вернем вам деньги. А сейчас ничего не можем сделать.

Летучий Голлендер

Жил-был в Москве прохвост. Фамилия — Голлендер.

Мой фельетон о нем (1928 год) был озаглавлен «Летучий Голлендер».

Потому летучий, что прохвост летал из одного учреждения в другое. Отовсюду его изгоняли, как только узнавали ближе. Но всякий раз он с удобствами устраивался на новом месте, не терял при этом ни нахальства, ни зарплаты.

Он проживал где-то на Садовой. Замучил всех соседей доносами, клеветой, скандалами. Особенно доставалось его ближайшему соседу, тихому и скромному советскому служащему Колодному. Прохвост во что бы то ни стало решил завладеть комнатой Колодного. Надо для этого сделать его «чуждым элементом», лишить избирательных прав.

И вот Голлендер «случайно находит» на чердаке жестянку-вывеску — «Купец 1-й гильдии Колодный». Эту жестянку он пускает в ход по разным инстанциям.

Но эта же вывеска избобличила Голлендера. Она была написана по новой орфографии «Купец» без твердого знака и «гильдии» без «и» с точкой. Прокурор, весело смеясь, подтвердил: да, это фальшивка, беззастенчивая, глупая.

Обо всем этом я рассказал в фельетоне в «Известиях». Голлендер немедленно объявил войну фельетонисту.

В Краснопресненскую партколлегию (тогда были районные партколлегии) поступило его пространное заявление. О том, что я друг-приятель Колодного. Что каждую субботу я у него пьянствую. И что ему, Голлендеру, приходилось много-много раз усаживать пьяного Рыклина на извозчика (тогда еще были и клеветники и извозчики).

Меня вызвали в партколлегию. Председатель (хоть убей меня, не помню его фамилии) показал

мне заявление Голлендера и с лукавой улыбкой сказал:

— Ну, что скажешь, горький пьяница?

Я долго молчал. А потом вдруг меня осенило:

— Знаете, я его никогда не видел, и мне кажется, что и он меня никогда не видел, так что. . .

— Не продолжай. Я все понял.

Позвонили в Металлолом, где в это время работал Голлендер, и попросили его немедленно прийти в партколлегию.

А меня посадили за столик — папки, бумаги, чернильный прибор, пачка папирос. И я будто следователь. Сотворил себе одухотворенное лицо.

— Увидим, как он к тебе отнесется. Как к знакомому или нет?

Вскоре вбегает Голлендер. Низкорослый субъект с небольшой остроконечной бородкой. Прямо с улицы принес скромную физиономию, озаренную светлой улыбочкой.

— Привет, товарищи!

Поклонился председателю, присутствующему здесь члену партколлегии и мне. Значит, все в полном порядке. Председатель, указывая на меня, говорит:

— Ваше заявление у этого товарища. Поговорите с ним.

И вот я в роли следователя партколлегии начал беседу.

— Садитесь, пожалуйста. Вы курите? Вот папиросы. Итак, вы хорошо знаете Рыклина?

— Еще бы!

— Пьяница?

— Еще какой!

— Часто бывает у вашего соседа?

— Каждую субботу. А иногда и в пятницу.

— И это факт, что вы его пьяного усаживали на извозчика?

— Истинная правда.

— Он дебоширил?

— Страшное дело как скандалил, ругался.

— Вы хорошо запомнили его лицо?

— Очень хорошо.

Я хотел еще продлить допрос. Но председатель — человек вспыльчивый, кроме того ему надоело это самодеятельное представление, он стукнул кулаком по столу:

— Хватит! Все ясно.

Тут же Голлендера исключили из партии.

Воробей-гуляка

Первого января 1941 года в магазин влетел воробей.

Этим немаловажным событием ознаменовано было начало нового года у скромных работников прилавка в магазине № 78 в городе Серпухове.

Воробей, попав в торгующую точку, осмотрелся.

Птичка жадно устремила свои взоры на полку с алкогольными напитками.

Как раз у самой обворожительной полки стоит тумбочка. На тумбочке горшочек с искусственным цветком. На этот цветок и сел воробей.

Сидит воробей на цветке, и душу его раздирают внутренние противоречия:

«Конечно, алкоголь вреден, но бутылочки, как на грех, очень соблазнительно выглядят».

И не знал, что в эту самую минуту за ним следят. Два глаза — острых и горячих — вперились в птичку.

Эти глаза принадлежали кошке. Она смотрела, смотрела на воробья и вдруг ринулась на незваного гостя.

Воробей испугался, взмахнул крылышками и нечаянно опрокинул на пол двадцать пять бутылок вина — по несколько бутылок разного сорта.

Вот что наделал воробей!

О кознях этой коварной птички подробно рассказано в моем фельетоне «Воробей-гуляка» («Правда», 15 января 1941 года). Материалом для этого фельетона послужил акт, составленный и подписанный торговым инспектором, заведующим магазином и двумя работниками магазина.

В акте, в этом официальном документе, идет эпическое описание прилета воробья в магазин:

«Первого января в 19 часов с улицы в проходную дверь магазина влетел воробей, который, перелетев по магазину, сел на искусственный цвет, находившийся в штучном отделе магазина, на верху тумбочки-витрины, на которой были расставлены вина».

За сим авторы акта переходят к освещению деятельности кошки:

«Заметив севшего воробья на цветку, находившаяся в магазине за прилавком кошка бросилась на севшего воробья».

И вот что соединенными усилиями кошки и воробья было достигнуто:

«За прилавком магазина в штучном отделе на полу находилась сваленная с тумбочки витрины разбитая винная посуда, из которой обнаружено: отбитые горлышки с сургучом — 22 штук и 3 штуки пробки без горлышек».

Молодец воробей! Он так ловко смахнул на пол бутылки с вином, что посуда осталась цела и невредима и лишь горлышки и пробки отлетели. Это не всякий умеет! Только серпуховские воробьи!

Кроме всего прочего, воробей, как тонкий знаток и любитель, сбросил на пол вино самых разнообразных сортов. Шампанское, портвейн, мускат, ликер, нежинскую, лимонную и вишневую настойки — по одной бутылке. Брусничной настойки сброшено шесть бутылок. Самое большое внимание воробей оказал кизиловой водке — восемь бутылок.

В заключение говорится:

«Битая посуда, указанная в настоящем акте, удалена из магазина, а также вместе с посудой удален обнаруженный в битой посуде воробей, о чем и составлен настоящий акт».

В своем фельетоне о воробье-гуляке я, между прочим, писал:

«Бедная, без вины — вернее, без вина — виноватая птичка! Она пала жертвой своей наивности и неосведомленности. Она попала в торговую сеть и запуталась там, не зная, что во многих наших магазинах еще имеется большой выбор предприимчивых охотников сочинять акты об утруске и усушке и прятать свои грешки за широкую воробьиную спину.

Убедительная просьба к воробьям: не летать по магазинам! Особенно под Новый год!»

Но эта просьба оказалась излишней: вскоре после опубликования фельетона сняли с работы и заведующего магазином и торгового инспектора. Воробьи, узнав об этом, перестали залетать в магазин № 78.

Старый провокатор

С Окладским, со знаменитым Окладским, я встретился случайно. . .

Как-то по делам редакции я попал в Лугу, под Ленинградом. Было это в 1925 году.

Однажды на каком-то профсоюзном собрании я обратил внимание на крепкого старичка с седой бородой. Старик стоял в углу залы и усами выбрасывал сердитые, ворчливые слова.

На собрании речь шла о повышении производительности труда.

Я стоял недалеко от старика, и до меня долетела одна из его колючих фраз:

— Тоже мне. . . Производительность. . . Лентяи.

Я подошел к нему.

— Товарищ, неужели вы не верите, что рабочие. . .

Старик быстро повернул ко мне один глаз и перебил меня:

— Верю иль не верю — мое дело. . . А ты кто будешь?

— Приезжий.

Серый глаз сделал полуоборот направо. Старик отвернулся. Замкнулся. Казалось, для него я больше не существую в природе.

Я поспешил узнать у местных журналистов, кто этот старик.

— Этот? Фамилия его, кажется, Перовский. Говорят, был когда-то революционером. Сам он хвастается знакомством с великими людьми.

— А теперь что он?

— Теперь? Что-то вроде мелкого буржуйчика. Хотя, правда, он член союза, служит где-то.

Когда выходили с собрания, я догнал Перовского. Пошел с ним рядом.

Не смотрит. Молчит. Молчу и я.

Так мы прошли целую улицу.

Наконец я решил перейти в наступление:

— Сердитый вы. . .

— Не нравится? Не женись на мне.

— Я жениться и не собираюсь.

— А что же ты собираешься делать?

Старик повернулся ко мне. Скривил голову. Покосился. И каким-то непонятным для меня сердитым голосом произнес:

— Смена?

Пауза.

— Хорошее дело. . . Сменяй!

Старик начал выводить меня из терпения. Я решил взять его, что называется, за жабры.

— А разве так обращается со сменой. . . старый революционер?

Остановился. Вклинил в меня свои острые, холодные глаза.

— Уже знаешь?

Голос смягчился. По усам быстро-быстро, мышонком, шмыгнула улыбка. Шмыгнула и спряталась в белой траве стариковской бороды.

— А вот и знаю, — храбрился я, — знаю. . .

— Наука юношей питает. . .

— Отраду старцам подает, — добавил я.

Старик почему-то опять рассердился.

— Отрада? Много мне отрады с вами. . . молоко-сосами.

— А вот, товарищ Перовский. . .

— И фамилию мою уже знаешь?

— И фамилию знаю. . . Хотелось мне с вами побеседовать. Узнать о прошлом. Очень уж это мне интересно. . .

Кончилось тем, что мы с Перовским зашли в рабочий клуб.

В укромном уголке, за стаканом чаю, старик вынул из своей памяти сверток воспоминаний и осторожно, сдержанно, часто задумываясь, читал передо мною отрывки из самых прекрасных страниц революционного движения.

— Ходишь на собрания, горланишь. Ну-ты, фу-ты, ножки гнуты! Теперь оно не трудно комсомолить. . . А я вот начал в тринадцать лет. . . Учеником я был тогда в кораблестроительной мастерской, в Питере.

Любил бегать на тайные собрания. Слышал Низовкина, поэт был такой, рабочий... Синегуба... Петра Алексеева...

— Как, и Петра Алексеева?

— Не перебивай!.. Меня первый раз арестовали, когда мне было тринадцать лет! Вот как!.. Потом втянулся я в революцию...

...Приезжаю это в Тулу... Поступаю в железнодорожные мастерские. Снимаю отдельный домик в порядочном расстоянии от мастерских, чтобы рабочие могли к нам ходить. Поселяюсь вместе с Ольгой Любатович как с сестрой... Ольга Любатович была самой умной девушкой, которую я когда-либо знал. Любатович скоро арестовали. Я бежал в Киев. Еле удалось бежать.

...В Киеве бомбы делал. Раз ворвались жандармы, полиция. Начали ломать сундук, в котором был пироксилин. Я им говорю: дайте отмычку, подберу, зачем ломать. Примериваю, прилаживаю. Да и — скочил из окна! Так и простыл мой след... А товарищей моих, которые вместе со мной работали, арестовали...

Желябов был со мной в большой дружбе. Вместе с ним готовили покушение на царя... Под поезд мину подкладывали... С Верочкой работал... С Верой Фигнер...

Арестовали меня... Сам Плеве допрашивал... Потом в Трубецком бастионе сидел...

Мой чай давно остыл. В клуб входят и выходят люди. О чем-то говорят, беседуют, шутят. Я никого и ничего не замечаю. Старик переселил меня на далекий берег. Много воды утекло от этого берега. Передо мной на гребнях бурных волн выплывали в сказочных челнах сказочные имена и сказочные дела. Подле меня сидит один из этих людей, которого жизнь принесла с далекого берега на наш новый, нами утрамбованный, крепкими сваями укрепленный берег. Почему же теперь он, этот сказочный старец, не с нами?.. Почему он не в партии? Почему он так ворчлив к сегодняшнему дню?..

— ...Посадили меня в Трубецкой бастион... На-

девали кандалы без подручников. Мучили. Пытали. . . Да, да! Пытали!

Старик вдруг поднялся со своего места.

— Да, да, молокососы, пытали! Шестьдесят лет мне. . . А помню. Помню. Пытали. Мучили!

Последнее слово старик произнес с хрипом. И вдруг будто ветер сорвал его с места. Кинулся к дверям, словно я собирался гнаться за ним, схватить и начать его пытать.

Когда я шел из клуба на свою квартиру, я все думал о рассказах старика, а больше всего о нем о самом.

Много, видно, человек перетерпел за свою жизнь, коли стал таким! Но ведь многие терпели, и не все же они такие. Может быть, он больше всех терпел? А в общем странно что-то. . .

Скоро пришлось мне покинуть Лугу.

Из длительной командировки прибыл я в Москву. Спрашиваю в редакции:

— Товарищи, куда вечерком сегодня сходить, что-нибудь посмотреть?

— Хочешь в Дом союзов на суд?

— А какой такой суд?

— Над старым провокатором, Окладским. Очень интересный суд.

. . . Глазам своим не поверил я. Да это тот самый. Тот самый. Перовский. Здесь он Окладский. . . Тот самый. Но суд о нем рассказывает не то самое, что он мне говорил о себе. Совсем другое. . .

Он делал тщетные попытки ввести суд в заблуждение. Он продолжал что-то бормотать насчет своей близости к Желябову, к Вере Фигнер, насчет своих революционных заслуг. Но при этом он всякий раз садился в лужу.

Помнится такой эпизод. Он рассказывает суду о том, как его в царской тюрьме заковали в кандалы, как он страдал.

Горячий, темпераментный член суда, старый революционер Феликс Яковлевич Кон прерывает его:

— Объясните, Окладский, как вас заковывали?

Окладский смущен. Но тут же берет себя в руки.

— Очень просто... Вот на правую ногу сюда...
Левую сюда...

— Неправда! — кричит Феликс Яковлевич. — Так не заковывали. Вы не знаете. Вы хотите обмануть суд! Садитесь!..

Шаг за шагом суд разоблачает этого матерого провокатора.

Бомбы, пироксилин... От них осталась одна вонь предательства.

Друг Желябова? Нет, агент Плеве.

Сподвижник Веры Фигнер? Нет, 150 рублей жалованья от охраны.

Он всех обманывал. Всех, всех, кроме охраны.

И потом меня, в Луге, он обманул. Он заставил меня поверить в его рассказ.

Вот кто таков сердитый старичок!

Петлюра и Шварцбард

Из местечка Тального Уманского округа автор этих строк получил в свое время следующий документ, отпечатанный типографским способом:

«Объява

От первого партизанского херсонского отряду и от Другого Уманьского Гайдамацкого Полку. Прохаем всіх селян виставити иконы на вікнах, щоб козаки не заскакували до селян, позаяк не буде виставлено, то підряд будет різати не разбираясь.

Атаман Повстанч Херсоньского Полку Козачков.

Атаман 2-го Гайдамацького Уманьского Полку Сокіл».

«Известия» напечатали эту «объяву», снабдив ее своими комментариями.

Так, «подряд будем різати». За что? Почему? Это неважно. Надо «різати». Такова была программа петлюровских банд. Такие «объявы» распространялись везде и всюду, где только побывала нога петлюровских атаманов. «Підряд різати!»

Петлюра был социал-демократом. Вкупе с ним для «освобождения» Украины от большевиков работали и другие социал-демократы, и эсеры, и всякой масти «социалисты». Все они явились в Париж на суд, где разбиралось дело об убийстве Петлюры (1927 год), и, бия себя в грудь, горячо доказывали, что Петлюра был социалистом и действовал, как выразился один такой свидетель, в духе начертаний II Интернационала. Допускаем. На Петлюру это похоже. На II Интернационал тоже.

Славным атаманам Козачкову и Соколу повезло в жизни: их убили в бою. Другие петлюровские атаманы и сподвижники пожали худший удел: выплюнуты они рабоче-крестьянской Украиной на панели

больших городов Европы. Там теперь такого добра хоть отбавляй. Украшению и благородству европейских столичных городов эти мрачные личности не способствуют.

С ними в Париже сыграли скверную шутку. Их потащили свидетелями на суд Шварцбарда — того самого, который убил Петлюру. Уж они чистили и полировали себя, галстучки разно повязывали, чтобы походить на людей, важность напускали, а некоторые даже котелки раздобыли. Но под перекрестным огнем допроса физиономии их принимали свой натуральный вид. Галстучки съезжали в сторону.

Перед судом оказались не свидетели, а соучастники преступлений, не люди, а бандиты. Каждому из этих «свидетелей» защитник Шварцбарда Торрес предъявлял документы, изобличающие «свидетеля» в погромах, в поджогах, в насилии. От допроса свидетелей защиты Торрес даже отказался. Достаточна была эта красочная галерея свидетелей обвинения, чтобы присяжные заседатели на суде поняли, кто такой был Петлюра и каким ремеслом он занимался.

Суд не мог не оправдать Шварцбарда.

Суд в Париже — классовый суд. Суд господствующего класса — буржуазии. Собутельники Петлюры знали это. Вот почему они старались повернуть все дело таким образом, что Шварцбард — чекист, «рука Москвы» и т. д. и т. п. Они знали, что «рука Москвы» пользуется в некоторых кругах общества большой популярностью в качестве пугала. Ведь эту «руку Москвы» ищут во всем: плохая ли погода в столице, затмение ли луны или насморк у какого-нибудь министра. Но обвинение Шварцбарда в том, что он чья-то «рука», расплозлось сразу при первых прикосновениях к этой версии.

Шварцбард оправдан. Этим самым вердиктом парижский суд осудил петлюровщину и всех тех «социалистических» и «демократических» деятелей, которые были связаны с этим движением, которые шли с Петлюрой.

Более того — оправдание Шварцбарда есть в то же время пощечина всему белому движению. Ведь сам В. Шульгин, этот страстный певец монархизма, в своих последних произведениях вынужден был признать, что белые армии превращались в «грабьармии», что они грабили и громили и города, и села, и местечки, и деревни.

Рассказ с солью

Да, это — рассказ с солью.

Речь идет не об отсутствии скромности у автора, а о присутствии соли в том самом изобретении, о котором мы сегодня пишем. . .

Редакция поручила мне познакомиться с этим изобретением, детально изучить вопрос, а потом и написать.

И вот я пошел к изобретателям, молодым инженерам.

Представьте себе маленькую, не совсем уютную комнатку. Поздний вечер — там, за темными шторами, медленно угасает шум большого города: реже гудят автомобильные сирены, замирает трамвайный перезвон.

Изредка сюда доносятся торопливые шаги на крыше. Это недремлющие зенитчики. Беспокойная зима 1942 года.

И накурено, и шумно. Молодая кровь — горячий спор. Порою кричат все разом: и Борис Агранович, и Василий Ассонов, и Евгения Зинченко, и Александр Купцов, и Тихон Попов, и Лев Фейгин, и Николай Шинков.

На свете разные бывают споры и разговоры.

Вспомним хотя бы спор, происшедший между Бобчинским и Добчинским:

— «Э!» — говорю я Петру Ивановичу. . .

— Нет, Петр Иванович, это я сказал: «Э!»

Здесь, в маленькой накуренной комнатке, не было игры мелкого самолюбия — никого не занимал вопрос, кто раньше сказал «э!».

Здесь семь молодых взволнованных советских инженеров спорили. . . о соли.

Все чаще в густые облака табачного дыма, точно камни из пращи, летели реплики:

— Я точно высчитал. Соли нужно столько-то процентов.

— Нет, столько-то.

— Пересаливаете.

— А вы недосаливаете.

Странно, этот «соляной бунт» происходит почему-то в маленькой комнате на третьем этаже Нарком-угля.

Еще более странно — спорщики то и дело слово «соль» склоняют вместе со словом «уголь».

Честно говоря, сначала я ничего не понял. Молодые люди (да и я сам был тогда еще более или менее молодым человеком) начали старательно, терпеливо и очень популярно вводить меня в курс. Они учили, и я у них учился. Постепенно я начал понимать — что к чему.

Соль и уголь. Что общего между ними?

До зимы 1942 года они друг с другом не имели никакой связи. Зимой 1942 года семь инженеров породнили маленькие соляные крупинки с огромными угольными пластами.

Как же это случилось?

Мне объяснили:

— Чтоб подойти к еще не тронутому угольному пласту, необходимо, как известно, провести ряд подземных горных выработок. Вышепоименованные выработки иногда располагаются в крепких породах. Эти твердокаменные элементы понимают лишь язык взрывчатки.

Предположим — скальные породы взорваны, окружены, разгромлены и частично рассеяны. Наступает основная операция — отбойка угля. Но уголь бывает разный — нередко попадается упрямый, крепкий, с трудом подчиняющийся воле отбойного молотка. Вот тут-то опять человеку приходит на помощь взрывчатое вещество.

Но всякое взрывчатое вещество опасно. Вместе с углем может взорваться и тот, кто добывает уголь.

— Всякая взрывчатая смесь опасна? — спросил я.

— Нет, не всякая! — категорически заявили семь молодых советских инженеров. Они решительно сошлись на том, что надо и что можно изобрести анти-гризутное (безопасное) взрывчатое вещество.

— Надо изгнать из шахт злых духов. Создать мирные, безопасные взрывы. Этим высвободить для удовлетворения нужд фронта заводы Наркомата боеприпасов.

Начали думать, гадать, высчитывать, делать пробы, производить опыты, спорить, ругаться, малость падать духом от первых неудач и вновь вдохновенно приниматься за труд, за творчество.

Как понизить температуру при взрыве? Какой вид пламегасителя нужно внести для умиротворения взрывчатого вещества? Как сделать, чтоб оно было и дешево, и несердито, то есть недефицитно и безопасно?

Соль! Двух мнений не было — соль!

Но сколько, какой процент? И тогда-то —

Вот крупной солью светской злости
Стал оживляться разговор.

Тогда-то и начались те колючие споры. Но спокойные опыты покончили с беспокойными разговорами.

После упорного труда, после долгих томительных дней и бессонных ночей задача была решена. Получен первый состав нового, еще небывалого, еще никому не знакомого состава для отбойки угля.

Все это хорошо. Но это только первый шаг. Надо, чтоб Наркомуголь быстро и решительно пошел навстречу изобретателям. Надо немедленно начать опыты в более широких размерах — на месте, в шахтах.

Как же к этому отнесся Наркомат угольной промышленности?

— Ага! — говорит догадливый читатель, мягко улыбаясь. — Дальше все понятно. Конечно, всяческие рогатки и препоны. Типичный фельетон о мытарствах изобретателей.

Нет, дело было не так. Не по шаблону. Изобретатели весело сообщили мне:

— Наркомат всячески помог нам в проведении опытов на шахтах. Все мы выехали в угольные бассейны. На шахтах Кизела, Караганды и Кузбасса начались испытания нового состава. . .

К великому удивлению работников телеграфа, из Кизела в Караганду, а из Караганды в Кузбасс передавались депеши весьма странные, вроде:

«Замечательные взрывы тчк целую».

«Одушевленный первым взрывом обнимаю».

Прошло некоторое время, и веселая стайка взрывщиков прилетела в Москву. Они привезли с собой: а) бодрое настроение, б) окрепнувшую уверенность в свои силы и в) акты испытаний.

И настроение, и уверенность, и акты свидетельствовали об одном: победа!

Они обратились в соответствующие организации с просьбой: приступить к промышленному производству, и вот тут-то. . .

— Ага! — говорит догадливый читатель, мягко улыбаясь. — Вот когда начинается типичный фельетон о мытарствах изобретателя.

Нет, не получается такого фельетона. Опять дело пошло не по шаблону. Изобретатели (опять-таки весело) информировали меня:

— Запишите, товарищ фельетонист, что наркомат сразу дал разрешение на промышленное производство. И вот уж тонна за тонной пускается в дело безопасное взрывчатое вещество с солью в роли пламегасителя.

Но изобретатели пламегасителя и не думают гасить собственное пламя. Работа отважной семерки продолжается с прежним напряжением. И это напряжение увенчано новой победой — изыскан второй, более сильный состав, который с успехом вступает в единоборство с крепкими породами.

Все как будто хорошо, и лучше требовать нельзя. Но. . .

Но догадливый читатель стоит начеку и, хитро улыбаясь, вопрошает:

— Ну, а как же с производством этого нового вещества? Кустарным образом, что ли? Ведь надо было приступить к строительству заводов. Вот тут-то, я думаю, и возникли препоны и рогатки. Вот тут-то и начинается тема. . .

Нет, не начинается, я точно знал, что Нарком-

уголь уже построил заводы для производства нового взрывчатого вещества — и не было препон.

Уже угольная промышленность полностью обеспечена безопасными и сильными взрывчатыми веществами — и не было рогаток.

Уже изобретение дало экономии в 1943 году 25 миллионов рублей, а в 1944 году — свыше 50 миллионов.

Кстати, о взрывах. Уверен, что со стороны догадливого читателя не последует взрыва возмущения по поводу того, что не вышел фельетон о мытарствах изобретателя.

Вместе с нами все читатели будут радоваться тому, что в дни войны творческая мысль советских людей в тылу не потухала ни на один миг.

Вот в чем соль нашего рассказа.

Его любимое занятие

Кое-кому может показаться, что человек, описанный в этом рассказе, выдуман автором. И что выдуманы все его рассуждения.

Нет! Дело обстоит не так. В 1962 году я встретил этого человека на берегу Черного моря. Я с ним беседовал несколько раз.

Это подлинный тип. К сожалению.

Он стоял на берегу Черного моря и с подозрением глядел на воду, на чаек, на скалы, на людей — плавающих, ныряющих, отдыхающих, загорающих, бутерброды поедающих.

Вдруг он сердито плюнул в набежавшую волну и тяжело вздохнул раз и другой — каждый вздох был силой минимум в два балла.

— Что с вами? — участливо спросил я незнакомца и тут же поспешил подарить ему добрый совет: — Не падайте духом.

— Не падаю, — ответил он. — Но трепещу и содрогаюсь, взирая на прибрежные просторы. Сколько всякого народа, сколько всяких людей! И каждый лезет в море. Распушенность, и больше ничего. Будь моя власть, я бы всюду на берегу вывесил дощечки: «Посторонним вход в море строго воспрещен».

— Для кого же эти строгие указания? Кто посторонние?

— Были бы указания, а посторонние найдутся.

И он еще более сердито плюнул в Черное море, угордив прямо в широкую пасть грозного девятого вала.

Незнакомец сразу понравился мне: незаменимый тип для сатирического рассказа! Мы разговорились. Нетрудно было распознать в нем осколок недавнего прошлого, безвозвратно (будем надеяться!) ушедшего от нас.

Его любимое занятие — запрещать! Он в жизни ничего не выдумал, ничего не создал, ничего не со-

творил, ничего не открыл. Он только запрещал — для этого у него вполне хватало таланта. Тем более что для сей полезной деятельности мало требуется ума и таланта.

Ревет ли зверь в лесу глухом, поет ли дева за холмом — запретить! Впрочем, зверя можно не трогать: его репертуар на уровне. Но холм, но деву, но песню изъять из обращения!

Слава богу, нет сейчас того бога, который бодливым быкам давал рога. А поэтому наш герой вынужден ограничиться скрежетом зубовым и горьким брюзжанием на тему: то-то и то-то надлежало бы всемерно осудить, запретить, закрыть, похерить!

Вдруг из-за утеса появилась чайка. Чувствуя, что люди любят ее, она красиво взмахнула крыльями и с чувством собственного достоинства опустилась на воду.

— Запретить! — проворчал незнакомец.

— Не позволить птице летать? — спросил я.

— Не позволить называть ее чайкой! Вам непонятно? Сейчас прокомментирую. Машину, на которой разъезжают многие номенклатурные товарищи, именуют «Чайкой». Спрашивается — на каком основании это имя присваивают рядовой птице, какой-то мокрой курице?

Я было подумал, что он смеется надо мной. Но вскоре понял, что он давно не только другим, но и самому себе запретил смеяться. Ведь смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно. А ему никто и ничто не казались смешными. Он отнесся серьезно даже к тому, что в свое время его назначили каким-то начальником и что некий невзыскательный литератор поинтересовался его мнением о своем романе.

На берегу за нашей спиной возвышались кипарисы. Знаменитые крымские красавцы. С негодованием взглянул на них мой собеседник. Этот взгляд, как мне показалось, спрашивал: кто разрешил им быть такими высокими, гордыми, непреклонными, не обращающими внимания — откуда ветер дует? Кипарисов и им подобных надо вырывать с корнем! Чтоб

никому неповадно было тянуться к свету, к солнцу, к недозволенным высотам.

Вечер не заставил себя долго ждать. С гор подул ветерок. Потемневшее небо начало застегиваться на все свои светлые пуговицы. Особенно много звезд скопилось над притихшим пляжем, где на смену неистовым транзисторам застрекотали задумчивые цикады.

— Будь моя воля, — сказал незнакомец, — я бы запретил такие сборища. На небе тоже надо навести порядок. А тут этакое скопление звезд на одной территории. О чем они подмигивают друг другу? На какую тему шепчутся? У какого-то поэта сказано: «Звезда с звездой говорит». А о чем говорит — умолчал, не заявил. . . А надо бы знать.

После короткой паузы:

— Ну, хватит. Пойду в клуб на вечер вопросов и ответов. Запретить бы! Вопросы можно оставить — пушай спрашивают. А вот ответы — побоку. Надо ли отвечать? Не надо. Особенно ежели вопрос с подковыркой.

Я пошел вместе с ним. Дорога лежала через парк. Здесь природа решила похвастать и показать, на что она способна в курортном сезоне. Все росло, все цвело, все благоухало, все шелестело обильной листвой.

Навстречу нам из-за мощных каштанов выкатилось знакомое светило. Имеется в виду не кто-либо из отдыхающих в ближнем санатории, а луна.

Незнакомец нервно пожал плечами:

— Гм. . . Ведь обо всем этом, что мы тут видим, можно писать.

— Заявления? — спросил я. Мой вопрос он оставил без ответа.

— Можно писать стихи, рассказы, повести, романы. Можно, но не должно. Поменьше бы, скажу я вам, таких сочинений. Спокойней было бы. В особенности ежели. . .

— Ежели кто с огнем. . .

— Не понимаю.

— Если произведение не серое, не скучное, а с

искрой, с огнем. Унтер Пришибеев записывал и начальству докладывал о тех, «кто с огнем сидит». Извините меня за откровенность: чувствую, что вам тоже претит всякий человек с огнем, всякое произведение с огнем.

— А кто этот унтер Пришибеев?

— Чехов написал о нем замечательный рассказ.

— Запретил бы я такое зубоскальство.

— Антон Павлович Чехов — классик. Его не легко запретить.

— А о Пришибееве он писал, когда был классиком или раньше того? Всякого писателя надо делить на две части: до того, как он стал классиком или лауреатом, — дуй его в хвост и в гриву, а стал классиком или лауреатом — хвали его до потери сознания. Ежели Пришибеев написан классиком — молчу и благоговею. А ежели не классиком — считаю вполне возможным запретить!

Мы подошли к мощному платану, который неплохо сохранился, несмотря на свой преклонный возраст. Здесь скрещивалось несколько аллей.

— Я иду прямо, — сказал я.

— А я направо.

— Как всегда?

Не ответил. Отойдя несколько шагов, я обернулся. Он стоял хмурый и суровый. При свете луны я прочел на его лице взволнованный вопрос:

— А что бы еще запретить?

Улыбки в запасе

Если память мне не изменяет — это было в 1959 году.

А может быть, в 1949-м или в 1962-м?

Но это неважно. А важно то, что я не жалуясь.

Меня не обижают. В общем и целом меня хорошо обслуживают.

Очень даже хорошо, за исключением тех отдельных случаев, когда на меня не обращают внимания.

Вот, например, вчера. Плохой был день. Неприятности начались с самого раннего утра. Проснулся я с твердым намерением — улыбаться! Не удалось. Все улыбки остались при мне неизрасходованными.

Первым делом я решил принять душ. Когда у меня хорошее настроение, люблю помыться. Старательно намылился, потом, как сами понимаете. . .

Потом, как сами понимаете, наступила засуха. Ни капли влаги. Нахально молчала колонка. Я хотел написать: «молчала, словно воды в рот набрала». Нет, сюда это не подходит. Воды не было.

Весь в мыле, я выскочил из ванной комнаты, чтоб позвонить управдому. А какой номер его телефона?

Голой, весь в мыле, звоню в справочную. Смело набираю еще раз. Еще раз занято. Не падаю духом. Набираю в третий раз. В четвертый. В пятый. В девятый. Какое счастье! Свободно. Длинный, приятный, обнадеживающий гудок. Сейчас вот-вот улыбнусь.

Но не вышло. Телефон вполне правильно гудит. Но справочная не вполне правильно молчит, молчит, молчит. А я голый. А я весь в мыле. Вешаю трубку. . .

Нет, я не жалуясь. Меня не обижают. В общем и целом меня хорошо обслуживают. Но бывает, что. . .

Захожу в соседний магазин «Гастроном». Намереваюсь купить колбасы. У прилавка толчея. Колбасы много, продавщиц мало.

Почему бы не ликвидировать толчею? Захожу в кабинет администратора. Чистенькая, веселая, уютная комната. За столом в изумительно белом халате

сидит хозяйка этой комнаты — администратор. С большим увлечением читает книгу. Оказывается, «Отцы и дети» Тургенева. Впервые вижу, чтоб для чтения бессмертных произведений классика надо было надевать белый халат.

Я возмущен Иваном Сергеевичем Тургеневым. Меня огорчают его «отцы» и его «дети». Из-за них в рабочее время администратор вынужден отвлечься от своих прямых обязанностей.

Я очень робко (нельзя мешать человеку культурно расти и развиваться!) сообщаю администратору о том, что творится в секции, где продают колбасу.

— Продащицы ушли обедать, — говорит она строго. — Как по-вашему, имеют они право обедать или нет? Надо иметь сознание, гражданин!

— А вот вы ничем не заняты, товарищ администратор. Почему бы вам не помочь продавщице?

Как будто я ее ошпарил кипятком. Она вскочила, разгневанная, покрасневшаяся, шипящая.

— Что?! Чего?! Чтобы я, получая зарплату администратора, стала у прилавка, как рядовая продавщищищица? Ишь, чего захотел!..

Я ушел из «Гастронома» с пустыми руками.

Решил зайти в торговый отдел к заведующему: ему, я думаю, полезно будет знать о порядках в магазине.

Застал его секретаршу в полном здравии. Вижу, очереди в приемной нет. Обрадовался и уже решил улыбнуться. Но секретарша очень милой скороговоркой разъяснила: Федор Матвеевич сейчас не принимает — он председатель восьми комиссий.

Подсчитал я, и получилось, что ни в этом году, ни в этом столетии он не сможет меня принять. Придется заглянуть в следующем веке.

Нет, я не жалею. Меня не обижают. В общем и целом меня хорошо обслуживают. Но бывает...

Надо пойти пообедать. А по дороге завернуть в химчистку. На моем пиджаке, словно на солнце, появились какие-то пятна.

Рыжекудрая приемщица в химчистке долго не обращала на меня внимания. Она беседовала по теле-

фону с подругой и через каждые пять слов кокетливо произносила «кошмар». Причем все эти «кошмары» относились к соседней парикмахерской, где плохо обслуживают клиенток.

Все кончается на свете. Кончились и «кошмары». Рыжекудрая недовольно взглянула на меня и приступила к суровому допросу:

— Чего вам надо? Что принесли? Пиджак старый или новый? Давно на нем пятна? Что это — чернила или масло?

— Гражданин, прошу без оскорблений!

Нет, я не жалуясь. Меня не обижают. В общем и целом меня хорошо обслуживают. Но бывает...

И вот я в столовой. Двухместный столик у окна. Одно место свободное. Мой сосед спит и даже легонько храпит — заснул бедняга между первым и вторым блюдами. Когда я подвинул стул, он проснулся и взглянул на меня с надеждой, решив, что я официант. Потом, разочарованный, махнул рукой и закрыл глаза: видимо, ему надо было посмотреть вторую серию интересного сна.

— Вы еще не начали обедать? — спросил я его.

— Обедать? — удивился он. — Ишь вы, какие быстрые. Я еще не кончил завтракать. Сижу и жду с самого утра...

Посижу и я. Сидел до вечера. И тут вспомнил, что у меня на сегодня билет в театр. Я выскочил из столовой с намерением поймать такси. Стал у тротуара, подняв руку. Мимо пролетают машины с зеленым огоньком. Свободные такси. Но шоферы не хотят остановиться. Не обращают внимания на мою высоко поднятую нервную руку. Сколько их! Куда их гонит? Плынут мимо зеленые огоньки, огоньки, огоньки... Короче говоря, в театр я опоздал.

Нет, я не жалуясь. Меня не обижают. В общем и целом меня хорошо обслуживают. Очень даже хорошо. Сегодня не везло, а вот завтра... Завтра буду одаривать сияющими улыбками всех жителей города, независимо от их возраста, пола и служебного положения. У меня большой запас чудесных улыбок, и я их завтра израсходую!

Позвонил читатель

В редакцию «Крокодила» позвонил какой-то гражданин.

— Здравствуйте, товарищ редактор. Я — постоянный читатель вашего журнала.

— Очень рад.

— Радоваться тут нечему. Журнал мне не нравится.

— Мне тоже.

— В нем мало смешного.

— Полностью с вами согласен, товарищ читатель.

— Так вот я хочу вам помочь.

— Пожалуйста.

— Могу дать для очередного номера очень и очень смешной факт. Изумительный факт.

— Чудесно. Давайте.

— Ладно. Через полчаса я у вас буду.

Рабочий день уже кончался. Мне надо было срочно куда-то ехать. Но я решил подождать этого посетителя. Я был страшно заинтригован.

Минут через сорок он вошел ко мне. Я был готов смеяться. Мне очень хотелось смеяться.

— Садитесь, — сказал я. — Садитесь и рассказывайте.

— Так вот, — начал он. — Дело обстоит так. Действительно, очень смешно.

Я услышал шорох за дверью. Шепот.

Я понял, что это сотрудники редакции задержались на работе, стоят за дверью в надежде услышать наконец что-то очень смешное.

— Да, — продолжал он. — Штука смешная.

Долгая пауза.

— Рассказывайте, пожалуйста.

— За этим и пришел. Дело вот в чем. Уже два года, как райжилотдел обещал дать мне комнату. Два года!

— Что же тут смешного?

— Обещал и не дает. Это же смешно!

— Все?

— Все! А что вам еще нужно? Разве это не смешно?

Видимо, это действительно было смешно. Потому что за дверь моего кабинета раздался приглушенный смех. Даже старые и опытные юмористы и сатирики от души смеялись.

Меня разыграли...

Этот рассказ о том, как меня в течение долгих часов дурачил Илья Алексеевич Суханов, председатель сельского Совета.

Познакомился я с ним случайно в Вышнем Волочке в 1933 году.

— Поезжайте со мной в Овсище, — сказал он. — Конечно, ничего интересного не увидите. Глушь, темень, леса дремучие. Но, может, пригодится вам...

На краю Вышне-Волоцкого района, в самом углу, среди лесов и болот, лежит древнее село Овсище. До города, до железной дороги — верст пятьдесят. А добраться до города не так легко, особенно весной и осенью: болота и ухабы, утонувшие в воде и липкой грязи.

Суханов всю дорогу ныл:

— Живем в глухомани. Особенно хвалиться нечем. Леса большие, темные, скучные. А о культуре тут и думать не приходится.

Есть такие люди — любят жаловаться, хныкать. А ведь сам-то этот председатель — сравнительно молодой человек. Служил в Красной Армии. Вместо того чтобы поднимать это лесное село к новой жизни, плачет, ноет.

— Глушь, темень, — продолжает Суханов свою волюнку. — Что с нас взять?

— А ликбез у вас есть?

— Два года тому назад был, а теперь нет.

— Плохо, плохо, товарищ Суханов. Как же так получилось?

— Очень просто, — отвечает он самым серьезным образом. — К чему нам ликбез? У нас теперь неграмотных, кроме глухой бабки Агафьи, нет и не предвидится. В этом смысле кое-что сделано. А так вообще — глушь, темень, леса дремучие.

Въезжаем в село. Я сразу обратил внимание на следующую деталь: у каждой избы висит ящик с надписью: «Для писем и газет».

— Это еще в прошлом году заведено, — объясняет Суханов. — Почтальону все-таки облегчение.

— А много у вас подписчиков на газеты?

— Думаю, что теперь нет ни одного двора без газеты и журналов. В этом смысле кое-что сделано...

Мне сразу даже показалось, что я уловил еле заметную улыбку в его простодушных глазах.

— А школа у вас есть?

— Особенно хвалиться нечем. Теперь почти в каждом селе школа.

— Какая у вас школа? Начальная?

— Две начальных. Одна неполная средняя. А вот эта...

Мы сошли с телеги. Пешком повернули вправо. Перед нами возникло огромное, красивое, еще малость недостроенное здание.

— ...А вот это — заканчиваем стройку десятилетки.

— Что это у вас рядом со школой?

— Ничего особенного. Так себе. Библиотека. Слабовато у нас насчет этого. Даже Шекспир неполный. Всего три с половиной тысячи книг. Отстали мы. В частности, слаб отдел медицинских книг.

— Каких? Медицинских? Почему медицинских?

Мой спутник ничего не ответил. Тут как раз мы вышли на главный «проспект» села Овсище. Эта новая широкая улица выросла в сосновом лесу, по обеим сторонам дороги, ведущей в Вышний Волочок. Слева — низенькая красивая изгородь, за которой несколько больших одноэтажных и двухэтажных зданий.

— Здесь у нас больница на сорок коек. Тут же и родильный дом. И аптека. А башня — это электростанция при больнице. Врачей, фельдшеров, сестер и других служащих — сорок человек.

Начало смеркаться.

В окнах сельского «комбината здоровья» вспыхнули электрические лампочки.

— А кроме того, есть у нас еще ветеринарная лечебница. Там врач, фельдшер. Так что у нас на селе кое-какой медицинский персонал. Вот почему мы и

позаботились, чтобы в библиотеке был специальный медицинский отдел. В этом смысле кое-что сделано. А так вообще. . .

— А так вообще, — закончил я, — глушь, темень, леса дремучие. . .

Мы посмотрели друг на друга и весело рассмеялись.

Он радовался тому, что обманул меня. Я же в первый раз в жизни радовался тому, что меня разыграли. .

Ноль-ноль...

Редакция поручила мне взять интервью у Дубкина — как проходит в районе продажа молока?

Дубкин, Игнатий Семеныч, милостиво сказал мне по телефону:

— Сегодня никак не смогу. Утром у меня комиссия. Днем совещание. Давайте с вами мы так договоримся. Это уже будет твердо... Завтра в двенадцать ноль-ноль... Есть! Пока!

Особенно потрясли меня эти «ноль-ноль». Решительно и категорично, будто дело происходит не в тихом молочном учреждении, а в суровом военном штабе.

Назавтра без четверти двенадцать я уже сидел в приемной уважаемого Игнатия Семеныча. И вот уже двенадцать ноль-ноль. И вот уже тринадцать ноль-ноль. А Дубкина все нет и нет, ноль-ноль...

У двери начальника за столиком сидит секретр...

«Стоп! — говорю я себе. — Девушки-секретарши уже давно описаны и воспеты. Не буду повторяться. Не буду вовсе на нее обращать внимание».

Тем более что она ни разу не взглянула на меня. А я уже томлюсь здесь полтора часа. Она занята: читает книгу.

Эта книга лежит в выдвинутом ящике письменного стола. И, как только заходит начальство, ящик мгновенно задвигается.

Я заинтересовался. Не девушкой, а книгой.

— Что вы читаете? — спросил я у девушки.

— Ничего особенного. Какой-то старый роман попался.

Она перелистывает книгу и, глядя на обложку, произносит:

— «Обрыв» Гончарова.

Сказала и сконфузилась. Ей неловко за этого самого Гончарова, который сочинял такие старые романы.

Потом с удивлением взглянула на меня и спросила:

— Вы кого, гражданин, ждете?

— Игнатия Семеныча. Я уже имел честь докладывать об этом.

— Странный человек!

— Кто, Игнатий Семеныч?

— Нет, вы. Сегодня какой день?

— Сегодня среда.

— Вот видите.

— Абсолютно ничего не вижу.

— А по средам Игнатий Семеныч никогда здесь не бывает.

— Но он мне назначил. . . ноль-ноль. . .

— Не имеет значения. Вы сегодня седьмой, кому он назначил.

— Чего же вы раньше мне об этом не сказали?

Ответа не последовало. Выбирая между мной и Гончаровым, она предпочла писателя и с головой ушла в «Обрыв».

Итак, уважаемый Дубкин Игнатий Семеныч обманул меня. «Надо будет, — решил я, — написать фельетон, посвященный Дубкину. Надо будет собрать материал».

Дубкин — мне это было давно известно — должен быть отнесен к тому сорту работников, которым ничего не стоит дать вам слово, обещать, обнадеежить.

Он легко давал слово и еще легче пускал его на ветер.

И вот я начал ловить Дубкина. А дело у меня к нему самое пустячное. Надо получить его подпись на справке. Уже все сделано, все оформлено, две подписи на бумажке уже имеются. Но требуется, чтоб эта бумажка была еще украшена малоразборчивым автографом Дубкина Игнатия Семеныча.

Звоню ему по телефону.

И тут развернулась во всей своей красе эта дешевенькая канитель мелкого бюрократа.

— Алло! Кто спрашивает? Сейчас посмотрю. . . Он только что вышел. Позвоните через час.

— Алло! Кто у телефона? Сейчас посмотрю. . .

Говорит по другому аппарату. Обождите. Не бросайте трубочки. . . Алло! Это вы? . . . Его уж нет, срочно вызвали.

Прихожу к нему в учреждение.

Сейчас у Игнатия Семеныча заседание. . . Сейчас комиссия. Сейчас у него товарищ из главка. . . Сейчас он готовится к докладу. . .

Наконец я все же поймал его. И вот тут-то большую службу и сослужил мне Егор Кузьмич. Кто такой этот Егор Кузьмич? Об этом скажу потом.

Дубкин выскочил из кабинета, и я остановил его. Он начал отбиваться:

— Сейчас, дорогуша, никак не могу. Не могу, не могу. Занят, занят. Завтра, завтра. В двенадцать ноль-ноль. . .

Но я не отступил.

— А Егор Кузьмич, — произнес я самым спокойным образом, — Егор Кузьмич сказал, что сегодня вы непременно подпишете. Безо всяких ноль-ноль.

— Занят, занят. . .

— А Егор Кузьмич мне решительно сказал. . .

— Завтра. . . Кто? Кто сказал?

— Да Егор Кузьмич! Он, видимо, человек чуткий и твердый.

— Что же он сказал?

И я увидел на лице Дубкина большую круглую печать страдания. Он мучительно думал: «Кто же такой этот Егор Кузьмич с чутким и твердым характером?»

Не давая опомниться Дубкину, я выпалил:

— Еще мне Егор Кузьмич сказал, чтоб на обратном пути от вас я зашел к нему и сказал, чем кончилась эта волокита.

Дубкин стремительно выхватил у меня из рук бумажку.

— Что тут такое? В чем дело? Боже ты мой, какие пустяки! Что же вы, голуба, раньше мне об этом не сказали?

Он схватил со стола секретарши красный карандаш и поставил свою подпись.

Я поблагодарил, взял заветную бумажку и

ринулся к двери. Меня догнал взволнованный голос Игнатия Семеныча:

— Стойте, стойте! Где теперь Егор Кузьмич работает?

Я остановился и ответил:

— Он работает здесь, у вас. На первом этаже. Он с такой шикарной окладистой бородой. И одет он шикарно — весь в галунах и блестящих пуговицах. Это старший вахтер вашего учреждения Егор Кузьмич. . .

Дубкин широко разинул рот — хотел, видимо, поблагодарить меня за интересную информацию, но не мог: воздуха не хватило.

Десять тысяч близнецов

Рядом с вами живет замечательный парень — культурный, начитанный, мыслящий, руководит на заводе бригадой коммунистического труда.

Но господь бог в неизреченной милости своей наградил вас еще двумя соседями: половина этого количества — прохвосты, остальные пятьдесят процентов — пьяницы.

На днях все три моих соседа получили характеристики — каждый по месту своей работы.

Внимательно читаю эти сочинения. Мне поручено редакцией написать об этом фельетон. Читаю и диву даюсь — кто авторы этих характеристик и о чем они думали, ставя свою подпись!

Замечательному парню написали все то, что написали прохвосту. А прохвоста охарактеризовали с тем же энтузиазмом, что и замечательного парня. Те же буквы, те же слова, те же знаки препинания. И та же радость по поводу его активного участия в общественной работе.

Пьяница получил характеристику такую же, как и у замечательного парня и у прохвоста. Точная копия.

У авторов этих сочинений все трое близнецы, все трое на одно лицо, на один цвет. Не только три, три тысячи, десять тысяч близнецов — все одинаково дисциплинированы, одинаково не имеют взысканий, одинаково сверкают на общественной работе.

Как возникли эти сочинения, похожие друг на друга, как две капли чернил? И как появились на белом свете их авторы, похожие друг на друга, как две капли воды?

Когда-то поэт-сатирик Саша Черный, рисуя унылое мещанское общество, воскликнул: «Все в штанах, скроенных одинаково... Я похож на улице на всякого».

Исчез этот жалкий мирок. Давным-давно.

Но штаны, скроенные одинаково, еще кое-где имеют приверженцев. До сих пор.

Еще водятся у нас люди ленивые и нелюбопытные, зараженные обывательским благодушием, не обремененные излишним уважением к своим согражданам.

Они взирают на нас с вами свысока, близоруко щурясь: «Все на одну колодку сделаны, всех природа смастерила на один покрой».

А потому они с легким сердцем внедряют в массы скроенные одинаково штаны и улыбки, стриженные под одну гребенку прически и разговоры.

Наша советская действительность по природе своей чуждается скуки и однообразия. Но любители бюрократических стандартов и трафаретов ковыляют где-то в стороне от главного направления.

Они пытаются натянуть серую униформу на свои мысли, на свою речь. Пуще всего боятся «впасть в отсебятину». Самое крылатое в их лексиконе словечко — «отсебятина».

Кстати, каким ветром оно занесено в нашу живую речь? Когда-то о плохом актере говорили — он не выучил роли и пересыпал монолог отсебятиной.

Неуклюжее слово залетело в канцелярии и стало любо чиновникам. Легче жить в мире исходящих и входящих, когда освоил трафарет и не пренебрег шпаргалкой.

Они рассуждают так:

— К чему мне оригинальничать? Зачем беспокоить себя новыми формулировками, когда за меня уже кто-то, более умный номенклатурный, и подумал и сформулировал?

Так выросло и окрепло могучее племя цитатчиков (или цитателей). Появился индивидуум, не держащий зевнуть, не сославшись при этом на авторитет. Литератор такой выпечки пишет в полемической статье:

«Мы ничего не ответили на выпад против нас: в подобных случаях Гоголь только пожимал плечами. Последуем и мы его примеру».

Чтоб усилить свою эрудицию и пустить пыль

в глаза, он свои статейки то и дело обогащает ссылками на классиков:

«Никогда!» — как сказал Тургенев.

«О!» — воскликнем мы подобно великому Вольтеру.

«Посмотрим!» — как однажды метко выразился Рабиндранат Тагор.

Он чувствует себя близнецом. Одним из пяти или десяти тысяч ему подобных. Все в штанах, скроенных одинаково! Пущай все пользуются только одинаковыми измятыми словами и выражениями. Его за это бранят и в печати и на собраниях. Он признает свои ошибки, выплескивая при этом еще один ушат холодных и шаблонных фраз.

А наавтра он опять строчит: «Со взволнованной речью», «неизгладимое впечатление», «яркий факт», «твердой поступью», «отрезок времени», «целый ряд», «прения развернулись», «с большим подъемом». А свой очередной очерк он обязательно начнет словами «В одно прекрасное утро». Так пишут десять тысяч близнецов — ему ли отставать? А меж тем еще Антон Павлович Чехов использовал эту ходкую фразу в ироническом смысле. Его рассказ «Оратор» начинается так: «В одно прекрасное утро хоронили коллежского асессора Кирилла Ивановича Вавилонова».

Поклонники штанов, скроенных одинаково, усиленно подвизаются в одном своеобразном литературном жанре.

Мы имеем в виду очень распространенный вид сочинительства — изготовление характеристик. О чем я и должен написать фельетон.

Иксу надо поступить на энский завод. У Игрека судебное дело. Зет собирается поступить в высшее учебное заведение.

Иксу, Игреку и Зету выдаются одинаковые письменные характеристики: прекрасные, мол, товарищи, и просим любить их и жаловать.

Порой эти сочинения бывают оригинальные. Вот передо мной такие строки:

«Г. проявил себя дисциплинированным и исполнительным работником. К работе относится добро-

совестно, административных взысканий не имеет. Часто прогуливает без уважительных причин».

С большой натяжкой можно эти писания назвать талантливыми. Но у них — одно достоинство: разговор свободный.

Этакой живостью речи щеголял Барабошов в одной из комедий Островского:

«У меня разговор свободный... Только у меня в уме суждения нет и что и к чему...»

Но сейчас у нас речь идет не об «оригинальных» (кавычки обязательны!) характеристиках. А о таких, которые выданы (см. начало фельетона) замечательному парню, прохвосту и пьянице.

Как известно, физиономии человека отведена не очень обширная территория. Казалось бы, развернуться негде. Однако природа ухитряется избежать трафарета на этом небольшом участке. Очень редки случаи, когда одно лицо полностью скопировано с другого.

Но ежели судить по многим характеристикам, выдаваемым в заводоуправлениях и учреждениях, то человек — не человек, а копия.

Передо мной 300 характеристик, выданные разным людям разными учреждениями.

Из них 147 документов как будто написаны одной рукой, продиктованы одним умом:

«За время работы проявил себя дисциплинированным, исполнительным, административных взысканий не имеет. Проявил себя на общественной работе».

...В наши дни как-то неловко, даже стыдно плестись в хвосте его величества Стандарта и сопровождающих его слов. Об этом я и буду писать.

Смехотворы-шарлатаны

Всюду, даже в самых глухих и отдаленных местах нашей страны, бывает заход солнца. Событие это, как известно, происходит к концу рабочего дня.

Предприимчивые люди начинают в такие сумеречные часы выдумывать разные штуки. Речь идет о сумерках в 1928 году.

В Бодайбо, например, вечерние выдумщики делают большие дела. По полученным нами сведениям, там вот уже несколько недель происходит горячая дискуссия по следующему актуальному вопросу:

«Девушка или коза?»

Подробно эта тема называется так:

«На ком женился Каин — на девушке или на козе?»

Вопрос этот, имеющий столь важное значение в деле индустриализации страны и культурной революции, горячо обсуждался на нескольких собраниях. А потом, как и следовало ожидать, дискуссия перешла на страницы местной газеты «Ленский шахтер».

Маленькая историческая справка к этому делу. Каин, как уверяют старожилы, был одним из сыновей того самого Адама, который состоял в брачных отношениях с Евой. Супруги, если память нам не изменяет, имели прекрасную жилплощадь на райской территории. Потом за незаконное пользование удобствами, в частности за попытку воспользоваться чужими фруктами, супругов в административном порядке выселили из рая. Они начали хлопотать, жаловаться, доказывать. Но мы ведь знаем, что жилищные дела вообще очень затягиваются. Пока супруги ожидали из высших инстанций ответа, у них пошли дети. Одного сына звали Авелем — это был задумчивый, интеллигентный юноша. Второй был вспыльчив, своенравен, тяжел на руку и оттого известен под именем Каина. У Адама и Евы были еще дети. Но они ничем себя не проявили, и мы на них не будем обращать внимания. Вообще за давностью времени мы

совершенно забыли о детях Адама. Правда, иногда мы вспоминали про Каина в связи с деятельностью империалистов, но слава его от этого не крепла.

И вдруг Каин предстает перед нами в новом свете. Во всем этом виноваты бодайбинцы, которые живо заинтересовались женитьбой молодого человека. Каин в Бодайбо — теперь (1928 год!) самая популярная личность. О нем говорят, пишут, дискутируют. Неожиданно человек попал в историю.

Бодайбинский коренной житель Н. Русалев, желая посрамить религиозные чувства некоторых своих соседей, выступил со статьей, в которой иронически, с присущим этому автору научным подходом, горячо доказывал, что Каин действительно был женат, и притом на козе.

Такое открытие произвело среди набожных людей впечатление разорвавшейся бомбы. Священник М. Никифоров выступил в гостеприимном «Ленском шахтере» с большой ответной статьей, озаглавленной: «Каин женился не на козе». Батюшка с цифрами в руках доказывает, что энергичная Ева, когда ей исполнилось 230 лет (доисторический «бальзаковский возраст»), продолжала спокойно рожать сыновей и дочерей. Так что Каин мог жениться на родной сестре.

С этими доводами ни «Ленский шахтер», ни Н. Русалев не согласны. В газете помещается огромный «подвал», в котором Русалев, упорно цитируя Библию, категорически высказывается против кровосмешения и уверяет, что Каину не на ком было жениться, кроме как на козе. . .

Спор продолжается. Чем все это кончится?

Совсем по-другому протекают вечерние часы в Камышине на Волге. Опять-таки речь идет о 1928 годе.

Перед нами — огромная афиша в трех красках, шедевр камышинского полиграфического производства.

Большие зеленые буквы кричат:

«Долой предрассудки, суеверие и обман! Да здравствует просвещение темных масс населения СССР!»

Посмотрим же, как в Камышине с разрешения наробраза и других властей происходит «просвещение темных масс населения».

Читаем афишу дальше. Синим шрифтом радостно сообщается:

«Проездом артисты циркового жанра остановились. Как то: жонглеры, балансеры, акробаты, фокусники, экспротитижаторы, эквилибристы, куплетисты, смехотворы, юмористы и клоуны».

Итак, свое продвижение по путям культурной революции Камышин начал во главе с фантастическими «экспротитижаторами» и смехотворами.

«Сегодня море смеху и смех до слез. А также 20 фокусов».

Красные буквы подводят базу под лозунг «Долой предрассудки и суеверия!».

«Акробат с кинжалом в горле исполнит невероятные трюки на волосок от смерти».

Борьба с суевериями на этом не кончается:

«Балансирование самовара с кипятком и огнем на подбородке в воздухе».

А дальше идет совершенно непонятное «просвещение»:

«Человек-молния, которого ничто не держит, момент — и он на свободе. Секреты все открывает зрителям».

Но самое страшное впереди. Аршинные буквы вопиют:

«Прибыл известный комик-шут и смехотвор народа, человек-труппа В. И. Бабаев. Спешите видеть. В заключение танцы». . .

И тут же человек-труппа и смехотвор народа, чтоб показать свое искусство, обращается к многоуважаемой публике со стихами:

Все останетесь довольны
Постановкой от меня,
Смех оздравит ваши нервы —
Откровенно скажу я. . .

...От яркой афиши повеяло тоской. Неужели это еще продолжается? Неужели под прикрытием лозунга «Да здравствует просвещение!» возможны у нас подобные «трюки на волосок от смерти»? Неужели на это уходят в советской провинции целые вечера?

К сожалению, это не только реклама, но и факт.

Цирк — неплохая штука. Здоровый смех — полезное дело. Но смехотворы-шарлатаны никак не «оздравят ваши нервы».

«Проездом артисты циркового жанра у нас оставались...»

Неужели в Камышине нет людей, которые крикнули бы всем таким жонглерам:

— Граждане, останавливайтесь воспрещается!

Вместе с афишей я получил из Камышина письмо: «Не стоило бы писать о том, о чем уже писали, и писали не один раз, но — поверьте — молчать сил нет.

Наш городок имеет около 20 тыс. жителей. Городок — полукрестьянский, полурабочий. В нем 5 или 6 рабочих клубов, гортеатр, 2 кино.

Как будто бы городок культурный — не правда ли? А загляните вы в наши клубы, театр (о кино не говорю), посмотрите на заборы, заклеенные пестрыми афишами, и вас от этой «культуры», от этого «просвещения» потянет в пивную.

В клубах свила прочное гнездо самая заядлая халтура. Центральный рабочий клуб им. Ленина ставит такое «драмбаракло», как «Каторжник» или «У дверей рая», клуб совторгслужащих преподносит зрителю «Эгоиста», а на открытии ставит концерт с вульгарными песенками».

...В Бодайбо — морганатический брак Каина с козой. В Камышине — человек-молния, которого ничто не держит...». Все это — явления одного порядка (вернее, беспорядка). Гибнут вечерние часы. Более того, при свете электрических ламп в клубах и нар-

домах происходит отравление зрителя мещанством и пошлостью. Рабочий зритель, наиболее крепкий и здоровый, возмущается и протестует.

К этому протесту надо внимательно прислушаться. День — на работе, в труде. А вечер? Неужели он должен остаться в руках ненасытной халтуры, под властью юрких людей с горячим самоваром на подборке?

Кто защитит сиротинушку?

Как изображался долгое время кулак на плакатах и в сатирических журналах? Толстый, неуклюжий боров. Противная личность, обрамленная противной бородой. Глаза мечут молнии по адресу социалистического строительства и колхозного актива. На ногах — новенькие сапоги «бутылками».

А какую словесность вкладывали иные писатели и поэты в кулацкие уста! Кулак самого себя обзывает мироедом и пауком. Я даже написал об этом стихи. Чудесные стихи.

Я кулак-живоглот,
И обрез со мною — вот!
И живот со мною — вот!
По уряднику скучаю,
Хлеб колхозный расхищаю.
Ай люли-люли-люли, —
Попадусь, как ни юли!

В действительности же, как мы знаем, все это происходило по-другому.

Кулак не откровенничал. Он далеко прятал свои мысли и думы. Он даже свое знаменитое пузо прятал. И, когда нужно, клялся именем пролетариата и плевал на всех святых угодников с Варварой-великомученицей включительно.

Таков Илья Пушнов.

Ничего величавого. Никакой почтенной осанки. Это мужичок с ноготок, лет сорока, в заплатанном кожухе, в истоптанных лаптях. Бороденка бесцветная, никудышная, этакая робкая бороденка. И сам Илья Пушнов — как будто тишайшей души человек. Подобострастно улыбается, говорит тихо, вкрадчиво. О своей особе самого ничтожного мнения:

— Кто я такой есть, дорогой товарищ? Я — глума. Я — дурак. При царизме, как дитя бедноты, не имел силы поднять голос. И только диктатура пролетариата дала мне крылья, и я с восемнадцатого года аплодирую всем мероприятиям советской власти.

Речь Ильи Пушнова — особый вид маскировки.

Он прекрасно владеет словом. Говорит торжественно-напыщенным языком.

— Зорок всемогущий глаз пролетариата, — говорит он нараспев. — Руководящие органы не дадут в обиду пастуха-горемыку Илью Пушнова. Не затем строим социализм, чтобы искривлять правильную генеральную линию. . .

Этот ряженный кулак не всегда ведет свою роль елейным голосом. Он — актер, изучивший все свои мимические и голосовые средства. Он знает, что порою — когда надо сыграть негодование — можно гневно прищурить левый глаз и возвысить голос.

Стоя в позе трибуна, который во имя правды и справедливости и перед сильными голову не склоняет, кричал он в лицо председателю райисполкома:

— За чьим столом сидишь? За моим столом! За столом пролетариата! Такие горемыки, как я, отвоевали этот стол у капитализма! . .

В Молчановке Трубчевского района было обложено индивидуальным налогом двадцать одно хозяйство. В том числе хозяйство Ильи Пушнова. Вопрос этот обсуждался на партийной ячейке, на собрании бедноты, на собрании сельсоветского актива. Все единодушно высказались: Илья Пушнов — кулак и спекулянт.

И вот Илья Пушнов появляется в Москве с готовым письмом в руках.

В письме говорится: он, Илья Пушнов, сын бедняка, вековечный пастух-горемыка, красный партизан и красногвардеец, пострадал за аплодисменты по адресу советской власти.

Во всем этом я подробно разобрался, когда по заданию редакции выехал в Молчановку для расследования письма «пастуха-горемыки».

Около пяти часов мы разговариваем с Ильей. В течение пяти часов он декламировал о пролетариате и его зорком глазе. Потом, после нескольких очных ставок с местными людьми, после предъявления ему ряда документов, он признал, что не был красным партизаном или красногвардейцем. Первое признание.

— Но зато, дорогой товарищ, — поет Илья, — есть такой человек Сухоруков, только вот в неизвестности его местопребывание, который справедливо удостоверить может, что в пятом году я вместе с ним участвовал в забастовке против царизма и его опричников.

Кстати, о царизме и его опричниках. Илья Пушнов — «дитя бедноты», оказывается, сын полицейского стражника.

Скупал партиями лыко и возил его продавать в город.

В прошлом году продал на рынке 400 пудов лука.

Во всем этом Илья Пушнов признался. Дальше идет сплошное отрицание:

— Клевета на мое социальное положение, дорогой товарищ. Я — пастух-горемыка. . .

Предъявляю Илье Пушнову отзывы о нем, написанные его односельчанами. Против каждого — отвод. С одним он прошлым летом поругался. С другим осенью судился. С третьим бранился. С четвертым дрался.

Вообще вот уже долгие годы, как он не вылезает из судебных органов. Привлекался к суду за поджог гумна своего соседа — оправдан «за недостатком улик».

Судился за избиение. За мошенничество.

— Гражданин Пушнов, почему в Молчановке нет ни одного человека, который сказал бы о вас хоть одно доброе слово? Вот вы говорите, что все врут. Укажите сами: кто сможет замолвить за вас словечко?

— Есть такой. Преданный партии, верный коммунист Андрей Глотов. Он в курсе всех моих положений.

Вызываем из соседней комнаты Андрея Глотова.

— Да, могу удостоверить — спекулировал, и обложили его правильно. Я сам голосовал за это.

— Что же скажете, Пушнов?

Пушнов молитвенно подымает глаза к потолку, складывает смиренно руки:

— Кто же защитит сиротинушку? . .

Рассказ о глухонемом

В первый же день моего приезда в Симферополь мне в редакции «Красного Крыма» рассказали эту историю. Так появился на свет мой документальный рассказ «Крымская пантомима».

Горы стояли. Долины лежали. Облака плыли. Море плескалось. Ущелья тоже чем-то занимались. Словом, старый, на практике проверенный крымский пейзаж.

Но крымский пейзаж был бы неполным и малоодушевленным без товарища Леви, редактора «Красного Крыма».

Редактор сидел. В кресле. Мыслил.

...Открывается дверь кабинета. Входит молодой человек. Кладет на стол бумажку. Редактор читает. Приезжий молодой человек, опытный газетный работник, прекрасно владеющий искусством литературной обработки, просит предоставить ему работу в редакции «Красного Крыма».

Честное, открытое и хорошо выбритое лицо. Грустные глаза. Милая, застенчивая улыбка. И такой внушающий доверие клочок волос, декоративно ниспадающий на лоб.

«Гм... кажется, подойдет. Производит отрадное впечатление. И по лицу видать — опытный газетный работник. Вот именно такого мне и недостает».

— Садитесь. Где вы раньше работали?

Молодой человек в ответ смущенно улыбается. Затем начинает мычать и выделывать пальцами обеих рук какие-то странные манипуляции.

Редактор испугался было. Не умалишенный ли? Но молодой человек схватил со стола блокнот и написал записку:

«Я — глухонемой с 1932 года. На почве сильной неврастении. Зовут меня Давид Бенцион. Работал во многих крупных провинциальных газетах. Имею

лучшие отзывы. Но вреден север для меня. По совету врачей мне полезен южный климат, синее небо, голубое море и хороший оклад».

Редактор успокоился и написал глухонемому записку:

«Покажите ваши документы».

Глухонемой ответил:

«В Симферополе на вокзале меня обокрали. Остался без копейки денег, без паспорта и прочих документов. Могу сообщить о себе следующие данные: год рождения — 1909, уроженец гор. Киева. Десять лет работал метранпажем в Харькове, а потом литературным сотрудником. Круглый сирота».

Глухонемого зачислили на работу и прикомандировали к сельскохозяйственному отделу. Пушай борется за поднятие урожая!

Бенцион стал всеобщим любимцем. Заведующий отделом Гладких не мог нарадоваться на своего нового сотрудника! Вот это работник! Слова лишнего не скажет. А какая обработка материала! Какое прилежание! Побольше бы таких глухонемых.

Глухонемой все более и более завоевывал сердца. Он смело шел по путям побед и настолько подчинил всех своему влиянию, что вскоре его способ изъяснения стал общепринятым в редакции.

Редакционная жизнь превратилась в пантомиму. Сотрудники разговаривали между собой при помощи пальцев и страшных гримас.

Если редактор показывает кулак и тут же выхватывает из письменного стола пачку карандашей и коробку перьев, это значило — надо дать «шапку»:

«Кулак расхищает общественное добро».

Если сотрудник ржал и сразу делал обиженное лицо, это значило — он предлагает заголовок:

«Против недооценки конского поголовья».

Редактор все более привязывался к глухонемому. Редактор мучился:

— Такой молодой и стройный кипарис, а похож на немое кино.

Однажды глухонемой пришел к редактору и письменно сообщил ему о своем желании прикоснуться к земле: он хочет поехать в командировку в колхоз.

Товарищ Леви попытался было усомниться: удобно ли посылать в колхоз глухонемого корреспондента? Но Бенцион с молниеносной быстротой рассеял его сомнения.

В тот же день глухонемому было выдано командировочное удостоверение:

«Предъявитель сего, сотрудник редакции «Красный Крым» Бенцион Давид, командировается по делам редакции в Биюк-Ойларскую МТС. Просьба ко всем организациям и лицам, ввиду того что т. Бенцион является глухонемым, проявить по отношению к нему особое внимание, заботу и чуткость».

Бенцион получает аванс в счет заработной платы, командировочные, получает деньги из страхкассы и кассы взаимопомощи, нежно прощается с товарищами по редакции и, сопутствуемый их мимическими добрыми пожеланиями, отправляется на ранний сев.

Прошло несколько дней. Звонят в редакцию. Но не из Биюк-Ойларской МТС, а из противоположной стороны Крымского полуострова — из Ялты. Редакцию извещают о том, что какой-то глухонемой с мандатом редакции на имя Давида Бенциона ходит по ялтинским учреждениям, собирая деньги, объявляя, что его обокрали.

Ответственный секретарь редакции Колесниченко сразу догадался, в чем дело:

— Попал в Ялту, а не в МТС, глухонемой — вот и заблудился. Ну, конечно, и обокрали. К нему лезут в карман, а он ничего не слышит: глухой!

На этом и успокоились. Но через несколько дней произошло другое сообщение из Ялты. На этот раз от Уголовного розыска.

Редакция «Красного Крыма» ставилась в известность, что в Ялте задержан некий Д. Бенцион с

документами «Красного Крыма». При допросе оказалось, что он не глухонемой, а, наоборот, обладает прекрасным слухом. В одиночной камере распевал песни. Причем у арестованного, по свидетельству Угрозыска, оказался весьма приятный баритон. И что у этого приятного баритона — солидное уголовное прошлое...

Тоска. Серые будни. Не стало в редакции симпатичного глухонемого.

А вообще — все по-прежнему. Горы стоят. Долины лежат. Море и прочие курортные атрибуты — на своих местах.

И по-прежнему редактор сидит в кресле. Мыслит.

Он сидит, устремив через окно свой взор в голубую манящую даль, и думает. Думает о кадрах.

ГОЛОВО... ТЯП

— Я вижу, товарищ фельетонист, что вы намерены осчастливить народ новым талантливым сочинением. Вижу на белом листе вашей бумаги уже половину заголовка — «Голово...».

Знаю, что вот-вот добавите еще три буквы — «тяп». А тяпнете вы в мою сторону. Потому что вы серьезно поверили тем письмам, в которых меня обзывают головотяпом.

Этот странный посетитель откашлялся, а потом бодрым голосом продолжал:

— Как постоянный ваш читатель, как поклонник вашего дарования, искренне советую: не писать. Не надо меня трогать — я вам еще нужен. Мы не должны пренебрегать нами, такими ценными работниками.

В письмах, в которых меня именуют головотяпом, царапают меня по линии романтики. (Таких писем в прошлом, тысяча девятьсот шестьдесят четвертом году, было множество.) Глубочайшее заблуждение. Мне недосуг этим заниматься. Ни по возрасту, ни по занимаемой должности, ни по своему здоровью я не могу состоять в романтиках.

Но я по силе возможности внедряю романтику в подведомственном мне учреждении. Особенно налегаю на молодую поросль, а также на низкооплачиваемых сотрудников. А я знаю толк в романтике. Я на этом деле, можно сказать, собаку съел. И я внедряю, несмотря на возражения.

Вот, к примеру, служит в нашей канцелярии молодой паренек Палкин. Не ахти кто такой — не Тургенев, не Лермонтов, не Виктор Гюго. А просто — Палкин. Посылаю его в ответственную командировку — в деревню на предмет уточнения одной цифры, касающейся...

Уж не помню, чего она там касается, эта цифра, и зачем она касается, а ежели и касается, то мне какое дело?

Короче говоря, пушай Палкин прибеднит на место и сам разбирается, что к чему. До деревни километров десять с гаком. Ну, а мороз в тот день был не менее двадцати градусов с гаком. Ничего не скажешь — мороз вполне нормальный.

И вот Палкин набрался нахальства и просит, чтоб я ему дал наш газик. Вы только подумайте — без машины он не может. С детства привык — дед его катался на «Волге», а прабабушка не вылезала из «Чайки». А сейчас внук норовит ездить на газике. Где борьба с трудностями? Где закалка? Где романтика?

Почему бы ему на своих на двоих не пуститься в путь? Ведь наши люди проделывали пешком и не такой путь! Если не ошибаюсь, из Каракумов в Москву топали! А из Москвы — в Малаховку! Вот это молодежь! Вот это романтика!

Романтик на газике — позор! Будь Палкин даже на дрейфующей льдине, и то не дал бы ему машины. Тот не романтик, кто хоть раз в жизни не отморозил ног.

Правильно я рассуждаю? Правильно! А меня же за это обзывают головотяпом!

С Палкиным у меня еще будет серьезный разговор на другую тему. Он жаловался, что химчистка добавила на его пиджаке свежую полдюжину пятен. Ишь ты его! Я знаю одного спортсмена, который побил несколько мировых рекордов, а на его пиджаке большое пятно. Я знаю одного парня, который защитил научную диссертацию, а на пальто у него не то два, не то три пятна. Я еще знаю и то, что и на солнце есть несколько пятен среднего размера. Ну и что? Бежать жаловаться, что ли? Посыпать голову пеплом и хныкать, что ли? А где закалка? Где преодоление трудностей?

Несмотря на пятна, шагай вперед от рубежа к рубежу! Не думаю, чтоб в семнадцатом году, когда свергали проклятое самодержавие, люди интересовались пятнами на своей одежде. Плевать им было на пятна! Вот это романтика!

А теперь еще новое дело. В подведомственном

мне общежитии вот уж вторую неделю, как погасло электричество и начало шалить отопление. Какой вой подняли! Какой шум! Какие письма полетели в редакцию! Думаю, товарищ фельетонист, что вы читали эти письма.

А ведь настоящие романтики не интересуются электрическим освещением и всякого рода центральным отоплением. Все это — чистое мещанство. Настоящему романтику подавай луну, подавай ему ясный месяц, который не прячется за тучку, потому что не хочет больше гулять.

Настоящему романтику не нужна ни печка, ни горячая батарея. Ему нужен хворост и спички. Он будет греться у костра. Греться и петь: «Мой костер в тумане светит, искры гаснут на ходу».

Нет, не понимают меня. Пишут против меня. Критикуют, невзирая на лицо.

Видимо, написал и кое-кто из посетителей. Попадают несознательные граждане и гражданки.

Некий тип жалуется, что он ко мне много раз приходил, а я его все не принимал. Так это же для его же пользы. Он пришел, ушел, опять пришел, опять ушел. Большое движение в жизни, нет застоя. Серые будни не так однообразны. Он благодарить должен, а не жаловаться.

Или вот не раз приходили ко мне муж и жена. Молодожены. А ведут себя, как дряхлые старики. Видите ли, у них в комнате прохудилась крыша, начал зевать потолок. Уже полгода, как они мне об этом надоедают.

А ведь в их скромном жилище — красота и поэзия. Почти как в палатке. Хорошо видно голубое небо и как бродят по нему тучи небесные, эти, по выражению поэта, вечные странники. Видно, как звезда с звездой говорит. А ежели осадки, то приятно слышать, как дождевые капли падают на твои часы, лежащие на ночном столике, у твоего изголовья. Романтика! А эти молодые люди не понимают своего счастья.

Вот они и жалуются. А вы вот собираетесь писать фельетон. Собираетесь? Не советую.

А ежели все же будете писать, то как вы меня обозначите — «дурак» или «головотяп»? Что менее обидно?

Он ушел, и я тут же сел писать фельетон и сразу добавил в заголовке недописанные раньше три буквы.

Какие бывают лекции

В 1947 году я написал несколько пародий. Одна из них — «Лекция кандидата каких-то наук»...

Итак, на чем мы с вами остановились в последний раз? В последний раз, если память мне не изменяет (как любил выражаться один голландский торговец сыром), мы с вами затронули проблему влияния западноевропейской культуры на русские фургоны.

Коротко напомним содержание прошлой лекции. Еще недавно наши московские негодянты, я имею в виду работников товаропроводящей сети, рисовали на продуктовых полуторках всякие иностранные слова на французском, немецком, английском и прочих зарубежных диалектах.

По Марьиной роще, Плющихе, Нижним Котлам и замоскворецким авеню сновали разрисованные машины «Главхлеба», на которых слово «хлеб» было начертано почти на всех европейских языках, кроме русского.

Достоин глубокого сожаления (как любил выражаться один испанский аббат времен инквизиции) тот факт, что теперь исчезли эти иностранные надписи, по которым население могло изучать европейские языки.

В сегодняшней нашей лекции мы продолжим нашу линию и коснемся вопроса о влиянии западноевропейской цивилизации на популярную русскую песню «Ехал из ярмарки ухарь-купец», сочинение Никитина.

То обстоятельство, что главным персонажем этой песни является представитель торговых кругов, свидетельствует о несамостоятельности автора. Да! — восклицаю я. Он своего героя заимствовал у Шекспира!

Чтобы не быть голословным, напомним вам о «Венецианском купце» Вильяма Шекспира. Поставлю

вопрос на научную основу и обращусь к датам. «Даты не врут», как однажды выразился двоюродный брат папы римского Льва IX.

Что же нам говорят даты? «Венецианский купец» был написан в 1600 году. «Ухарь-купец» — в 1859 году. Итак, только слепому не видно, кто у кого, простите за выражение, стянул купца.

Обратите внимание и на другое «совпадение», если вообще здесь может идти речь о совпадениях. Ухарь-негоциант Никитина уж очень похож в своем расточительстве на ухаля-купца Шекспира.

У Никитина:

Выхватив с звонкой казной кошелек,
Потчует старых и малых вином.

У Шекспира (если верить переводу Т. Л. Щепкиной-Куперник):

Мой кошелек, я сам, мои все средства —
Открыто все...

Фиксирую ваше внимание на двух кошельках. У Шекспира — кошелек. Кто у кого стянул кошелек, судите сами.

Никитин уверяет, что его купец «вышел на улицу весел и пьян». Это значит, что он выпил не сто и не полтора грамма, а хлебнул хорошую порцию...

Кстати, о хорошей порции. Это тоже заимствовано у Шекспира. В том же «Венецианском купце» описывается Порция, богатая наследница, красавица:

Ее глаза привет мне молча слали.
Ей имя — Порция...

Но самый факт, что никитинский купец пьян, доказывает, насколько крепко было влияние западноевропейской цивилизации на автора русской песни. Мы уверены, что сам Никитин не мог бы додуматься до того, чтоб напоить своего героя. Вино для ухаля-купца он зачерпнул в европейских источниках — у Сервантеса, Рабле и т. д. Но отнюдь не в шотландских застольных песнях — там, как известно, пьют не вино, а грог. Но об этом подробнее — в следующий раз.

С вашего разрешения, пойдём дальше. В песне упоминается о том, что «стал он (купец) на двор лошадей покормить». Здесь опять-таки определенно чувствуется влияние западноевропейских источников.

Судя по некоторым дошедшим до нас литературным памятникам, лошадей кормили еще в эпоху Ренессанса. Кормили их и позже, кормили и холили еще задолго до Никитина. Вспомним хотя бы, с какой нежностью диккенсовский мистер Пикквик спрашивает у возницы по поводу его дряхлой клячи: «Сколько лет лошадке, приятель?» И возница, то есть кэбмен, ответил: «Сорок два». Как видите, старых кляч уважали еще в 1827 году, от рождества Христова.

Не избежал Никитин и влияния Байрона. Байронические настроения ухаря-купца особенно подчеркнуты в той чайльд-гарольдовской позе, которую он принимает, произнося: «Нет, так не надо... другую найдем».

Эта глубокая мысль, где сплелись воедино тихая грусть («нет, так не надо») и высокий оптимизм («другую найдем»), целиком повторяет Байрона, когда он обращается к Джону Пиго:

Брось, Пиго, не жалея
О красоте своей...
Как же быть, милый мой?
Ты пойдй за другой...

Итак, мне удалось доказать, что «Ухарь-купец» был написан под влиянием лучших образцов западноевропейской литературы.

В заключение я хочу остановиться на фамилии автора песни. Эта фамилия «Никитин» тоже не избежала иностранного влияния. Мне удалось сделать открытие, что в XV веке в городе Йоркшире существовала фирма Ник и Тин. Эта фирма занималась оптовой табачной торговлей, отчего впоследствии и произошло слово «никотин». А уже от «никотина» образовалась в Воронежской губернии фамилия «Никитин».

Все. Я кончил.

Пуговкин и др.

Сейчас для меня уже совершенно ясно, что, говоря о знатоках и ценителях литературы середины двадцатого столетия, нельзя умолчать о такой колоритной фигуре, как Юрий Семенович Пуговкин.

Он не редактор. Не литературовед. Слава богу, не критик. И не принадлежит к той категории популярных писателей, чья подпись появляется лишь под некрологами.

Познакомился я с ним при следующих обстоятельствах.

Я думаю, вам известно, что у самого берега Черного моря плещутся волны. В одно прекрасное июньское утро они плескались, а я тут же поблизости тихо лежал на гальке. Солнце, невзирая на мой возраст и общественное положение, сильно припекало меня.

Я внимал ласковому шуму моря, и в памяти моей все время возникала горьковская фраза: «Море смеялось...»

И вдруг рядом со мной прокатился другой смех. Я повернулся и увидел трех человек, в поте лица своего режущихся в козла.

Как будто бы на пляже и в бане все равные двоюродные! Но настоящий начальник, даже если он в одних сиреневых трусиках, все же выглядит начальником: лицом и голосом — герой!

Нетрудно было отличить, что самый маленький из них есть самый большой. Он начальник, а те двое — его подчиненные. Будь они из другого главка и министерства, они бы так охотно и так обильно не смеялись его шуткам и островам.

Из их отдельных реплик я узнал, что начальника величают Юрием Семеновичем Пуговкиным. Дальше мне стало известно, что он руководит плановым отделом в одном солидном главке, чье вытянувшееся в длину название оканчивается на «строй».

Отсюда я сделал заключение, что сей Пуговкин

имеет какое-то отношение к строительству. Но в его разговоре не слышно было ничего крупноблочного, кирпичного, деревянного, ни звука о котлованах, карнизах, фундаментах.

Он говорил о литературе. Только о литературе.

Я заинтересовался его высказываниями на эту тему. Со мною был мой постоянный спутник — блокнот, и я записал.

— Что там Бальзак! Когда Эмиль Золя был в бальзаковском возрасте, он сочинил больше, чем Дюма-отец, Дюма-мать и Дюма-сын.

— Разве была Дюма-мать? — усомнился один из его собеседников.

— Вы наивный человек, Сазонов! — ответил знаток литературы. — Как же мог быть Дюма-сын без Дюма-матери?..

Затем Пуговкин начал рассказывать анекдоты:

— Однажды Пушкин встречает своего приятеля, и тот ему говорит... .

— Как-то к Тургеневу в Париже пришла русская дама и говорит... .

Дальше следовал приглушенный шепот и смех.

Такой любитель литературы — распространенный тип. Вы не встретите такого, с позволения сказать, знатока геологии, хирургии, географии, семеноводства. Вы не услышите дурацких анекдотов о химиках, физиках, железнодорожниках, парикмахерах.

Но сколько пошляков вертится в окрестностях литературы и возле литераторов!

Это не те люди, которых в самом деле интересуют книги, писательский труд, критические статьи. Их занимают больше всего всякого рода сплетни, кривотолки, слухи, забавные истории.

Я успел убедиться, что Пуговкин — один из тех, у кого к литературе интерес особый, специфический, интерес того ценителя, которого привлекает не сама картина, а рама, не книга, а переплет.

— Что там Илья Репин! Вот у Александра Герасимова багет так это багет!

— Куда Лермонтову! Ему и не снился такой переплет, как у Кирсанова!..

Дальше, тут же на пляже, я услышал несколько рассуждений Пуговкина, из которых легко составить его портрет:

— Я так полагаю, что Лев Николаевич Толстой крупней Ивана Сергеевича Тургенева. Скажите, пожалуйста, разве можно сравнить толстовскую Ясную Поляну в Тульской губернии с тургеневским имением в этом самом, в Лутовинове Орловской губернии? А кроме того, Лев Николаевич еще владел большим домом в Москве, в Хамовниках. Что и говорить, крупный писатель, классик!..

А вот кого я не понимаю, — продолжал Пуговкин, — так это Лермонтова.

— Вы имеете в виду «Мцыри» или «Героя нашего времени»? — спросил тот же Сазонов.

— Это все пустяки. Я имею в виду музей в Пятигорске. Боже мой, какая бедность! Какая простая мебель! Смотреть нечего. А тоже вот считается классиком.

После краткой паузы:

— Должен вам сказать, что теперешние поэты хотя и не классики, а живут приличнее. Возьмем, к примеру, Олега Солнцева. Вот ежели после него устроят музей, так будет что посмотреть: и мебель, и картины, и фарфор, и хрусталь... Но все же, друзья, поэтам далеко до драматургов. Вот возьмем Курлова...

— Да, последняя пьеса Курлова — это большая победа...

— Отстали, мой дорогой. Он уже «Победу» продал и купил «ЗИМ».

— А как вам, Юрий Семеныч, нравится Изюмов?

— Ничего плохого о нем не скажу. Видел его недавно в заграничном костюме. Хорошо сшито!

— А как вам нравится его роман «Далекий путь»? По-моему, неплохое построение сюжета. А?

— Не тем построением интересуетесь, Соломагин. А надо бы заинтересоваться построением не сюжета, а дачки. Изюмов себе такую дачку отгрохал в Воробьевке!..

— Я же живу в Воробьевке. Никакой там дачи Изюмова нет.

— Не спорьте, Соломатин. Нет — так будет. Я в этом уверен.

— Хорошую вещь в стихах написал Кузьмин.

— Хорошую? Мы еще побачим, что это за хорошая вещь!

— А вы ее читали?

— И не собираюсь, но уверен, что надо бы того... расчихвостить. Нет, понимаете ли, остроты, нет аромата. Еще до него доберутся!.. Слышал я, что он опять разошелся с женой. А зарабатывает он неплохо. За свое новое стихотворение получил не то сто тысяч, не то миллион... Вот я вам расскажу такой анекдот. Идет Константин Симонов по улице и встречает Михаила Светлова, а тот ему говорит...

Я дальше не слушал. Солнце подымалось все выше. Море смеялось...

А мне было не до смеха. Я с трепетом подумал: а чем черт не шутит? А что ежели такой Пуговкин попадет в члены редколлегии какой-нибудь газеты, журнала или в рецензенты?

И вот неволью пришла на ум такая концовка фельетона. Прихожу в некое издательство, и мне говорят, что моя рукопись находится на отзыве у Юрия Семеновича Пуговкина, кабинет № 7, вторая дверь направо.

Подхожу я к этой двери и слышу, как Пуговкин говорит кому-то:

— Анатоль Франс не был женат, но тем не менее...

Нет, не нужно такой концовки. Это очень плохая концовка. Не правда ли?

Случай с утесом

«Есть на Волге утес, диким мохом порос от вершины до самого края...»

Об этом незаурядном факте давным-давно оповещено все население нашей страны. Вся подноготная утеса известна всякому из нас.

Был, например, такой случай. Автор этих строк плавал по Волге, по маршруту Нижний — Астрахань. Погода была ясная, солнечная. Теплоход — большой, со всеми удобствами, с широкой палубой. Пассажиры безмятежно бродили по палубе, усиленно восторгались природой.

Но благодушное состояние пассажиров сразу же было нарушено, как только мы покинули саратовскую пристань. Волнение овладело всеми. По всем углам — шепот:

— Сейчас будет утес... Утес Стеньки Разина...

Минуты казались годами. Часы — вечностью. Ко всему привыкшая Волга вела себя самым индифферентным образом. Но люди на пароходе нервничали. Вдруг один из пассажиров, досель углубленный в путеводитель и карту, вскочил с места и не своим голосом крикнул:

— Вот он!.. Утес!..

Перед нами была гора прекрасного сложения, одетая с головы до пяток в чудесный зеленый мох. Все застыли в безмолвном созерцании. Тихо, чтоб не нарушить благоговейной тишины, защелкали фотографические аппараты.

Все течет и меняется. Течет и Волга. И меняются живописные пейзажи. Но пассажиры парохода холодно встречали новые красоты природы. Все были так потрясены утесом Стеньки Разина, что на другие утесы и горы не обращали никакого внимания.

На верхнюю палубу поднялся вахтенный матрос со шваброй. Зевнул. Равнодушно ткнул пальцем в пространство и пробасил:

— А вот и утес Стеньки Разина.

Все оцепенели.

— Как? Ведь утес был час тому назад!

Матрос был неумолим:

— Вот это и есть утес Стеньки Разина. А что вы раньше видели, — не знаю. Тут этих гор понатыкано — уйма...

Перед нами был настоящий, неподдельный утес Степана Разина. Все смотрели на него равнодушно. Утес как утес — ничего особенного. И мох какой-то хмурый, гнилой. И бывал ли на этом утесе Разин — тоже неизвестно. А если и бывал, так что?

Какой-то престарелый и неисправимый романтик начал декламировать: «Есть на Волге утес», но сразу же замолк. Никто его не поддержал...

Извините за сентенцию: как часто мы восторгаемся тем, чем не надо восторгаться, и равнодушно проходим мимо подлинных утесов!

ДЬЯВОЛ

Еду в Гусь-Хрустальный. Лежу, как граф, на верхней полке в жестком вагоне. Графу спать хочется. Тем более что уже полночь. Устраиваюсь с комфортом. Снял свои новые полуботинки и подложил их под голову — так оно верней будет. Крепко уснул. Снилось мне что-то очень приятное.

Рано утром проснулся. Чувствую себя прекрасно. А как чувствуют себя мои полуботинки — не знаю. Их не видеть и не слышать. Они исчезли ночью, не оставив своего нового адреса.

Я в одних носках. Если память мне не изменяет, носки были цвета беж. Очень красивые носки, но без ботинок меркнет вся их прелесть.

Кто-то из пассажиров сжалился надо мной и уступил мне свои синие резиновые тапочки. В них я и пожаловал в Гусь-Хрустальный.

От вокзала до центра километра три. Уже наступили ранние заморозки — так пожелал ноябрь месяц в 1931 году. Этаким элегантным кавалером — в синих тапочках и с желтым портфелем — добрался я до гостиницы.

Что же такое в этот ранний час творится в grand-отеле Гусь-Хрустального? Добрый десяток женщин разных возрастов бегают по лестницам, бегают с ведрами, тряпками, щетками и проклятиями. Кого-то ругают, кому-то угрожают, кого-то обзывают дьяволом.

— Доброе утро, милые гражданки! — обратился я к ним очень нежно, очень ласково.

Мне даже хотелось прочитать им стихи Фета «Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало». Но одна из этих милых гражданок взглянула презрительно — нет, не на меня, а на мои синие резиновые тапочки — и хорошо поставленным колоратурным сопрано пропела:

— Катись отсюда к чертовой бабушке. Не до тебя сейчас.

— А что случилось?

— Какой-то дьявол должен приехать из Москвы. И вот из-за него мы всю ночь моем и чистим гостиницу.

— А где заведующий?

— Уходи отсюда скорей, если не хочешь получить мокрой тряпкой по физиономии.

Мокрая тряпка меня не устраивала. До прихода заведующего еще часа два. Пошел побродить по улицам. Я всегда считал, что утренняя прогулка по морозу очень полезна для здоровья.

Я вернулся в гостиницу в тот самый момент, когда туда пришел заведующий.

И тут все выяснилось. Оказывается, дьявол из Москвы — это я.

Видите ли, какое дело. Из редакции позвонили в Гусь-Хрустальный с просьбой забронировать для меня номер в гостинице. В Гусь-Хрустальном кто-то всполошился: едет корреспондент, едет фельетонист! Вот и поднялась суматоха.

Все же из-за дьявола помыли и почистили гостиницу в Гусь-Хрустальном.

Еду в Лихославль

В международных вагонах пассажир важный, задумчивый и молчаливый. В мягких — народ полегче, поживее, но все же и ему далеко до той публики, которая подбирается в жестком.

В жестком пассажир общительный, разговорчивый. Он тебя и кипятком попотчует, и биографию расскажет, и любопытными историями поделится.

И вот однажды вечерним поездом еду в жестком вагоне из города Калинина в город Лихославль. Если память мне не изменяет, было это в 1931 году.

Сел я в вагон и сразу начинаю знакомиться с соседями по купе. Разговоры завожу. Дескать, хороший поезд, без опозданий идет. И погода, мол, неплохая. И может, кто-нибудь знает, когда прибудем в Лихославль и далеко ли город от вокзала?

А у окошка примостилась старушка. Сидит, молчит, прислушивается к разговору и старательно уплетает булку с колбасой. Решил я побеседовать с нею.

— Бабушка, откуда сама?

— Тутошная. Колхоз наш за Лихославлем.

— Давно из колхоза?

— Почитай, месяца два.

— Ого! А куда ездили?

— По докторам, милый, по докторам все езжу.

— Целых два месяца?

Самое удивительное, что старушка совсем не походила на больную.

— Два месяца, милый, два месяца. Ничего не делаешь — приходится. . .

— Да, старость — не радость! . .

— Нет, ничего, милый. Я не жалуясь.

— У каких же врачей вы побывали?

— У разных, милый, у разных. Спервоначалу поехала в Бологое. Там доктор один, хотя и молодой, но по ревматизмам большой специалист. Как рукой снимает всякую хворь в суставах.

— Да, ревматизм — серьезная вещь.

— Очень серьезная. А после этого поехала в Торжок. Там, скажу я вам, отменный сердечный доктор. Сердце, значит, исправляет.

Пассажиры с удивлением поглядывали на розовощекую старушку, которая страдает столькими серьезными болезнями. Больная же с похвальным рвением продолжала налегать на булку с колбасой.

— А после Торжка, — продолжала старушка, — подалась я в Осташково.

— А туда зачем?

— Опять же, милый, к доктору.

— А в Осташкове какой доктор?

— Глазной, милый. У него я десять суток пробыла. Обходительный человек. Женится недавно.

Наше удивление все больше росло. Глаза у старушки такие ясные, веселые, а она по глазникам катается. Я хотел было уже спросить ее об этом, но старушка продолжала свой рассказ:

— А из Осташкова направилась я в Калинин.

— Тоже к врачу?

— К врачу, милый, к врачу. Куда ж мне еще на старости лет? Там есть, в городе Калинин, знаменитая женщина-врач. Вот я к ней на целую неделю. Акушерка она.

— Что?!

— Акушерка, милый, акушерка.

Кто-то из пассажиров громко засмеялся. Действительно, удивительная старушка!

— А чем же вы, бабушка, больны?

— Господь с тобой, милый! Чего же это я буду болеть! Седьмой десяток пошел, а никогда ничем не хворала.

— Чего же вы по докторам разъезжаете?

— Не по своей воле, милый, не по своей воле.

— То есть как?

— Приглашают меня, вот и езжу. Как же не ездить. Я же их выкормила и вырастила.

— Кого?

— Да докторов всех этих. По ревматизмам в Бологом — мой старший, Николай. По сердечным в Торжке — средний, Сергей. По глазным в Осташко-

ве — меньшей, что недавно женился, Михаил. Акушерка в городе Калининe — дочка моя, Катя. А мне чего хворать?

— Да у вас, бабушка, целая семья врачей!

— Так вышло. Сначала пошел Николай по этой специальности, а потом уж друг дружку тянули. Вот только Анна у меня пошла по другой линии.

— А она кто?

— В колхозе работает. Доярка.

— Как же так получилось? Все ученые, а она... Что, способностей нет?

Старушка неторопливо полезла в корзинку, вынула оттуда аккуратно сложенный номер газеты.

— Вот в газете пишут про Анну. Талантом называют.

В газете на первой странице был помещен портрет красивой улыбающейся девушки с орденом...

В окно вагона брызнули огни вокзала. Поезд подходил к Вышнему Волочку.

Сакья-Муни, каменный гигант

Я открыл дверь каюты и услышал — кто-то на корме декламирует с большим чувством:

По горам, среди ущелий темных,
Где ревел осенний ураган,
Шла в лесу толпа бродяг бездомных
К водам Ганга из далеких стран...

Очень знакомые стихи. Но вот беда: забыл имя поэта.

Слушаю дальше:

Перед ними — на высоком троне
Сакья-Муни, каменный гигант...

Ах, вот оно что! Это же Мережковский — «Сакья-Муни». Какая неожиданная встреча под Рыбинском! (Пароход идет из Рыбинска в Нижний, на ярмарку. Значит — это было тогда, когда город Горький назывался Нижним Новгородом и когда там была ярмарка.)

Спешу на корму. Вижу — какая-то компания увлекается пивом. Тут же и любитель стихов — человек лет пятидесяти с небольшой рыжей бородкой. Потом я узнал, что звать его Сидор Карпович. Едет в Нижний ремонтировать печи в Главном ярмарочном здании.

Он неплохо читает. С какой страстью произнес:

Я стою, как равный пред тобою,
И, высоко голову подняв,
Говорю пред небом и землею:
Самодержец мира, ты неправ.

Я познакомился с Сидором Карповичем. Распили бутылку пива. Разговорились. Очень хвалил он стихи, которые только что читал.

— Богатые стихи, ничего не скажешь. Интересуетесь, как они засели в моей голове? Очень даже просто. Я по всей Волге еще до революции чинил

печи во всех купеческих клубах и дворянских собраниях. И вот как только праздник какой-нибудь, сейчас же на сцену выскакивает курсистка или студент и начинают докладывать эти стихи. Ну, я и запомнил...

— А знаете ли, Сидор Карпович, — спросил я, — кто сочинил эти стихи?

— Не слышал.

— Мережковский.

— Жив-здоров?

И тут я рассказал Сидору Карповичу, что случилось с этим бывшим писателем. Он стал белогвардейцем, черносотенцем, врагом рабочих и крестьян. Бежал из Советской России, живет где-то за рубежом, где у него одно занятие — клевета на советскую власть.

Сидор Карпович слушал внимательно. Потом сказал:

— Вот что, милоч. В нашем селе был помещик — шукура, не человек, а зверь. Он вырастил великолепный сад. Какие яблоки, груши, сливы! Ну так вот... Помещика мы прогнали. А фруктами пользуемся... Так-то, милоч!..

Милый ангелочек

Первым делом хочу вам сообщить: я недавно (речь идет о 1963 году) вернулся из поездки по Болгарии. Упоминаю об этом не хвастовства ради, а потому, что сюжет моего рассказа тесно связан с моим коротким пребыванием в Златы Пяцы. Там я встретил и милого ангелочка (говорю без всякой иронии), и безумно влюбленную в ангела Валентину Карповну, и мало симпатичного туриста, ханжу и лицемера Пяткина.

Но сначала считаю своим долгом информировать вас о том, что Златы Пяцы — это «Золотые Пески». Так называется чудесный курорт недалеко от Варны.

В первый же день своего приезда я на пляже встретил свою старую... Поймите меня правильно... Она молодая женщина. А заодно и старая знакомая. Такое совмещение вполне законно.

Сразу, не поговорив даже о погоде и о температуре воды в море, она мне сказала:

— Выньте из кармана ваш блокнот и записывайте. Очень веселая тема. Быть может, вам пригодится. Кстати, вы знаете Пяткина, моего сослуживца? Не знаете? Не огорчайтесь, я вас как-нибудь познакомлю. Но давайте ближе к делу.

Приехала я сюда дней пять тому назад. В первый же день... Перед вами, как старым другом, хочу излить свою душу. Ничего не скрою, все скажу. И вот в первый же день познакомилась и даже подружилась с одним молодым болгаринном. Ах, какой это милый славянин! Его зовут Ангел. У болгар это очень распространенное имя. Как у нас, русских, Эдуард и Роберт. Чудесный парень! Когда мы наедине, называю его нежно и ласково: Ангелочек. Хотите, я вас познакомлю с ним? Он вам очень и очень понравится. Какая у него восхитительная улыбка! Какие глаза!.. Не перебивайте... И, пожалуйста, не хмурьтесь... Вы же не ханжа... Я его полюбила с первого взгляда. Да, да, полюбила! Бывает же такая

любовь, не правда ли?.. Не делайте, пожалуйста, такого строгого лица... Тем более что я об этом уже написала в Москву и мужу и своей матери... Я не скрываю свою любовь. Я ее не стыжусь... Мы часто встречаемся с Ангелом. Можете мне верить, можете не верить, но мы уже целуемся. Гуляем вечерами по парку, где так нежно благоухают розы дружественной нам страны, болтаем о том о сем. Но не о политике. Он не любит такие разговоры, — собственно говоря, в политике он ничего не понимает. Но вообще он развитой парень. Ходим, разговариваем, улыбаемся друг другу.

Но его мама... Кстати, его мама уже знакома со мной и очень благосклонна ко мне, какая добрая и чуткая женщина! Так вот его мама приходит за ним в парк, уводит домой и укладывает спать. Очень рано укладывает спать — и это вполне понятно: Ангелочку надо расти и расти. Сейчас ему всего четыре года и два месяца.

Валентина Карповна замолчала и лукаво взглянула на божий мир, а заодно и на меня. По всей логике вещей я должен был рассмеяться. Но я этого не сделал из уважения к вам, дорогой читатель. Потому что вместе со мной милая дама, как мне кажется, разыграла и вас.

После небольшой паузы Валентина Карповна вдруг воскликнула:

— Вот он! Полюбуйтесь!

— Кто? Ваш милый ангелочек?

— Нет! Это совсем иного сорта милый ангелочек. Смотрите, на соседней аллее появился Пяткин.

Я увидел низкорослый экземпляр. Вместо шляпы или кепки он носил сизую лысину — она изящно облегла его голову. По обеим сторонам лысины гордо торчали уши, похожие на радарные установки, длинные уши того стандартного фасона, которыми украшены индивидуумы, чутко прислушивающиеся к тому, что говорят современники.

Когда я обратил внимание Валентины Карповны на эти детали, она сказала, что уши Пяткина играют, конечно, немаловажную роль, но его рот более стра-

шен. Этот орган без устали выплевывает огромное количество серых, скучных, противных лицемерных слов.

Ханжа Пяткин страшнее засухи, страшнее града и мора. Он считает своим долгом всех и вся поучать, наставлять, опекать, допекать. Всем без различия возраста, пола и цвета кожи (имею в виду загар) он делает строгие выговоры.

Эй, вы, молодые люди, что вы такое поете? Как вы смеееете петь эти легкомысленные туристские песенки? Выкиньте из песен слова о луне, о свиданиях, о любви — народ этого не приемлет.

Что вы там такое декламируете? «Звезда с звездой говорит». Это же разврат! О чем они говорят темной ночью? На какую тему шепчутся, отгородившись от коллектива?

Что там еще такое? «Ночевала тучка золотая на груди утеса великана». Безнравственно! Ночевала! На груди! Знаем мы их — эти золотые тучки, — они шляются по пляжу в купальных костюмах на потеху пижонистым утесам.

Что у вас за книжка? Стихи? Нашли чем заниматься! А чьи стихи? Рождественского, Вознесенского, еще скажете Козьмодемьянского, Крестовоздвиженского. В то время, когда надо всемерно развизать атеистическую пропаганду, вы увлекаетесь поэтами с поповскими фамилиями. Народ их не приемлет.

Обо всем этом рассказала мне Валентина Карповна. Я, конечно, весело смеялся. И вот тут-то приблизился к нам Пяткин. Он сразу накинулся на нас:

— Чему смеетесь? Почему смеетесь? Над чем смеетесь? Будете смеяться здоровым смехом, когда вернетесь на родину. Опять смеетесь? Какие-нибудь анекдотики рассказываете? Или начитались юмора и сатиры? Сплошное зубоскальство! Развратили вас, молодые люди. Издают не только Зощенко, но и Аверченко. Я их, конечно, не читал, но знаю, что это очень вредное чтение. Я об этом уже написал куда следует.

Он умолк. Потом вперило свое недреманное око в Валентину Карповну:

— А вы все еще возитесь с вашим Ангелом? Стыд и позор! . . . Кстати, где он? Где работает?

— Он нигде не работает.

— Тунеядец?

— Он еще молокосос.

Пяткин плюнул на золотой песок и быстро засеменил на ту часть пляжа, где он, разинув рот, обычно тайком глазаеет на купальные костюмы.

Валентина Карповна пожаловалась мне: ох, сколько ей приходится терпеть от Пяткина! Она с подружкой сидела на скамейке, недалеко от пляжа. Пяткин тут же примостился и наострил уши. Заметив это, Валентина Карповна подробно рассказывала подружке (та уже была в курсе всей этой истории) об Ангеле, о свиданиях с ним, о поцелуях с милым болгарским мальчиком. Словом, все то, что поведала мне. Пяткин вскочил как ужаленный и произнес горячую проповедь о вреде безнравственности и пользе нравственности. С тех пор он каждый день шпыняет ее, всячески бранит, грозит, что он по приезде в Москву разоблачит ее перед общественностью и мужем. . .

Прошел месяц. На Петровке я встретил Валентину Карповну. Первым делом, решив меня обрадовать, она сказала:

— Привет вам от Пяткина! Когда я приехала в Москву, я узнала, что он прислал сюда два заявления, в которых всячески клеймит меня. Он, оказывается, прекрасно владеет пером. Одно заявление — в местком, другое — в партком. В месткоме сказали, что он чудак. А в парткоме произнесли меткое слово, которое рифмуется со словом «чудак». Но тут же кто-то добавил, что он хуже чудака и вредней дурака: он ханжа и лицемер.

Шалости телеграфа

Я должен был выехать в город Н. Воронежской области. На всякий случай телеграфировал редактору тамошней газеты, моему старому знакомому: приезжаю, мол, такого-то числа и прошу обеспечить номер в гостинице.

Приезжаю в Н. и прямо с вокзала отправляюсь в редакцию. Застаю редактора на месте. Вначале он меня расспрашивает о московских новостях, затем лезет в ящик письменного стола, достает оттуда какую-то бумагу и начинает читать.

«Копылов, директор промартели, разбазарил госимущество. Петрушин, завхоз райздравицы, спекулирует дровами. Карпачев, начальник пожарной охраны, — пьяница и растратчик. Рогожский, заведующий базой райторга, нечист на руку. . .»

— Слушайте, — прерываю я редактора, — к чему вы все это читаете?

— Как к чему? Вы же просили?

— Я?

— А вот же ваша телеграмма.

Он подает мне мою телеграмму, в которой сказано:

«Приезжаю двенадцатого утром тчк Приготовьте жулье».

— Шалости телеграфа. Я просил: «Приготовьте жулье».

Привет от Доры Потапкиной

Я получил письмо от Доры Григорьевны. У этого письма есть своя интересная история.

Московскому метрополитену исполнилось на днях тридцать лет (1965 год). А мне недавно исполнилось... Не будем уточнять. Во всяком случае, хотя я не так красив, как он, но гораздо старше его. А потому могу предаться (очень коротко) кое-каким воспоминаниям.

Пятнадцатое мая 1935 года. День открытия. Сейчас мы уже привыкли к этому замечательному виду городского транспорта, к его порядку, к его точности, к его чистоте и называем его коротко и фамильярно — метро. А тридцать лет тому назад мы только познакомились с ним, а потому и обращение было более официальное — метрополитен. А богобоязненные старушки произносили по-своему — митрополитен.

На открытие я пришел с двумя малышами. Марине было шесть лет, а Саше — четыре. Мальчик разинул рот от удивления и восхищения. Девочка была тоже восхищена, но, как старшая и знающая жизнь, старалась держаться спокойно.

Она сказала Саше:

— Это что! Вот поживешь с мое — еще не то увидишь.

А я, как старший и знающий жизнь, не мог, подобно Марине, держаться спокойно. Как сейчас помню: я не разинул рта от удивления — чего не было, того не было. Но все во мне говорило: «Как это прекрасно!» И хотелось сказать детям, повторяя слова Марины:

— Это что! Вот поживете с мое — еще не то увидите...

Я стоял и думал о Балинском. Об инженере Балинском. В 1902 году он подал в московскую городскую Думу проект строительства Московского метрополитена. Дума высмеяла Балинского. Один из столпов Думы небезызвестный капиталист Гучков писал тогда:

«В силу ряда бытовых и экономических особенностей Москвы устройство в ней внеуличных дорог является преждевременным, как не вызываемое потребностями населения, выполнение проекта является нарушением городского благоустройства и благообразия духовных и материальных интересов населения».

Вслед за этим городская Дума постановила: «Господину Балинскому в его домогательствах отказать».

— Вот поживешь с мое — еще не то увидишь. . .

Когда были произнесены эти слова, протяженность линии метро составляла 11,2 километра, станций было всего тринадцать.

Марина и Саша росли.

Росло и Московское метро. Каждые двенадцать месяцев вступали в строй новые километры, новые станции. Сейчас метро имеет 103,5 километра, действуют (и отлично действуют!) семьдесят две станции.

На нашей планете что-то около 3 миллиардов людей — включая Марину, Сашу и нас с вами, дорогой читатель. За тридцать лет метро перевезло все население земного шара почти семь раз, то есть 20,4 миллиарда пассажиров, включая Марину, Сашу и нас с вами, дорогой читатель.

«Дорогой товарищ, я от всего сердца вам благодарна за то, что вы из глубины лет достали память обо мне. Когда я прочла ваши строки в «Литературной газете», я всплакнула. У меня потекли слезы, и не просто слезы, а слезы счастья. Я долго стояла неподвижно во власти прошлого, во власти счастливых воспоминаний.

Благодарю вас, дорогой товарищ, за доброе воспоминание обо мне. Вы лучшую награду преподнесли мне этим в торжественный день тридцатилетия моего любимого детища, моего метро. Молодежь строила метро, в их числе и я, Дора Потапкина, горжусь этой честью». . .

Почему Дора Григорьевна Потапкина прислала мне этот сердечный привет? Чем я заслужил ее

внимание? И почему в ее письме есть строка — «вы из глубины лет достали память обо мне»?

Глубина как будто не очень большая — всего-навсего тридцать лет. Тридцать лет... Все же — далекие годы, большие годы. Дора Григорьевна была комсомолкой, молоденькой, веселой Дорой Потапкиной.

В ту пору я написал в «Правде» очерк «Комсомольский задор».

...Утро в тоннеле началось с древнерусской заковыристой словесности. Это пришла новая бригада проходчиков.

К бригадиру подошла Дора Потапкина.

— Здравствуй! — Дора протянула руку. — Будете у нас работать? Хорошо. Я — бригадир женской комсомольской бригады. Имеем к вам просьбу: не ругаться.

Парень равнодушно взглянул на Дору. Залихватски сплюнул сквозь зубы и смачно выругался под одобрительный хохот своей бригады.

В перерыве Дора подошла к одному из парней.

— Как тебя зовут?

— Яша.

— А меня — Дора. Ты, Яша, видать, парень хороший. Красивый. В моей бригаде — хорошие, веселые девушки. Давай дружить. Будем вместе песни петь, в кино ходить. Только брось ругаться. Идет?

Яша что-то смущенно бормочет и отворачивается. Этаким же манером девушки взялись за Колю, Петю, Сережу. В тоннеле перестали ругаться. Конечно, не без того — привычка дает себя знать: парень выругается, но вдруг, спохватившись, оборвет себя и даже попросит извинения.

...Комсомолка Потапкина, бывшая работница завода «Красный эмалировщик», работает на седьмой дистанции метро с конца 1933 года.

На седьмой дистанции все знают бригаду Потапкиной. О бригаде говорят с уважением. И Дору Потапкину избирают в члены Фрунзенского районного Совета. Но не так было вначале. Вначале были такие разговоры:

— Ишь ты, в штаны нарядилась.

Девушек поставили на легкую подсобную работу. Девушки обиделись. Потапкина пошла в комитет комсомола.

— Я организовала бригаду из двенадцати комсомолк. Помогите нам стать на настоящую работу. Мы не будем последними.

...Бригаду Потапкиной поставили на постройку узкоколейки, на земляные работы. Смеялся десятник. Иронически пожимал плечами инженер. И было над чем иронизировать. Нормы выполняли плохо — на 40—50 процентов.

Но иронии хватило только на четыре дня. На пятый день девушки стали перевыполнять норму. А Нюра Щепкина, Нателла Смирнова довели выработку до 300 процентов. Потом бригада дружно и весело взялась за техническую учебу. К бригаде уже стали относиться серьезно. Ее уже ставят на рытье траншей; затем — на сложные изоляционные работы. Бригада работает и учится. Упорно овладевает техникой.

...Я не сохранил этот очерк, напечатанный в «Правде». Его сберегла Дора Григорьевна. И прислала мне вместе с письмом, которое я выше цитировал.

«Вы из глубины лет достали память обо мне». Я вспомнил о Доре Потапкиной в день тридцатилетия Московского метро. Я напечатал в этот день статью в «Литературной газете». В статье — такой абзац:

«Как сейчас помню Остоженку тех лет. Я часто проходил по этой улице. И почти каждый раз слышал веселое девичье пенье. Это с песней приходила на работу одна из лучших молодежных бригад, строивших метро. Бригада комсомолки Доры Потапкиной. . .»

Эти строки и взволновали Дору Григорьевну. А ее письмо не могло не взбудоражить меня. . .

Здесь надо поставить точку. Я не умею описывать душевные волнения. Дрожь в голосе — не мой жанр.

Приглашение к обеду

— Григорий Ефимыч, здравствуйте. Говорит Ефимов. Да, Ефимов из Брянска, о котором вы когда-то написали, помните? Дело как будто давнее. Но я и моя семья никогда этого не забудут. Сегодня у нас семейный обед. И мы хотели бы, чтоб вы пришли к нам. Что? У вас ангина? Очень жаль. Очень. Примите наш привет!

Я вспомнил всю историю с Ефимовым из Брянска.

...Однажды приходит в редакцию человек и говорит:

— Вот мои документы, удостоверяющие, что моя фамилия Ефимов. А вот другой документ, доказывающий, что я не Ефимов.

Он показывает статью, помещенную в газете «Брянский рабочий». Там сказано, что вот, мол, живет и работает в Брянске некий Ефимов, подозрительная личность. Сей Ефимов утверждает, что он сражался в рядах Конармии, что он награжден именными часами и шашкой. Действительно, какой-то Ефимов был в Конармии, но он давно умер. А этот субъект воспользовался его документами и выдает себя за Ефимова.

Спрашиваю посетителя:

— Вы знаете кого-нибудь, кто мог бы удостоверить вашу личность?

Он назвал свыше десяти имен людей, которые вместе с ним служили в Конармии.

— Так вот. Идите сейчас же в фотографию, снимитесь, пойдите к этим людям, и пусть они удостоверят на обороте фотоснимка, что это действительно тот самый Ефимов, который служил в Конармии.

Он ходил по Москве несколько дней и принес грудку фотографий с надписями, удостоверяющими, что это действительно тот самый Ефимов, который... и так далее и так далее.

Возник вопрос: как же газета напечатала такую клевету? Надо выяснить на месте.

Приехав в Брянск, захожу в редакцию, спрашиваю:

— Вы проверили материал по делу Ефимова?

Отвечают:

— Нет, мы только теперь его проверяем, раньше не проверили.

— Кто вам дал этот материал?

— Нам дал его Ковалев, ответственный товарищ из той самой организации, где работает Ефимов.

Иду к «ответственному товарищу»:

— Какие у вас были основания для предъявления Ефимову таких серьезных обвинений?

«Ответственный товарищ» смутился:

— Мне сказали. . .

— Кто?

— Этот товарищ уехал из Брянска.

— Куда?

— Не знаю.

Дело ясное. Но для чего Ковалеву надо было оклеветать Ефимова?

Оказывается, статья в газете появилась за три дня до того, как Ковалева и его сподвижников должны были за какие-то грязные делишки судить. Дело возникло по заявлению Ефимова. Чтобы избавиться от опасного свидетеля на суде, Ковалев подговорил доверчивого сотрудника «Брянского рабочего» написать статью. А доверчивая редакция, ничего не проверив, напечатала.

Я написал в «Правде» фельетон «Клеветники». Ковалева осудили на два года.

Но история на этом не кончилась. Вскоре после этого меня вызывают в МКК и говорят:

— На вас есть серьезное заявление.

Некий анонимный автор (подпись неразборчива) пишет: вот в «Правде» работает некто Рыклин, родом из такого-то города, такой-то области (указывает город, в котором я в жизни никогда не был). Дальше говорится, что этот самый Рыклин был. . . петлюровцем. Все это может подтвердить бывший начальник ЧК того города, в котором Рыклин подвизался как

петлюровец и выступал против советской власти с оружием в руках.

Прошу устроить очную ставку с бывшим начальником ЧК. Его вызывают, и следовательно спрашивает, показывая на меня:

— Вы этого человека знаете?

— Нет, не знаю.

— Это Рыклин?

— Нет. Рыклин высокий, рыжий, а этот. . .

А я никогда не был ни высоким, ни рыжим.

Об одном покойнике

В Лионе, когда наш автобус стоял у отеля и мы вот-вот должны были тронуться в путь, к нам подошел какой-то слегка потрепанный месье и заговорил по-русски.

Не нуждаемся ли мы в его услугах? Едете в Марсель? Он прекрасно знает дорогу. Он может помочь шоферу, если господа хотят.

«Господа» не захотели. Он ушел обиженный, подтягивая на ходу штаны.

Это не француз и не русский. Это бывший русский, бывший человек. Когда-то в поисках легкой и красивой жизни он покинул родину. По всему видно, что его мечты о богатой заграничной жизни не осуществились.

То там, то сям попадались нам здесь эти желтые опавшие листья, именуемые белыми эмигрантами. Жалкий у них вид, растерянный. Непрочно они ходят по земле, неуверенно.

В русской газете, издающейся в Париже, читаем на последней полосе:

«Украинка интел. девушка 32 лет желает знаком. с серьезной целью с интел. образован. господином американцем, русским или украинцем».

«Одинокий ищет знакомства с культурн. эмигранткой. Цель — брак».

На той же газетной полосе объявления о «русских» ресторанах: в одном из них поет и танцует Жорж Иванов, в другом старается Гриша Баринов и «экспромтом другие», в третьем — бар «с русской стойкой и всеми специальностями».

Мы видели такое заведение на одной из улиц Монте-Карло — на стойке среди прочих напитков красовалась бутылка русской водки и в вазочке малосольные огурчики. А за стойкой — бывший интеллигент, уроженец Кавказа.

Это — живые. Вернее — еле живые белогвардейцы.

А сейчас — несколько слов об одном покойнике. Пришлось с ним столкнуться уже не в Париже, а в окрестностях Праги, в Чехословакии.

Моросил мелкий дождь. . .

Дождь лениво и небрежно смывал пыль с могильных плит и крестов. Мы, группа советских туристов, ходим по длинным улицам и укромным переулкам Ольшанского кладбища в окрестностях Праги. Читаем надписи.

Это было совсем недавно. В июне 1961 года. А потому хорошо помню, как мы все удивились, очутившись перед одной запущенной могилой. Как? Неужели это он? Неужели он здесь?

Сомнений быть не может. На пожелтевшей, слегка треснутой мраморной доске — буквы, которые когда-то были похожи на золотые, рассказывают коротко и ясно:

«Здесь покоится русский писатель А. Т. Аверченко».

Аркадий Аверченко! Редактор «Сатирикона». Автор многих сборников талантливых, по-настоящему смешных, рассказов.

Но затем Аверченко изменил своему таланту. А талант ушел от него. Не ушел, а бежал.

Веселое перо писателя-юмориста начало скрипеть, шипеть и брызгать слюной. После Октября семнадцатого года Аверченко целиком и полностью продал душу контрреволюционным чертям.

Он поспешно выехал за рубеж. И там поспешно выпустил книгу махровых антисоветских рассказов «Дюжина ножей в спину революции». В них не было смеха. Аверченко сменил юмор на обывательское, а подчас и черносотенное брюзжание.

Госиздат переиздал эту книгу. С ироническим предисловием В. И. Ленина.

Владимир Ильич, говоря об этой книжке «излюбленного почти до умопомрачения белогвардейца Аркадия Аверченко», смеется над невежеством писателя, когда тот описывает события в Советской России,

но зато «до настоящего пафоса» Аверченко поднимается лишь тогда, «когда говорит о еде. Как ели богатые люди в старой России».

Заканчивается предисловие следующими словами:

«Некоторые рассказы, по-моему, заслуживают перепечатки. Талант надо поощрять».

Вскоре мы позабыли о «дюжине ножей» Аркадия Аверченко. Вскоре мы позабыли и об авторе этих рассказов, затерянном где-то в белогвардейском болоте.

И вдруг — «Здесь покоится»...

Моросит мелкий дождь. И я на Ольшанском кладбище невольюно вспомнил и о другом дожде. О нем писал Аверченко за рубежом. И я все время твердил про себя: «Была большая дождика». Фраза, застрявшая в моей памяти с давних лет.

Потом, уже в Москве, я отыскал этот фельетон Аверченко. Вот его начало:

«Была большая дождика. Погода был то, что называют веритабль петербуржьен. Один молодой господин ходил по одна улица по имени сей улица Крешиатик. Ему очень хотелось манже. . .»

Если вы думаете, что нелепые слова принадлежат иностранцу, вы ошибаетесь. Всю эту белиберду Аверченко вложил в уста белогвардейца, которому очень хотелось есть (манже). Писатель был уверен, что в самом ближайшем будущем белые эмигранты забудут на чужбине русский язык и начнут говорить «Была большая дождика».

Над кем смеялся бывший Аверченко? Он, сам того не подозревая, смеялся над самим собой.

Он на чужбине продолжал кое-как писать, продолжал обливать грязью СССР — «хотелось манже»...

Содержание

Встречи с юностью

Мой первый фельетон	9
Каланча на хозрасчете	11
За чашкой чая	12
Обязательно Цицероном...	15
Дорожное приключение	17
На Соколиной горе	19
Диаграммы	25
Дело было на кухне	27
Убили селькора	30
Беседа с юбиляром	32
Пять дней, которые...	36

Мой любимый блокнот

Речь пойдет о друге и товарище...	41
Встреча с Горьким (История одного фельетона)	70
О стороже и грузчике	78
Добрый крикун	81
Землячка	85
Рассказывает Качалов	87
Четвертый акт	89

Товарищи по оружию

Кольцов плюс Кольцов	93
Две фамилии одного писателя	103
Корнея Ивановича судили и оправдали	108
Десять и сорок	111
Он хорошо улыбался	117
Не карандашом и не пером	122
Шутки ради	126
Неизвестный писатель Настроев	128
Ему нравятся веселые люди	131
В гостях у Смирнова-Сокольского	133
Мы слушаем Утесова	136
Пародия экспромтом	139
Не Евдокия, а Евдоксия	141

Незабываемый Пат	144
Больше не шатается	146
«За» и «против»	148
Чувство смешного	150
Какие бывают философы?	154
Тэсс и Кассиль в Риме	157
По волнам, по волнам...	160
Еще о Леониде Андрееве	164

Русская азбука

Русская азбука	171
Соловей-пташечка	174
Вот он! Мой!	179
Рассказ сержанта	184
Али-бен-Гали	188
Сильное воображение	193
Энская застава	199
Пели птицы	203
Плохое поведение дяди Петера	206
Лоэнгрин	209
Живые и мертвые	212
Мирное время	215

Люди, письма, радости и огорчения

Птицын, Птицын и еще раз Птицын	221
Стол находок	223
Товарищи, я жив!	227
Расскажу все	229
Цыбульский сел писать	232
Милейший человек	236
Неожиданная радость	239
Летучий Голлендер	241
Воробей-гуляка	244
Старый провокатор	246
Петлюра и Шварцбард	251
Рассказ с солью	254
Его любимое занятие	259
Улыбки в запасе	263
Позвонил читатель	266
Меня разыграли...	268

Ноль-ноль...	271
Десять тысяч близнецов	275
Смехотворы-шарлатаны	279
Кто защитит сиротинушку?	284
Рассказ о глухонемом	287
Голово... тят	291
Какие бывают лекции	295
Пуговкин и др.	298
Случай с утесом	302
Дьявол	304
Еду в Лихославль	306
Сакья-Муни, каменный гигант	309
Милый ангелочек	311
Шалости телеграфа	315
Привет от Доры Потапкиной	316
Приглашение к обеду	320
Об одном покойнике	323

Рыклин Григорий Ефимович ЕСЛИ ПАМЯТЬ МНЕ НЕ ИЗМЕНЯЕТ...

М., «Советский писатель», 1968, 328 стр. Тем. план вып. 1968 г. № 56
 Редактор И. Н. Жданов. Художник К. Р. Борисов
 Худож. редактор Е. И. Балашева. Техн. редактор
 М. А. Ульянова. Корректоры С. И. Малкина и
 Ф. Л. Эльштейн

Сдано в набор 7/II 1968 г. Подписано в печать 24/VI 1968 г. А 05402. Бумага 64×108¹/₃₂ № 1. Печ. л. 10¹/₂ (17,22).
 Уч.-изд. л. 13,47. Тираж 30 000 экз. Заказ № 616. Цена
 54 коп.

Издательство «Советский писатель», Москва К-9,
 Б. Гнездиковский пер., 10
 Ленинградская типография № 5 Главполиграфпрома Комитета
 по печати при Совете Министров СССР, Красная
 ул., 1/3

21 коп.

